

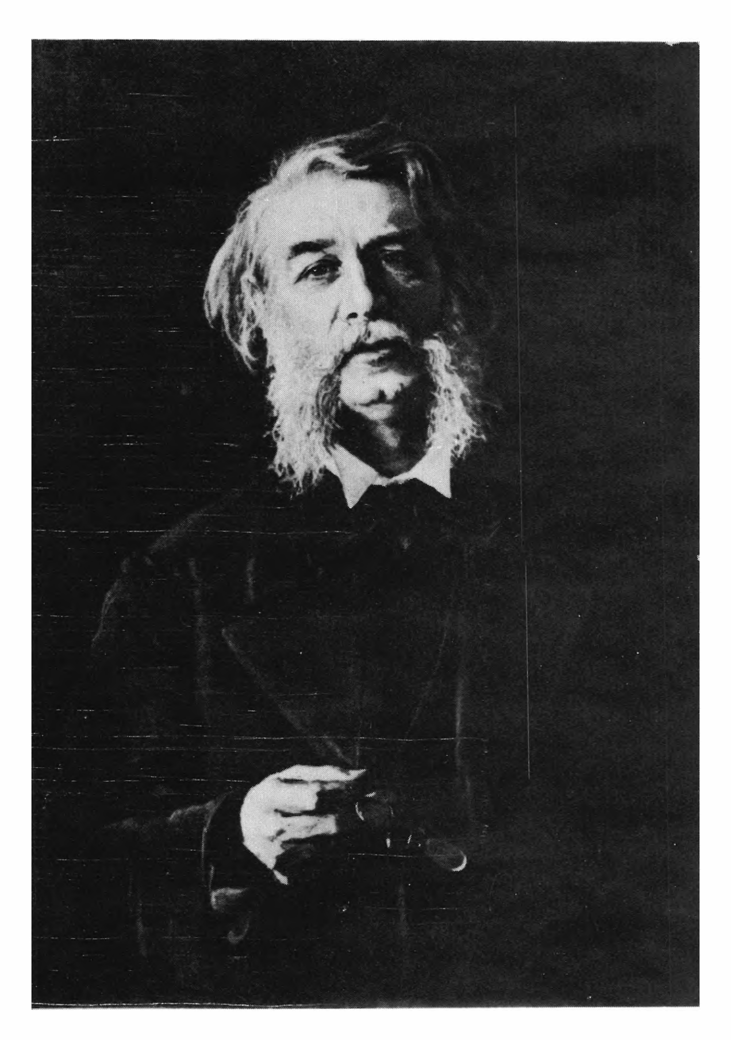
А. В. ГРИГОРОВИЧ • ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ





Д. В. Григорович. Художник И. Н. Крамской. 1876.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЙ" В. А. ПАНАЕВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 4Р1
Г83

Вступительная статья
Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНОЙ

Составление, подготовка текста и комментарии
Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНОЙ
(Д. В. Григорович. *Литературные воспоминания)*
И. Б. ПАВЛОВОЙ
(В. А. Панаев. Из «Воспоминаний»).

Художник
В. МАКСИН

Г $\frac{4702010100-142}{028(01)-87}$ 24-87

В числе многих идей В. Г. Белинского, оказавшихся плодотворными для русской культуры, была и мысль о важной, необходимой роли в формировании общественного самосознания произведений мемуарного характера. Называя их «летописями наших времен», великий критик призывал не только читать и публиковать автобиографии, записки, дневники, но и писать их. Призыв его стал предвидением. Русская мемуаристика совершает во второй половине XIX века качественный и количественный скачок; лучшие ее творения становятся заметным явлением литературного процесса и предметом внимания со стороны читателей и критики; в ее жанрах пишут люди разных убеждений, разного социального положения. Круг самого Белинского, среда сотрудников «Отечественных записок» и «Современника» дали целый ряд интереснейших мемуаристов: П. В. Анненкова, И. И. Панаева, А. Я. Панаеву и многих других. Разделял мнение Белинского о большой ценности мемуарной литературы автор «Былого и дум» А. И. Герцен. Свою исповедь оставил его друг и соратник Н. П. Огарев. Пишет «Литературные и житейские воспоминания» И. С. Тургенев. И. А. Гончаров создает мемуарные «Заметки о личности Белинского» и воспоминания «В Университете» и «На Родине».

Среди всех этих очень непохожих и по масштабам дарований авторов, и по целям и задачам, и даже по объемам книг занимают свое место воспоминания Дмитрия Васильевича Григоровича и Валериана Александровича Панаева. Место, может быть, и несравнимое с такими шедеврами, как «Былое и думы», но в то же время достаточно заметное, чтобы без воспоминаний Григоровича и Панаева более бедным и узким оказалось наше представление о литературной и общественной жизни России середины XIX века, о людях этого времени, о проблемах и чувствах, их волновавших.

Каждый из мемуаристов своим путем пришел к мысли оста-

вить воспоминания. Личность, мировоззрение, жизненные перипетии, эпоха определили содержание воспоминаний, их особенности, их уровень, принципы отбора материала.

I

Дмитрий Васильевич Григорович — профессиональный писатель. Его имя в литературе осталось навсегда связанным с «натуральной школой», страстным пропагандистом и теоретиком которой был Белинский. Правдивое изображение действительности, критический взгляд на нее, сочувствие к «маленькому человеку», требование, чтобы искусство служило общественным интересам,— все это было усвоено Григоровичем и осуществлялось им в собственном творчестве. Несомненно, опыт «натуральной школы» наложил отпечаток и на его воспоминания, с их достоверностью, вниманием к деталям быта эпохи, тяготением к очерку.

Григорович родился 19/31 марта 1822 года в Симбирске. Семья была дворянской, но не принадлежала ни к родовитым, ни к богатым. Отец Григоровича — Василий Ильич — бывший гусар, дослужившийся до майорского чина, человек деятельный и энергичный. Выйдя в отставку, он стал управляющим в имении матери писателя В. А. Соллогуба. В соллогубовском селе Никольском, а еще более в собственном имении Григоровичей селе Дулебине Тульской губернии, на речке Смедве, прошло детство Д. В. Григоровича. Долина Смедвы, крестьянские и помещичьи типы Дулебина и его окрестностей найдут позже отражение в его художественном творчестве. Сюда не раз будет приезжать он уже сложившимся писателем в поисках новых впечатлений.

Отец умер рано, в 1830 году. Дмитрий Васильевич остался на попечении матери и бабушки. Две эти женщины и сыграли наиболее значительную роль в его первоначальном воспитании. Детским воспоминаниям Григорович уделил не слишком много места, но тем не менее своеобразие обстановки, в которой рос, охарактеризовал вполне. Мать его, Сидония Петровна, ребенком была привезена в Россию из Франции. И она, и бабушка Григоровича со стороны матери, каждая по-своему, были незаурядными натурами. Такой же была и тетка Григоровича по матери Камилла Ле-Дантю, уехавшая за декабристом В. П. Ивашевым в Сибирь и вышедшая там за него замуж. Сам Григорович об Ивашевых в своих воспоминаниях не пишет, хотя нет сомнений, что их история была ему известна, во-первых, из семейных разговоров; во-вторых, он мог прочитать о ней в «Былом и думах» Герцена.

Жизнь в Дулебине нисколько не походила на быт «дворянских гнезд». В отличие от большинства своих современников в родном доме Григорович не наблюдал сцен жестокости по отношению к крепостным. Но совсем миновать таких впечатлений в то время было невозможно: если не у себя, то рядом, у соседей крепостничество представало во всей своей неприглядности и бесчеловечности, как это и произошло с Григоровичем, давшим в своих воспоминаниях портрет жестокого крепостника Д. С. Кроткова.

Мать и бабушка сторонились соседей-помещиков. Жили уединенно. Русскому языку будущий писатель учился у дворовых. Мать и бабушка говорили с ним только по-французски. Детское свое одиночество Григорович запомнил надолго. Оно, вероятно, было тем более тягостным, что, по свидетельству всех знавших его, Григорович всегда отличался большой общительностью, умением и желанием сближаться с людьми. Однако детская психология мало занимает Григоровича в его воспоминаниях, и не столько события внутренней, сколько внешней жизни движут первые разделы его мемуарной книги. Это придает ей определенную динамичность, а автору позволяет достаточно быстро перейти от описания детских лет к годам отрочества и юности.

Десяти лет Григоровича привозят в Москву и отдают сначала — ненадолго — в гимназию, затем в пансион Монигетти, где, в сущности, мальчик продолжает жить в привычной ему среде: преподавание идет на французском языке, среди учеников только двое русских. В пансионе впервые пробуждается в Григоровиче страсть, едва не определившая его судьбу,— к театру. Тогда же обнаруживаются у него большие способности к живописи. Описывая время, проведенное у Монигетти, мемуарист постоянно как бы проводит исследование: какие задатки обнаруживал он сам, подростком; что было бы, будь воспитание, ему данное, иным; как влияло окружение на его сознание и представления? Соотношение «человек — среда», так занимавшее «натуральную школу» и Григоровича в его повестях и романах, не перестает интересовать писателя и тогда, когда он пишет о себе самом. Он широко использует те преимущества, которые дает в этом плане автобиографическое повествование: «близость» объекта исследования, его ни с чем не сравнимая «доступность». В то же время в «Литературных воспоминаниях» «идущий от «натуральной школы» стиль Григоровича получает блестящее развитие и законченность. Он остается верен своей старой манере. Так, глава II, повествующая об училищных нравах, представляет законченный очерк, в котором в центре авторского внимания стоит кадетская «физиология». Записки писателя легко могли бы распасться

на ряд отдельных очерков, если б их не объединяла фигура автора» *.

Переломным событием в жизни Григоровича стало его поступление в 1836 году в петербургское Главное инженерное училище. Правда, оно не было им закончено, но здесь завязались те знакомства, которые во многом определили будущее литературное и житейское окружение Григоровича. И среди учащихся, и среди преподавателей училища было немало людей действительно замечательных: Ф. М. Достоевский, художник К. А. Трутовский, герой обороны Севастополя, военный инженер Э. И. Тотлебен, физиолог И. М. Сеченов.

Тесная юношеская дружба связала Григоровича с Достоевским. Страницы, ей посвященные, собственно начинают ту основную, наиболее ценную часть воспоминаний, которая и позволила назвать их «литературными». И не только потому, что Достоевский был первым значительным писателем на пути Григоровича, но и потому, что сам Григорович во многом под влиянием Достоевского обратился к русской и зарубежной литературе, к литературному труду. В училище, отмечает мемуарист, господствовало «общее равнодушие» к литературе; то, что̀ Достоевский «сообщал о сочинениях писателей», оказалось для Григоровича, по его собственному признанию, настоящим «откровением».

Тогда, когда Григорович создавал свои воспоминания, Достоевский был уже знаменитым писателем, и это, конечно, наложило определенный отпечаток на отбор мемуарного материала, на щедрость его подачи. Не забыто в рассказе о Достоевском не только крупное, но воссозданы и «мелочи» тех лет. Значение того и другого трудно переоценить: о молодом Достоевском осталось не так уж много мемуарных свидетельств.

Осенью 1844 года Григорович и Достоевский поселились вместе, в одной квартире. Там были написаны «Бедные люди», и Григорович оказался в числе самых первых читателей. Именно по настоянию Григоровича рукопись романа попала к Некрасову и Белинскому. Чтение «Бедных людей», восторг, ими вызванный,— все это живо описано мемуаристом, сохранившим для потомства в качестве очевидца одно из замечательнейших событий в истории русской и мировой литературы — появление в ней нового гениального писателя.

Григорович был свидетелем и еще одного литературного дебюта. Благодаря Н. Фермору ему попал в руки первый стихо-

---

* Мещеряков В. П. «Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича.— Ученые записки Ивановского гос. пед. ин-та им. Д. А. Фурманова, т. 38. Иваново, 1967, с. 94.

творный сборник Некрасова «Мечты и звуки». В отличие от многих других, равнодушно пролиставших и отложивших сборник, Григорович захотел познакомиться с поэтом. И снова — уникальные страницы о молодом, только еще начинающем Некрасове, бедствующем материально и еще не нашедшем своей дороги в поэзии. Сотни страниц будут потом посвящены Некрасову в разгар его поэтической славы, Некрасову — редактору «Современника» и «Отечественных записок». Напишет об этом и Григорович, но у него мы найдем и иное — первые шаги, первые трудные опыты поэта.

Факт истории литературы — и вхождение в нее самого Григоровича. Он пришел в нее не сразу и не просто. Неудавшийся военный инженер, он после ухода из училища пробует себя в живописи и на сцене. Обе попытки кончились неудачей. Григорович не стал ни живописцем, ни актером, но назвать эти попытки бесплодными все же нельзя. Впоследствии Дмитрий Васильевич несколько лет был секретарем «Общества поощрения художеств», для чего его профессиональные знания в сфере живописи, конечно, не были лишними. Что же касается театра, то первые литературные произведения Григоровича оказались связанными именно с ним. В это время на сцене русского театра шло множество переводных пьес: мелодрам, водевилей, трагедий. Перевод некоторых из них был сделан Григоровичем. В совершенстве владеющий французским языком, естественно, он выбирал и переводил произведения французских драматургов: М.-Ф. Сулье, Л.-Ф. Клервиля, Ш. Варена. Пьесы ставились и, не дав Григоровичу литературного имени, все-таки научили его владеть пером, дали ему возможность близко познакомиться с творчеством выдающихся русских актеров. Среди них: В. А. Каратыгин, искусство которого Григорович всегда ценил очень высоко, А. М. Максимов, А. Е. Мартынов, В. В. Самойлов, П. В. Васильев, И. И. Сосницкий. Воспоминания Григоровича в результате дают картины не только литературной, но в какой-то мере и театральной жизни середины XIX века. Тем более что любовь к театру навсегда осталась у мемуариста.

И все же главным в жизни всегда была литература. Воспоминания о вступлении в нее — публикация «первых оригинальных рассказов» — являются своеобразным композиционным центром повествования, а героем этих страниц становится наряду с самим рассказчиком Некрасов. Именно он сыграл решающую, по признанию Григоровича, роль в ярко вспыхнувшем стремлении посвятить себя литературе. «Пример молодого литератора, жившего исключительно своим трудом, действовал возбудительно на мое воображение,— писал Григорович.— Жить также своим трудом, сделаться также литератором казалось мне чем-то

поэтическим, возвышенным,— целью, о которой только и стоило мечтать».

Некоторые из первых рассказов («Театральная карета», «Собачка») были малоудачны. Но уже очерк «Петербургские шарманщики», опубликованный Некрасовым в сборнике 1845 года «Физиология Петербурга», принес начинающему писателю успех и известность. Замечен был критикой и рассказ «Штука полотна», вошедший в также изданный Некрасовым альманах «Первое апреля» (1846). Без колебаний и сомнений Григорович становится одним из тех борцов за победу реалистического метода в русской литературе, во главе которых стояли Гоголь и Белинский. «Влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели», навсегда, по его собственному признанию, стали основой, пафосом всего творчества Григоровича. Они соединялись у писателя с удивительно развитым чувством ответственности за свой труд, с пониманием его особого значения для общества. Писать по принципу «и так сойдет» казалось Григоровичу, по его словам, «равносильным бесчестному поступку». Это отношение к творчеству как к миссии, общественному служению было свойственно многим русским писателям, и в этом Григорович не уступал ни одному из них. Сын поэта А. Н. Плещеева вспоминал возмущение уже старого Григоровича манерой молодого журналиста И. П. Зазулина писать быстро и небрежно. «Мы так не умеем и никогда не писали,— заявил Григорович.— Бывало, напишешь и все переделаешь, опять перепишешь, снова работаешь, читаешь приятелям... Опять перепишешь, да на полях снова помарки делаешь, а у вас раз, два и готово! так нельзя» *.

В воспоминаниях самого Григоровича описывается его разговор с Достоевским. Разговор, ставший хрестоматийным и бывший для мемуариста в свое время «целым откровением». Прослушав чтение «Петербургских шарманщиков», Достоевский посоветовал написать в нем не просто «пятак упал к ногам», но — «пятак упал на мостовую, *звеня* и *подпрыгивая*...». Когда создавались «Литературные воспоминания», этому разговору было уже почти полстолетия, но забыт он не был: совета Достоевского оказалось достаточно, «чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом». В свою очередь, включение этого разговора в воспоминания также становится художественно-литературным приемом, позволяя читателю живо представить себе хмурого Достоевского,

---

* Плещеев А. А. Что вспомнилось. Актеры и писатели, т. 3. СПб., 1914, с. 264.

раздраженного несомненными для него недостатками произведения приятеля, и Григоровича, жадно и благодарно следующего советам художника, превосходство которого над собою в сфере художественного творчества он, человек умный, прекрасно сознает.

* * *

«Петербургские шарманщики» ввели Григоровича в круг Белинского. Объясняя принципы построения своей мемуарной книги, Григорович пишет, что старался «по возможности держаться хронологического порядка». Действительно, в целом он выдержан в его воспоминаниях. Однако имя Белинского появляется в них задолго до того, как Григорович познакомился с самим критиком. Писатель расставляет своеобразные вехи, приближающие его к Белинскому и, наконец, приведшие к личной встрече: чтение статей критика, знакомства с людьми, близкими Белинскому, его отзыв о «Петербургских шарманщиках». Встречи с Белинским Григорович, подобно многим своим современникам, «ждал, как счастья». Близости, однако, между ними не возникло, да и не могло возникнуть. Григоровичу были чужды революционно-демократические взгляды Белинского, его нетерпимость ко всякой половинчатости, «золотой середине». Склоняясь перед авторитетом Белинского, считая его «честнейшим из людей», Григорович оставался прогрессивно мыслящим, но боящимся политических крайностей и тем более революции деятелем. Поэтому в конце 50-х — начале 60-х годов он не только не нашел общего языка, но порой высказывался и неприязненно о Чернышевском и Добролюбове. Постоянно встречаясь с ними в редакции «Современника», он тем не менее не написал о них ничего в своих воспоминаниях, кроме краткого и неверного по сути отзыва о Добролюбове. И дело было именно в разности убеждений, ибо революционно-демократическая критика никогда не отрицала литературных заслуг Григоровича. Так, Белинский с обычной для него проницательностью заметил, что у Григоровича «есть замечательный талант для... очерков общественного быта» *. Слова, которые могут быть отнесены не только к повестям, романам и рассказам, но, несомненно, и к воспоминаниям писателя. В своих статьях и письмах Белинский неизменно отмечал художественный талант Григоровича, знание им крестьянской жизни, глубокое сочувствие простому народу. Такие произведения Григоро-

* Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8. М., Художественная литература, 1982, с. 215.

вича, как «Деревня» (1846), «Антон Горемыка» (1847), находились по своей антикрепостнической направленности рядом с «Записками охотника» Тургенева, «Сорокой-воровкой» Герцена.

Особенно велик был успех повести «Антон Горемыка». Белинский считал ее «больше, чем повестью». «...Это роман,— писал он,— в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела... Несмотря на то, что Антон — мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные» *.

Впечатление, которое производили повести Григоровича на современников, было огромным. Тургенев, Салтыков-Щедрин, Герцен, Л. Толстой признавались в том, что читали «Антона Горемыку» со слезами и волнением. В октябре 1893 года отмечалось 50-летие литературной деятельности Григоровича. Л. Толстой писал ему в связи с этой датой: «...Вы мне дороги... в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня вместе с «Записками охотника» ваши первые повести.

Помню умиление и восторг, произведенные на меня... «Антоном Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать нашего учителя,— можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост... Вот за это-то благотворное на меня влияние ваших сочинений вы особенно дороги мне...» **

В ответном письме Толстому писатель, к тому времени уже почти отошедший от литературной деятельности, объясняет причины такого сильного воздействия своих произведений: «То, что Вы пишете о впечатлении, сделанном на Вас в юности повестью моей «Антон Горемыка», свидетельствует Вам, насколько любовь моя к народу и сочувствие его горестям были во мне тогда живы и искренни; полнота этих чувств была первым и главным двигателем моим на литературном поприще...» ***

Григорович был в числе тех, кто «открывал» для русской литературы новую тему — жизнь крепостного крестьянина. Без сентиментальности, с уважением и пониманием говорит он о нем, о его бедах, заботах и радостях. Прочитав роман Григоровича «Рыбаки» (1853), Герцен назвал его «удивительным» ****. И он

---

* Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 401.

** Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями, в 2-х томах, т. I. М., Художественная литература, 1978, с. 260.

*** Там же, с. 261.

**** Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 316.

действительно был таким: по новизне проблематики, по умению изобразить простонародный быт, по своим героям — рыбакам, к реалистическому изображению которых Григорович приступил едва ли не первый. «...Этот роман,— писал Герцен,— отнюдь не пастушеский или идиллический, а вполне реалистический, написанный в патриархальном духе и преисполненный симпатии к крестьянину...» * Как новаторство писателя отмечает Герцен то, что Григорович говорит в своих произведениях не только об антагонизме между крестьянином и помещиком, но указывает и на противоречия внутри самого крестьянства: «Роман «Рыбаки» подводит нас к началу неизбежной борьбы (борьбы эволюционной) между «крестьянским» и «городским» элементом, между крестьянином-хлебопашцем и крестьянином — фабричным рабочим» **. Этот новый тип конфликта был разработан Григоровичем одним из первых в русской литературе.

Часто бывая в редакциях журналов «Современник» и «Отечественные записки», Григорович посвящает целый раздел своей мемуарной книги воспоминаниям об обстановке, царившей в редакциях, о людях, с журналами связанных. Он считал такой раздел — и справедливо — важнейшим и полагал — уже менее справедливо,— что был на этих страницах объективен. В письме к А. С. Суворину из Ниццы от 6/18 ноября 1887 года Григорович сообщал: «От скуки принялся за работу — продолжаю свои литературные воспоминания; но чем дальше подвигаюсь — тем яснее вижу, что печатать невозможно; правдивая картина редакции «Современника», отношений Некрасова и Панаева — сделали бы то, что от моих старых костей пыли бы не осталось!» ***

Но не в Некрасове и Панаеве в действительности оказалось дело. Вероятно, никакой другой раздел воспоминаний не стал в такой степени субъективным, как этот. Григорович явно тяготел, и не скрывал этого, к либеральному крылу редакции и авторов «Современника», «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения»: к А. В. Дружинину, В. П. Боткину, И. С. Тургеневу. Они и стали, естественно, центральными фигурами раздела, их портреты нарисованы мемуаристом с нескрываемой теплотой и симпатией, хотя и не без критических замечаний и наблюдений. Особенно относительно Боткина и Дружинина.

Характеризуя обстановку в редакции «Современника», Григорович несправедливо видит основной «недостаток» журнала в отсутствии «настоящего главы, настоящего руководителя». Умаляется при этом значение Некрасова как человека будто бы

---

* Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIII, с. 170.

** Там же, с. 178.

*** Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, с. 28.

недостаточно образованного; Панаеву же отводится роль вполне незначительная. Полное «забвение» в воспоминаниях имени Чернышевского — подчеркнем это еще и еще раз — в сущности является молчаливым признанием в неприятии. Оно красноречивее любых слов. Принцип отбора материала, последовательно проведенный здесь Григоровичем, нагляднее и убедительнее любой декларации выявляет его идейно-эстетические взгляды. Очень сдержанно отзывается Григорович о Добролюбове. Касаясь положения дел в «Современнике» накануне отмены крепостного права, Григорович пишет: «Во главе журнала как критик, дававший камертон направлению, находился Добролюбов, весьма даровитый молодой человек, но холодный и замкнутый».

* * *

В 1860 году Григорович порывает с «Современником», а с середины 1860-х годов вообще прекращает литературную деятельность. Он вернулся к ней нескоро, почти через двадцать лет. Многие обстоятельства способствовали «уходу» Григоровича из литературы, в том числе и участившиеся творческие неудачи. «Бывают минуты,— признавался он Дружинину,— где мне кажется, что я... никогда уже ничего не напишу» *. Взлет литературной известности писателя остался позади и более не повторялся. Но это не привело к забвению имени Григоровича. Несмотря на все более частые «уколы» со стороны некоторых критиков, намекавших на отставание писателя от новых проблем, выдвигаемых временем, на подражательность его творчества, на художественную слабость его произведений **, все же уважение сохранялось и заслуги Григоровича перед русской литературой никогда не оспаривались. Тем более, что были они очевидны. Личные же связи Григоровича с писательской средой не прерывались никогда. Этому способствовал и его характер. В мемуарах современников немало высказываний о Дмитрии Васильевиче. Иногда отрицательных, не без раздражения даже, как у А. Я. Панаевой ***, чаще же теплых, проникнутых искренней симпатией. «В жизни он был глубоко правдив, честен, верен своему слову, аккуратен, точен,— писал П. В. Быков.— Все знавшие его...

---

* Письма к А. В. Дружинину. М., издание Государственного литературного музея, 1948, с. 84.

** См., напр.: Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу.— В кн.: Григорьев А. А. Театральная критика. Л., Искусство, 1985, с. 203.

*** Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., Художественная литература, 1972, с. 251—253 и др.

удивлялись стойкости его характера и уравновешенности. Но французская кровь... все же проглядывала в нем, сказывался ее темперамент, энергия и стремительность при созидании чего-либо. У него была бездна вкуса, изящного, тонкого вкуса настоящего художника. Нельзя было не признать в нем большого знатока искусства и художественных предметов» *.

Общительность, дар рассказчика, острого и занимательного, соединялись у Григоровича с наблюдательностью. Поэтому так широк круг лиц, которых встречаем мы в его воспоминаниях: Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, А. Н. Островский... И портреты их, хотя часто и субъективные, всегда полны жизни. Каждого видим мы с его индивидуальными чертами, узнаем о нем те «мелочи», которые делают изображение близким и натуральным. Так написана одна из самых светлых картин «Литературных воспоминаний» — поездка Григоровича, Дружинина и Боткина к Тургеневу весной 1855 года. Да и вообще портрет Тургенева написан с особенным сочувствием и теплотой. Очень колоритен портрет молодого Л. Н. Толстого, с его резкими и парадоксальными суждениями, своеобразной внешностью. «Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника»,— вспоминал Григорович.

Подобно многим писателям, Григорович прибегал к помощи своих записных книжек, когда работал над тем или иным произведением. Относится это и к «Литературным воспоминаниям». В записных книжках можно найти отдельные мысли и зарисовки, получившие законченность в воспоминаниях. В то же время записные книжки содержат материалы, в чем-то воспоминания и дополняющие **.

К документально-художественной прозе может быть причислен «Корабль «Ретвизан» (1859—1863) — одно из любопытных описаний путешествия в русской литературе, богатой произведениями такого рода. Эта книга также по-своему дополняет «Литературные воспоминания». В частности, интересны страницы, посвященные Дюма — отцу и сыну. Дюма-старший побывал, как известно, в России. Проведя июнь 1858 года в Петербурге, Дюма особенно сблизился с Григоровичем, который стал «его постоянным гидом... и подробно знакомил его со всеми вопро-

---

* Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.— Л., 1930, с. 88.

** См.: Григорович Д. В. Из записной книжки.— Ежем. лит. прилож. к «Ниве», 1901, № 11, 12.

сами, связанными с русской литературой и русскими писателями. При помощи Д. В. Григоровича Дюма перевел некоторые стихи Пушкина, Вяземского, Некрасова, а также роман И. И. Лажечникова «Ледяной дом» *.

Воспоминания Григоровича почти не включают элементов открытой полемики, хотя скрытая, конечно, несомненна, что мы и пытались показать, анализируя изображение мемуаристом обстановки в редакции журнала «Современник», например. Однако Григоровичу изменяет обычная сдержанность, когда он рассказывает о приезде Дюма. Не забудем, что ко времени публикации книги Григоровича уже увидели свет воспоминания многих его современников, в том числе А. Я. Панаевой. Именно ее и опровергает Григорович, рассказывая о приезде французского писателя. Здесь каждая строка полемична, и личная неприязнь мемуариста к Панаевой отразилась на освещении событий тех июньских дней. Конечно, сам по себе факт, вызвавший полемику с Панаевой, не важен, даже мелок, тем не менее он с чрезвычайной четкостью обнажает то, о чем всегда следует помнить: «Литературные воспоминания» писались Григоровичем с учетом мемуаров его современников, будь то друзья или враги. Григорович предлагает *свою* интерпретацию событий литературной жизни 40—50-х годов XIX века. И конечно, в полной мере его книга может быть оценена лишь рядом и в сопоставлении с другими мемуарными свидетельствами.

Вскоре после путешествия на «Ретвизане» Григорович становится секретарем «Общества поощрения художеств». Почти двадцать лет отдает он работе в «Обществе». Между тем в своих воспоминаниях он говорит лишь о литераторах. Художников, кроме К. П. Брюллова, Григорович упоминает редко, а ведь многих из них — причем крупнейших — он знал близко и, вероятно, нашел бы, что́ рассказать о них. Литератором, писателем всегда ощущал себя Григорович, потому так и произошло, потому и заканчиваются «Литературные воспоминания» взволнованными словами: «Любовь к литературе была моим ангелом-хранителем; она приучила меня к труду, она часто служила мне лучше рассудка, предостерегая меня от опасных увлечений; ей одной, наконец, обязан я долей истинного счастья, испытанного мною в жизни...»

Трудясь над воспоминаниями, Григорович как бы подводит итоги своей жизни в литературе и вместе с тем осваивает новый для себя жанр. «Не воображал я никак, чтобы этот род работы

* Коган Э. Р. Александр Дюма на Ладожском озере.— В кн.: Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных материалов ЦГАЛИ СССР, вып. 2. М., Советская Россия, 1976, с. 35.

сопрягался с такими трудностями,— признавался Григорович в письме к А. С. Суворину, написанном в 1892 году.— Писать о себе вообще как-то неловко — даже противно; говорить об умерших — не всегда удобно; ...касаться живых — еще неудобнее». Трудности объективные сопрягаются с субъективными. Григорович опасается, что его природная насмешливость может показаться неуместной в мемуарах, а чувство деликатности ограничит откровенность. Не без горечи сознается Григорович, что смелость писать всю правду не всегда он в себе находит: «...робость... преследует меня теперь более, чем когда-нибудь». Понимание своих возможностей, творческих и человеческих, сквозит в предупреждении: «Мои воспоминания будут похожи на акварельные наброски, а никак не на картину, густо написанную масляными красками» *. Небезынтересно, что эта особенность творческой манеры писателя подмечена А. А. Григорьевым, в 1860 году писавшим о Григоровиче как о «живописце» «не с широкой кистью» **. Ценности картины это, конечно, не умаляет.

До конца своих дней сохранил Григорович теплоту чувств, доброжелательность, интерес ко всему происходящему в литературе и жизни. Об этом свидетельствуют его поздние художественные произведения, в числе которых известный «Гуттаперчевый мальчик» (1883) и «Акробаты благотворительности» (1885). Это выражение — «акробаты благотворительности» — позже было использовано В. И. Лениным ***. Трудно переоценить и такой биографический факт, как письмо Григоровича А. П. Чехову от 25 марта 1886 года. В нем престарелый писатель приветствовал новый молодой талант. «Мне минуло уже 65 лет,— писал Григорович,— но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог — как видите — утерпеть и протягиваю Вам обе руки. ...Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий». Письмо оказалось чрезвычайно важным для Чехова. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе»,— признавался он Григоровичу ****.

* Письма русских писателей к А. С. Суворину, с. 33.
** Григорьев А. А. Театральная критика, с. 203.
*** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 313.
**** Переписка А. П. Чехова, в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1984, с. 276, 278.

Дмитрий Васильевич Григорович умер в Петербурге 22 декабря 1899 (3 января 1900) года. А. А. Плещеев, встречавшийся с Григоровичем незадолго до его кончины, писал, что «душа его» была всегда «среди его уцелевших друзей в литературных кружках» *. О них же и воспоминания Григоровича.

II

Записки Валериана Александровича Панаева (1824—1899) в их полном виде не могут быть причислены к собственно «литературным воспоминаниям». Инженер-путеец по образованию и профессии, он уделяет много места темам и проблемам, к литературе не относящимся. Но в то же время они и не исчерпывают содержания «Воспоминаний» В. А. Панаева. Связанный с литературными кругами родством, пристрастиями, наконец, собственной несомненной творческой одаренностью: он был автором ряда публицистических работ, Панаев имел возможность немало поведать о писателях, журналистах, издателях своего времени и реализовал эту возможность в «Воспоминаниях». Выделенные из всего состава «Воспоминаний» страницы, людям литературы и искусства посвященные, представляют собой богатый по материалу и наблюдениям рассказ о литературной жизни России от конца 1830-х до последних десятилетий XIX века. Эта часть мемуаров Панаева с достаточным основанием может быть названа так же, как и книга Григоровича,— «Литературные воспоминания».

Сближает Панаева и Григоровича, делая органичным объединение их мемуарных книг под одной обложкой, многое. Они ровесники (разница менее двух лет), около полустолетия длилось их личное знакомство. В. А. Панаев характеризует Григоровича в своих «Воспоминаниях» как «приятнейшего и полного жизни человека». 31 октября 1893 года Панаев произнес речь на юбилейном обеде в честь 50-летия литературной деятельности Григоровича. В речи он сказал о его литературных заслугах, подчеркнув, что главная из них — не просто изображение «простонародного быта», но и «духовной жизни» крестьян.

Среда, круг общения Панаева и Григоровича совпадали. Не разъединяли их и убеждения. Либеральные воззрения Панаева, его вера в благие намерения правительства уживаются в нем с подлинным, глубоким уважением к Белинскому, со стремле-

* Плещеев А. А. Что вспомнилось. Актеры и писатели, т. 3, с. 263.

нием понять Герцена. Панаеву присуще никогда не изменяющее ему чувство уважения к простому, трудящемуся народу, гуманизм и деятельное желание помочь во всех тех случаях, когда он может это сделать. Панаев умел смотреть и видеть, поэтому его «Воспоминания» не только естественное дополнение к мемуарной книге Григоровича, они интересны и сами по себе.

Разветвленная семья Панаевых издавна была связана с литературой и литераторами: находилась в родстве с Г. Р. Державиным, включала в себя поэтов и прозаиков. Довольно известным поэтом, автором идиллий, был Владимир Иванович Панаев, дядя мемуариста; отец же его, Александр Иванович, учился вместе с С. Т. Аксаковым и дружил с ним. С. Т. Аксаков часто упоминает о нем в своих воспоминаниях. Иван Иванович Панаев, двоюродный брат мемуариста, и его жена Авдотья Яковлевна, оба хорошо известные в литературных кругах, сами много писавшие, помогли мемуаристу уже в юношеские годы близко познакомиться со многими из тех, о ком он будет вспоминать впоследствии. «Воспоминания» Панаева вносят свой — и немаловажный — вклад в наше представление о замечательных деятелях русской литературы.

Таким образом, эти особенные, благоприятные обстоятельства привели к тому, что уже и ранние воспоминания Валериана Александровича оказались «литературными». Порой и неожиданно. Рассказ о разделе имущества между родственниками, полный колоритных деталей помещичьего быта времен крепостного права, перекликается с посвященной этому же событию одной из повестей И. И. Панаева («Раздел имения», 1840), а также с эпизодом из «Воспоминаний» А. Я. Панаевой *.

И конечно, естественно, что о самих А. Я. и И. И. Панаевых мемуарист, их ближайший родственник, сообщает немало сведений, помогающих воссоздать внешний и внутренний облик этих людей, роль которых в литературной жизни середины XIX века была так заметна и своеобразна, что их не обошел своим вниманием никто, о том времени писавший.

А. Я. и И. И. Панаевы сами оказались авторами мемуарных книг, и вместе с воспоминаниями их двоюродного брата создали своего рода трилогию, где каждое произведение дополняет и развивает темы двух остальных.

В 1839 году пятнадцатилетний Валериан Александрович живет у своих родственников Панаевых. Его поселяют в одной комнате с Белинским, только что переехавшим из Москвы в Пе-

---

* См.: Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания, с. 74—80.

тербург для работы в «Отечественных записках». Изо дня в день в течение нескольких месяцев наблюдает Панаев за нелегкой, полной изнурительного труда жизнью критика. Присутствует при страстных спорах на литературные, философские, политические темы: Белинский всегда горячо отстаивал свои мнения. Юноша жадно впитывает и запоминает все. «Это время имело огромное влияние на всю мою жизнь»,— признается мемуарист, хотя и оговаривается, что не все взгляды Белинского уже тогда разделялись им. «Благородная энергия» Белинского, его «могучее влияние» на людей и в личной судьбе В. А. Панаева сыграли свою роль, и он подробно рассказывает об этом, добавляя все новые и новые черты к портрету замечательного человека, которого В. А. Панаев справедливо называет «рыцарем, сражающимся за правду и истину», «могучим критиком-поэтом».

В. А. Панаев встречался с Белинским и незадолго до его смерти, в 1848 году. Он дает в своих «Воспоминаниях» поразительное по яркости деталей изображение безнадежно больного, но все еще горящего духовным огнем человека. «Я застал его сидящим на постели, в халате, но с спущенными ногами, так что, когда я стал передавать ему мои впечатления по поводу статей Эмиля де Жирардена, появлявшихся в это время после Февральской революции, он моментально оживился и вскочил было на ноги,— вспоминает Панаев.— Худоба была поразительна, щеки ярко горели, руки были горячие; следовательно, я попал к нему в сильный лихорадочный момент, а потому глаза его показались мне настолько оживленными, что можно было подумать, что до конца еще далеко. Через три дня Белинского не стало».

Завязавшиеся еще в юности знакомства Панаева с поэтами и писателями нередко продолжались потом всю жизнь. Подобно Григоровичу, Панаев знакомится с только еще начинающим свой путь в литературе Некрасовым, «этим громадным самородком», по выражению В. А. Панаева. Тогда Некрасов жил вместе с К. А. Данненбергом и сильно нуждался. Позже знакомство с Некрасовым продолжалось уже через Панаевых и стало довольно близким. Валериану Александровичу было посвящено стихотворение Некрасова «Родина» (в издании 1856 года). Рассказ Панаева о «Современнике», редактором которого был Некрасов, дополняет воспоминания Григоровича, позволяя еще ярче представить себе роль этого самого передового журнала эпохи в идейно-литературной борьбе предреформенных лет.

Начинающим предстает перед нами и И. С. Тургенев, которого В. А. Панаев узнал вскоре после публикации «Параши» в 1843 году. Отзыв о нем мемуариста сдержан, что, впрочем, не

редкость в мемуарной литературе, когда речь идет о молодости этого писателя.

В. А. Панаев присутствует на одном из чтений рукописи «Бедных людей» самим Достоевским; «его чтение произвело на всех потрясающее впечатление».

Несколько раз Панаев навещал за границей Герцена. В 1858 году Герцен опубликовал разработанный Панаевым проект «Об освобождении крестьян в России». Панаев вспоминал: «В то время Герцен был, неоспоримо, огромная политическая величина, блестящий и выдающийся литературный талант... Такого горячего, сердечного приема моему проекту я не ожидал. Тут высказалось самое добросовестное отношение к сущности дела, отсутствие предвзятых мыслей и узких доктрин и отстранение личного самолюбия, так как мой проект далеко не подходил к тем взглядам, которые излагались по крестьянскому вопросу в «Колоколе». Не разделяя революционных воззрений Герцена, Панаев сумел оценить блеск его незаурядной личности, остроту ума и широту интересов. «Он имел обширную начитанность, всем живо интересовался, с ним можно было заводить любой разговор, — пишет о Герцене Панаев. — Он был близок к политическому миру, очень верно оценивал его достоинства и недостатки; его сравнения были метки и часто едки, но в них не было злобы, а проявлялась ирония, и остроты лились без конца».

Но не только о литераторах сообщает Панаев. Значительное место отведено в «Воспоминаниях» театральным впечатлениям. Рассказ о творческой манере В. А. Каратыгина, Я. Г. Брянского, В. В. Самойлова, А. Е. Мартынова, И. И. Сосницкого, М. С. Щепкина, П. А. Стрепетовой проникнут пониманием специфики театра, отличается глубиной и точностью суждений.

Поставив перед собой задачу «давать рассказы преимущественно о том, что могло связываться с интересами объективными или характеризовать черты, нравы и обычаи известной эпохи», Панаев действительно сообщает немало интересного о быте литературных кружков 1840-х годов, характеризует условия жизни и обстановку в таком специальном учебном заведении, как Институт инженеров путей сообщения. Он рассказывает об инженерах-путейцах (новая тогда профессия) и описывает страшные методы эксплуатации рабочих-землекопов на постройке Николаевской железной дороги. И неизбежны здесь ассоциации со стихотворением Некрасова на эту же тему.

Панаев дорожил каждым фактом, каждым наблюдением. Иногда, встретив интересного человека в такой обстановке, которая не позволила им сойтись ближе, Панаев ссылается на других мемуаристов. Так произошло в случае с А. А. Фетом. Каза-

лось бы, естественнее было опустить рассказ о недолгом знакомстве, но Панаев не делает этого потому, что видит свои «Воспоминания» в неразрывной связи с другими мемуарными книгами, описывающими то же время, тот же круг людей. Это придает его «Воспоминаниям» особый оттенок, дополнительную ценность.

В историю культуры вошли те, о ком рассказали Д. В. Григорович и В. А. Панаев в своих записках: В. Г. Белинский и А. И. Герцен, А. В. Кольцов и Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский. Достоянием культуры стали и мемуарные произведения, им посвященные.

Г. Г. Елизаветина

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Детство.— Строгая бабушка.— Французские глаголы.— Старый камердинер Николай.— Поездка в Москву.— Гимназия.— Пансион Монигетти.— Случайный кандидат в инженеры.— Приезд в Петербург.

В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько было их у меня. Во всяком случае, сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них с таким трудом, как мне, досталась русская грамота. Мать моя хотя и говорила по-русски, но была природная южная француженка[1]; отец был малороссиянин; я лишился его, когда мне было пять лет[2]. Воспитанием моим почти исключительно занималась бабушка (со стороны матери)[3], шестидесятилетняя старуха, но замечательно сохранившаяся, умная, начитанная, вольтерьянка в душе, насквозь пропитанная понятиями, господствовавшими во Франции в конце прошлого столетия. События, которых она была свидетельницей в Париже во время террора, как бы закалили ее характер, отличавшийся вообще твердостью и энергией. Матушка благоговела перед нею, но вместе с тем боялась ее; она обращалась с бабушкой не как тридцатилетняя вдова и хозяйка дома, а подобострастно, с покорностью девочки-подростка. Когда бабушка была не в духе, матушка ходила на цыпочках, бережно, без шума затворяла дверь; случалось, на бабушку нападет стих веселости,— она затягивала дребезжащим голосом арию из «Dame blanche»[4] или куплет из давно слышанного водевиля,— матушка тотчас же к ней подсаживалась и начинала подтягивать.

Концерты эти не были, однако ж, продолжительны,— как та, так и другая не любили сидеть сложа руки. В хорошую погоду бабушка, в зеленом абажуре над глазами, с заступом в руке, проводила часть дня в палисаднике, копала грядки, сажала и пересаживала цветы, обрезывала лишние ветки; в дурную погоду ее неизменно можно было застать сидящую на одном и том же кресле, подле окна, с вязаньем и длинными спицами между пальцами. Матушка неустанно суетилась по хозяйству, но, главным образом, занималась лечением больных. Известность ее, как искусной лекарки, не ограничивалась нашей деревней,— больные приходили и приезжали чуть ли не со всех концов уезда. Наплыв больных сопровождался обыкновенно негодующими возгласами матушки: «Где мне взять столько лекарств?.. У меня нет времени!..» — и т. д.; но мало-помалу голос смягчался, уступая воркотне, слышалось: «Ну, покажи, что у тебя?..» — и кончалось миролюбиво — советами, накладыванием пластырей и примочек. Кончалось часто тем, что больному вместе с лекарствами отпускался картофель, мешочек ржи, разное старое тряпье. Уступчивость и мягкость характера матери были необходимым противовесом строптивости и крутости бабушки[5].

Сфера, в которой протекли первые годы моего детства, не имела ничего общего с бытом соседей-помещиков того времени. Те, которые составляли в уезде аристократию и были богаты, отличались кичливостью и виделись только между собою; у других дом был открыт для званых и незваных, пировали круглый год, благо крестьяне, помимо других повинностей, обязаны были поставлять к барскому столу яйца, кур, баранов, грибы, ягоды и проч.; содержали охоту, многочисленную дворню, шутов, приживальщиков обоего пола, сочиняли праздники, пикники, играли в карты,— словом, жили в свое удовольствие, не заботясь большею частью о том, что имение заложено и перезаложено в опекунском совете. Один из таких домов врезался мне в память. Матушка не любила выезжать, но раз сочла необходимым отправиться с визитом и взяла меня с собою. Дом помещика поразил меня своею громадностью; он был деревянный, в два этажа, с просторными выбеленными комнатами без всяких украшений. Обедало в этот день множество всякого люда; играл оркестр из крепостных. Внимание мое исключительно было посвящено маленькому низенькому столику в одном из углов залы; за этим столом сидели шут и шутовка в желтых халатах и колпаках, с нашитыми на них из красного сукна изображениями

зверей. Шутовку звали Агашкой. Матушка предупреждала меня, что Агашку считают очень опасной, и приказала мне не подходить к ней; несколько раз поджигала она господский дом, была зверским образом наказана, но помещика она забавляла, и он не хотел с ней расстаться. Весь остаток дня меня занимала только Агашка; она свободно расхаживала по всем комнатам, размахивая руками и что-то бормоча; стоило ей показаться в дверях, как я замирал от страха и сломя голову бросался к матери. Помещик этот, Д. С. К[ротков][6], известен был во всем околотке своею неукротимою строгостью. Когда он выезжал на улицу деревни в сопровождении крепостного Грызлова, своего экзекутора, или, вернее, домашнего палача, ребятишки стремглав ныряли в подворотни, бабы падали ничком, у мужиков озноб пробегал по телу. Его боялись все домашние, начиная с жены. Побеждая в себе робость, намолившись и накрестившись в образной, жена решалась иногда просить мужа отпустить ее в Москву для свидания с родственниками.

— Хорошо,— соглашался иногда Д. С.— Эй, позвать ко мне Грызлова!

— Грызлов,— говорил Д. С.,— Марья Федоровна в Москву собирается; нужны деньги... Проезжая по деревням, я видел много там этой мелкоты, шушеры накопилось,— распорядись!..

Это значило, что Грызлову поручалось объехать деревни Д. С., забрать по усмотрению лишних детей и девок, продать их, а деньги доставить помещику. Это происходило в самый разгар крепостного права, когда еще не вышло указа, дозволявшего продавать крепостных людей не иначе, как целыми семействами[7].

Рассказы эти и все, что приходилось тогда слышать о жизни помещиков, производили на меня сильное впечатление. В нашем доме тени не было ничего подобного. Крестьяне наши были отпущены на оброк еще при жизни отца, полагавшего, вероятно, что женщине, да еще иностранке, не управиться с барщинным положением. Гости бывали у нас очень редко, да и очень близких соседей было немного; чаще других наезжали две старушки и одна пожилая девица, да и то когда уже больше некуда было деваться. Им скучно было беседовать — да и о чем? — с бабушкой, плохо понимавшей русский язык; не более интересно было сидеть и с матушкой, слушавшей всегда рассеянно, занятой каким-нибудь хозяйственным предметом, от которого ее отрывали, или выслушивать ее рассказы

о том, как хорошо действует ревень на новорожденных младенцев, или о том, как на днях Гризетка,— любимая кошка матушки,— принесла шестерых котят,— и представьте: у одного из них на лбу белая звездочка, точно нарисованная! Накушавшись чаю и варенья, соседки торопливо уезжали, думая, вероятно, на обратном пути: «Чудачки же, право, эти француженки!»

Не весело было и мне, одинокому мальчугану, в такой обстановке.

Пяти лет бабушка посадила меня за книжку. Книжка эта была французская азбука, присланная из Парижа подругой детства матери; азбука украшалась раскрашенными картинками, на которые я набросился с такою жадностью, что по целым дням не расставался с книжкой и украдкой уносил ее к себе в постель.

Читать выучился я скоро; с чистописанием шло гораздо хуже: меня по целым неделям заставляли выводить палочки между строками; пока каждая палочка не шла параллельно одна другой, меня ни за что не допускали к кривым линиям из убеждения, что преждевременная рисовка последних портит руку. Французы, несмотря на живость своего темперамента, ужасные педанты и рутинеры во всем, что касается воспитания и образования детей; раз приняты такие-то правила в учебниках и руководствах, боже упаси их нарушать, хотя бы они явно противоречили природным наклонностям ребенка. Рутина преследовала меня во всем, даже в пище. Я терпеть не мог молоко,— меня заставляли его пить под предлогом, что чай сушит грудь, кофе не принято давать детям и, кроме того, надо всегда стараться подавлять первые порывы воли, которые сначала ничего больше, как капризы, причуды, но при потачке могут развиться в неукротимое своеволие. Меня насильно заставляли есть сырую морковь, в уверенности, что она очищает кровь, и т. д. Когда я от чего-нибудь упорно отказывался и начинал плакать, меня немедленно ставили в угол и для большего назидания надевали на голову бумажный колпак с большими ушами.

Все это, конечно, делалось с благими намерениями. Матушка моя была добрейшая женщина, но, как я уже заметил, она находилась вполне под влиянием бабушки, не смела ей противоречить даже в тех случаях, когда внутренно была другого мнения. Благие эти намерения приводили, однако ж, к тому, что они с первых детских лет развивали во мне раздражительность и неприязненное чувство к бабушке.

После того как я стал довольно бегло читать, бабушка заставила меня учить глаголы: *Etre* и *Avoir* *. Немало слез было пролито, прежде чем я достиг в этом упражнении того, чего требовала моя строгая наставница; когда требовалось спрягать подряд от слов: *Ie* suis ** до конца глагола, дело шло еще изрядно, но когда бабушка, закрыв книжку, неожиданно заставляла спрягать вразбивку ту или другую часть глагола, я заминался, путался, становился часто совсем в тупик и начинал учащенно моргать глазами. Бабушка молча направляла указательный палец на угол; я начинал плакать. «Si c'est comme cela ***,— говорила бабушка,— если ты не перестанешь, ты простоишь в углу до обеда и тебя не пустят гулять». Больше всего доставалось мне за таблицу умножения,— на французском языке, конечно. Помню очень хорошо, как бабушка, потеряв, наконец, терпение, сказала при мне матушке, что она весьма сожалеет, но кажется ей, что она произвела на свет совершенного идиота.

В известные часы, обыкновенно по вечерам, когда матушка и бабушка усаживались друг против друга за работой, меня сажали между ними на табурет, и происходило чтение. Иногда читала матушка, но больше, для практики, заставляли меня. Из тогдашних помню только два сочинения: собрание повестей Беркена «Berquin l'ami des enfants» и швейцарского Робинсона[8]. Припоминаю также, как по поводу Беркена бабушка любила повторять историю о том, что после того, когда Беркен опасно захворал и ждали его кончины, толпа молодых девушек, его воспитанниц, собралась под его окном; одна из них заиграла на арфе, другие запели хором одну из песен, сочиненных наставником; Беркен при этом залился слезами — и слезы эти спасли ему жизнь. История эта не казалась мне тогда вовсе сентиментальной. Швейцарский Робинсон не только пришелся мне больше по сердцу, но увлек меня совершенно. Он первый раз пробудил мое детское воображение, одушевил мое любопытство, вынес за пределы родительского дома и деревни.

До восьми лет в моих руках не было ни одной русской книги; русскому языку выучился я от дворовых, крестьян и больше от старого отцовского камердинера Николая; он любил меня, как будто я десять раз был его родным сыном, как будто отец мой, перед памятью которого он благоговел,

* Быть и иметь *(фр.)*.
** Я есмь *(фр.)*.
*** Если так *(фр.)*.

завещал ему утешать меня, любить и ласкать. О нем можно сказать то же, что Филарет говорил о русском народе: *в нем свету мало, но теплоты много.* По целым часам караулил он, когда меня пустят гулять, брал на руки, водил по полям и рощам, рассказывал разные приключения и сказки. Не помню, конечно, его рассказов, помню только его ласковое, сердечное обращение; за весь холод и одиночество моей детской жизни я отогревался только, когда был с Николаем. Когда решено было везти меня в Москву[9] и наступила минута расставанья с Николаем, я, как исступленный, с криком бросился ему на шею, истерически рыдал, кричал и так крепко обхватил его руками, что пришлось силой меня оторвать.

Кому пришла мысль везти меня в Москву и отдать в гимназию, не знаю; мысль, по всей вероятности, внушена была бабушкой,— ее советы были законом для матери.

Никогда не забуду этого первого моего переезда из деревни в Москву. Была осень. Мы спускались с кручи к Оке, чтобы пересесть затем на паром. За Окой, в глубине горизонта, надвигались неправильными рядами сизые тучи, между которыми местами просвечивали багровые полосы неба; было ли то действие внезапного пробуждения от сна, или крайнее нервное расстройство после разлуки с Николаем, или, наконец, галлюцинация, но мне показалось, что просветы на небе только продолжение видимого пространства Оки, тучи на нем, острова и мы все — с людьми, лошадьми, тарантасом — спускаемся в безбрежный океан и в нем должны будем погибнуть. Я начал биться и кричать и перепугал матушку, которой немало стоило усилий удержать меня на месте и уговорить. Бабушка, ехавшая с нами, отворачивалась, как бы желая показать свое неодобрение потачке капризам и причудам внука. Мы ехали на своих; к ночи остановились на полпути в деревне. Когда все улеглись, меня посетила буквально та же галлюцинация, и я также поднял ужасный крик. «Ce Dimitre vraiment devient fou, Dieu me pardonne!» *— послышался досадливый голос бабушки. К утру только я совершенно успокоился, когда мы выехали в поле и показались деревни.

Прежде чем поместить меня в гимназию, следовало отыскать семейство, в котором, в свободное от классов время, я мог бы найти убежище и питание. Нашелся немец[10], содержавший за известную плату нескольких воль-

* «Дмитрий-то, видно, сошел с ума, прости господи!» *(фр.)*

ноприходящих гимназистов. Прежде всего он потребовал от матушки серебряный *куверт*, ложку, вилку и ножик. Тогда это было в обычае; не знаю, удержался ли он до теперешнего времени. О пребывании моем в гимназии распространяться нечего: я пробыл в ней всего два месяца[11]. Переход из женских рук в мужские был для меня очень чувствителен. Непривычный к обществу мальчиков, я тем больше чуждался их, что они не переставали надо мною трунить, кричали под ухо: «Коман ву франсе...» — нахлобучивая при этом шапку на глаза. В классах и с репетитором было и того хуже; плохо читая по-русски и еще с иностранным акцентом, еще плоше умея писать по-русски, я постоянно терял голову; чувство какого-то страха не покидало меня; я положительно не понимал того, чего от меня требуют, и разражался обыкновенно слезами, дававшими повод глумлению и насмешкам товарищей. Кончилось тем, что со мной сделалась чуть ли не нервная горячка; матушка приехала[12] и взяла меня скорее из гимназии. Серебряный *куверт* пропал, таким образом, совершенно даром.

Надобно было, однако ж, подумать о продолжении, или, вернее, о начале моего образования. Матушка стала разыскивать, справляться. В Москве в то время существовал на Петровке известный французский модный магазин г-жи Монигетти; у содержательницы магазина было три сына; желая дать им образование, но вместе с тем желая, чтоб оно обошлось дешевле, она придумала брать к себе на дом воспитанников; за известную годовую плату они пользовались помещением, столом и уроком. Матушка случайно напала на след этого пансиона, сообщила бабушке о своем открытии и, получив от нее полное одобрение, немедленно вступила в переговоры. Действительно, нельзя было придумать ничего лучшего: во-первых, не забудется французский язык и, во-вторых, сохранится во всей чистоте нравственность, так как я поступаю не столько в пансион, сколько в семейство порядочных, вполне надежных людей.

Матушка не ошиблась в обоих предположениях. Г-жа Монигетти была женщина умная, бойкая, привыкшая командовать, особенно над мужем, но, в сущности, имела доброе сердце и обращалась с нами по-родительски. Не следовало ей только противоречить; она сама говорила, что тогда горчица подступает ей к носу; голос ее в таких случаях раздавался по всему дому, и все мгновенно затихало, как перед бурей; но «горчица отходила от носа» — и снова все шло обычным порядком. Муж ее, родом итальянец,

содержал в том же доме погреб иностранных вин и отличался голубиною кротостью нрава; он занимал в квартире жены крошечную комнату и редко показывался, проводя свободное время в обществе соотечественников, певцов, музыкантов, артистов всякого рода, приезжавших в Москву. К уходу за нами приставлена была пожилая женщина, Катерина, образец доброты, тип слуг старого времени. Она вынимала нас из ванны, кутая в теплую простыню, уносила на руках и укладывала в постель, заботливо прикрывая одеялом.

После гимназии, куда я попал, как рыба, вынутая из воды, я почувствовал себя здесь, как рыба, снова опущенная в воду. Кроме трех сыновей Монигетти, посторонних воспитанников было шестеро. Четверо из них принадлежали семействам французских коммерсантов, основавшихся в Москве с двенадцатого года; русских было только двое: я и Попов, поступивший потом в отделение восточного факультета при министерстве иностранных дел, назначенный после окончания курса консулом в Яссы, потом генеральным консулом в Марсель и окончивший дипломатическую карьеру послом в Пекине[13]. Все мы были почти одного возраста, кроме старшего сына Монигетти, которому было уже пятнадцать лет; он готовился для поступления в Академию художеств и впоследствии сделался известным рисовальщиком и архитектором. Несмотря на разность наших специальностей и состояний, мы жили весьма дружно; говорю «состояний» потому, что даже в нашем детском кругу исключительно, кроме меня и Попова, оно имело большое значение; всем давали деньги на театр, удовольствия, покупку сластей во время прогулок; у детей Монигетти, которым родные и знакомые имели обыкновение дарить деньги в дни именин и рождения, были даже накоплены маленькие капиталы. Я был всех беднее. Матушка, при всей своей доброте, считала лишним давать мне деньги; по ее понятиям, деньги в руках детей приучают к мотовству. Но, помню, я этим не очень огорчался; при крайней моей наивности зависть не успела еще коснуться моей души. У меня тогда была одна страсть, доходившая до мании: строить крошечные театры, вырезывать для них кулисы, разрисовывать декорации. Страсть эта, совершенно меня поглотившая, внезапно открылась после первого посещения театра, где давали «Фрейшюца» («Волшебного стрелка»)[14]. Стоило мне завладеть коробочкой,— будь она в три вершка,— я освобождал у нее бок, вырезывал в двух других боках узенькие полоски для

вставки кулис и принимался тотчас же за декорации. К вечеру театр был уже готов, и происходило представление неизменно одного и того же содержания: «Пожар в деревне»,— продолжавшееся много три минуты и кончавшееся тем, что кулисы, декорации и часто самое здание предавались пламени. В классной комнате, где были также наши кровати, пахло горелым; входил г. Франсуа де Метраль, и я получал обыкновенно нахлобучку, но столь легкую, что на следующий же день воздвигал новый театр и снова представлял «Пожар в деревне».

Г-н де Метраль, главный руководитель в нашем образовании и живший в том же доме, родом из французской Швейцарии, был видный, рослый, белокурый красавец лет тридцати пяти; румянец во всю щеку на открытом веселом лице, живая походка, звонкий голос; такая наружность не могла, конечно, принадлежать строгому, сухому педанту; он им и не был, но прежде всего был бонвиван, жуир, весельчак, тщательно скрывавший свои похождения от г-жи Монигетти. Мы все очень его любили, несмотря на привычку прогуливать линейку по нашим плечам. Он преподавал едва ли не все предметы, в числе которых главным была мифология. Преподавание происходило, конечно, на французском языке. Раз в неделю являлся учитель немецкого языка, но больше для виду, для счета. Раз также, на один час, приходил русский учитель, чахлый старенький чиновник; только мне и Попову вменялось в обязанность присутствовать при уроке, состоявшем в диктовке, которую к следующему уроку следовало переписать набело. Два раза в неделю нас всех гурьбою водили в Строгановское училище рисования. Из всех нас я особенно отличался. В первый же год я сделал такие успехи, что директор школы, венгерец (не помню его имени), обратил на меня внимание. Упоминаю об этом с тем, чтобы указать на прирожденную мою склонность к художеству; она выказалась сама собою, без всякой подготовки, выказалась инстинктивно в такое время, когда остальные способности не думали еще пробуждаться. Кто знает, если б тогда уловили во мне эту склонность и дали ей надлежащее направление, из меня, может быть, вышел бы порядочный художник. Но судьбе угодно было распорядиться мною другим образом.

Артистическое наше образование дополнялось уроком танцев, сопровождавшимся всегда некоторою торжественностью; приглашались знакомые, зажигались жирандоли с восковыми свечами; нам надевали новые курточки, башмаки, и мы выводились в залу. К семи часам являлся ста-

рый, лысый скрипач, и вскоре входил танцмейстер г. Бодри, во фраке с необыкновенно высокими буфами на плечах, завитым хохлом и вывороченными, как у гуся, ногами. Раскланявшись с изысканною грацией на все стороны, он устанавливал нас в ряд: сначала учили нас, как входить в комнату, как шаркать ногой, соблюдая при этом, чтобы голова оставалась неподвижной, как подходить к дамской ручке и отходить, не поворачиваясь правым, но непременно левым плечом; затем начинались танцы; французская кадриль едва входила в моду; танцевали больше экосез, гросфатер и обращали внимание на характерные танцы: гавот, матлот и еще какой-то особенно сложный, называвшийся «Швейцарка на берегу озера». Характерным танцам учили, впрочем, только детей хозяев дома и приготовляли их в виде сюрпризов в дни именин отца и матери.

Летом нас переселяли в Петровский парк; там у Монигетти была собственная дача. Здесь нам положительно давалась полная свобода бить баклуши,— разве когда г. де Метраль, нагулявшись досыта в Москве, неожиданно приезжал на дачу и сажал нас за диктовку. Но г. де Метралю это скоро надоедало, и он уезжал, передавая нас на руки дядьке. Мы отправлялись в Петровское-Разумовское, ходили купаться во Всесвятском пруду, наполненном наполовину водой, наполовину разными водорослями, лягушками и пиявками.

Дядьки эти (menins, как их называли) сменялись у нас очень часто. У г-жи Монигетти не было на них счастливой руки. Из них я помню только троих: один, тучный, тяжеловесный баварец, молчаливый и постоянно тоскующий, будивший нас по ночам тяжелыми вздохами; он оставил нас и вскоре открыл булочную. Гуляя, мы часто к нему заходили угощаться миндальными крендельками. Другой, некто Гибнер, провел с нами год; гуляя на масленице в Подновинском, мы зашли в балаган и застали его там кассиром. Третий, Крамер, имел обыкновение, как только мы укладывались спать и он, кряхтя, ложился на свою постель, рассказывать такие анекдоты и похождения, что его стоило бы за них если не повесить, то вытолкать взашей. Так, кажется, и случилось.

У Монигетти я пробыл три года. В этот период времени мои умственные способности не двинулись ни на один градус; взамен этого чистота нравственного чувства или, скорее, воображения, на которую так рассчитывала матушка, несколько поколебалась; пробудилось любопытство

к предметам, которые прежде не приходили мне в голову. В сущности, я оставался почти таким же ребенком, каким был в деревне. Во мне не было даже признака сознания того, что значит в самом деле учиться, быть внимательным к тому, что читаешь, отдавать себе отчет в прочитанном. Каким образом выучился я в это время читать по-русски и особенно писать, то есть выводить пером русские слова, до сих пор не могу объяснить себе. Я не был в состоянии сочинить и написать по-русски самого простого детского письма; письма к матери писал я не иначе, как по-французски.

К концу моего пребывания у г-жи Монигетти пансион ее стал сам собою распадаться. Старший ее сын был отправлен в Петербург, в Академию художеств, второй поступил в иностранную книжную лавку для изучения этой отрасли торговли; двое иностранных воспитанников уехали за границу для окончания образования. Попов также отправлен был в Петербург для определения в Институт восточных языков.

Около этого времени матушка моя ездила в Петербург. По возвращении ее я узнал, что меня записали кандидатом в Главное инженерное училище. Не помню, какое действие произвело на меня это известие. Помню только, что, прощаясь с г-жой Монигетти, я почтительно целовал ее руку, но не пролил ни одной слезинки. Меня самого тогда это удивило.

В кандидаты инженерного училища попал я совершенно случайно. Матушка моя, отправляясь в Петербург с тем, чтобы отдать меня в пансион или кадетский корпус, сидела в дилижансе с московской дамой, г-жой Толстой, ехавшей с определенною целью: сделать сына инженером. Дамы разговорились. Узнав от собеседницы, что инженерная служба не так тягостна, как военная, а инженерное училище считается первым военно-учебным заведением в России, матушка тут же решила последовать ее примеру. Г-жа Толстая присовокупила, что для поступления в училище требуется экзамен, и она едет хлопотать о том, чтоб отдать сына для приготовления к капитану Костомарову, которого ей специально рекомендовали. В Петербурге матушка отправилась вместе с г-жой Толстой к Костомарову просить о принятии вместе с Толстым и меня, на что Костомаров охотно согласился.

Месяца два спустя, на масленице, меня привезли в Петербург[15]. Мы остановились в меблированных комнатах на Исаакиевской площади, загороженной тогда вокруг,

вплоть до Большой Морской, заборами. В самый день нашего приезда поднялся около нас и на улице страшный переполох; пронесся слух, что на площади, недалеко от нас, горит балаган Легата[16], в котором, рассказывали, погибло несколько сот человек.

Первый мой визит, вместе с матушкой, к Костомарову произвел на меня, сколько помню, удручающее впечатление. Я увидел перед собою пожилого, высокого офицера с большими черными усами, с серьезным, даже, сколько мне тогда показалось, суровым лицом. Мы вошли, вероятно, в то время, когда он давал урок своим воспитанникам; за столом, покрытым тетрадями и книгами, сидело человек пять — не детей, а зрелых юношей. Они испугали меня более даже, чем сам капитан. Сердце мое замирало при мысли, что эти взрослые незнакомцы будут моими товарищами, придется оставаться с ними, жить вместе с ними. Утешался я тем только, что со мной будет Толстой, с которым я успел познакомиться и подружиться, несмотря на разницу нашего умственного развития. Толстой провел свое детство в Москве, в доме умного, образованного отца, был пятнадцати лет вполне развитой мальчик, успел прочесть множество русских книг, хорошо был знаком с русским языком и грамотой.

Разлука с матушкой была трогательная; я не кричал истерически, как при прощании с Николаем, но слез все-таки немало было пролито.

Первое впечатление, сделанное на меня Костомаровым, было ошибочно: он оказался добрейшим, мягким человеком. Жена его отличалась теми же качествами. Те из нас, которые еще живы, узнав ее, вероятно, и теперь добром ее поминают. Насчет новых моих товарищей я также ошибся: они были добрые, смирные ребята, исключительно почти занятые мыслью учиться и с успехом выдержать экзамен. Их усердие немало также возбуждалось тем, что Костомаров приготовлял своих питомцев таким образом, что они выдерживали поступной экзамен всегда первыми; их в училище так и звали *костомаровцами;* каждый лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь и поддержать репутацию уважаемого наставника.

После того, что я до сих пор сказал о себе, легко понять, как трудно было мне привыкать к новой жизни, имевшей так мало общего с прежнею,— жизни, где говорили и думали только по-русски, где на ученье смотрели как на самое серьезное дело в жизни, где самое ученье преподавалось только на русском языке. Учитель русского

языка не мог считаться из выдающихся, но был человек добросовестный, старательный. Сжалившись, вероятно, надо мной, он принялся за меня с особым усердием, заставлял писать под диктовку, исправлял мою рукопись, разъясняя ошибки. К концу первого года я заметно сделался внимательнее, стал лучше понимать уроки. Не давалась мне окончательно одна математика. К. Ф. Костомаров усугублял свои старания, давал мне отдельно уроки, но ничего не помогало. Не раз, вероятно, думал он: «Ну, этот наверняка провалится на экзамене, да и меня посадит!»

Два года спустя я тем не менее поступил в училище[17].

Не помню решительно, как происходил экзамен, не помню, о чем меня спрашивали, как я отвечал; помню только, передо мною сидело несколько офицеров и начальник училища, генерал Шаренгорст, которому я был прежде представлен матушкой. По всей вероятности, вывезли меня два предмета: французский язык и рисование. «Как он хорошо говорит по-французски! Как хорошо!» — раздавался в ушах моих голос Шаренгорста. На экзамене из рисования я провел на бумаге несколько перекрестных штрихов, долженствовавших, как показывали в Строгановском училище, определять место каждому орнаментному завитку, и бойко начал набрасывать самый орнамент; в эту минуту подошел ко мне инспектор Ломновский, взял от меня начатый рисунок и, показывая его остальным экзаменаторам, воскликнул: «Посмотрите, господа, как рисует! Молодец, видно, что хорошо учился!»

Так или иначе, но я был принят в числе других пятнадцати; из них трое были костомаровские.

Нас повели сначала в лазарет для осмотра, потом в какую-то комнату, где всех раздели донага (я корчился, как девочка, едва удерживая от стыда слезы). Час спустя мы были в казенном белье, куртках с погонами и тугим застегнутым воротником, крайне неловко подпиравшим подбородок. Нас поставили в ранжир по росту и долго заставляли чего-то ждать. Вошел наконец ротный командир, полковник Фере, человек заспанного, сумрачного вида, с красным опухшим лицом. Он обвел нас мутными глазами и вдруг скомандовал: «Направо, марш!» Напирая друг другу на пятки, сбиваясь от непривычки на шагу, мы направились к рекреационной зале, по которой расхаживали наши будущие товарищи.

II

Инженерное училище в 1835—1840 годах.— Рябцы.— Ф. Ф. Радецкий.— Барон Розен.— Тотлебен.

Первый год в училище был для меня сплошным терзанием[18]. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полустолетия, не могу вспомнить о нем без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружистика, не столько даже трудность ученья в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казенном и притом военно-учебном заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь, главным образом, о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна.

Комплект учащихся состоял из ста двадцати воспитанников, или *кондукторов,* как их называли, чтоб отличать от кадет. В мое время треть из них составляли поляки, треть — немцы из прибалтийских губерний, треть — русские. В старших двух классах были кондукторы, давно брившие усы и бороду; они держали себя большею частью особняком, присоединяясь к остальным в крайних только случаях. От тех, которые были моложе, новичкам положительно житья не было. С первого дня поступления новички получали прозвище *рябцов,*— слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов как на парий было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям.

Новичок стоит где-нибудь, не смея шевельнуться; к нему подходит старший и говорит задирающим голосом: «Вы, рябец, такой-сякой, начинаете, кажется, кутить?» — «Помилуйте... я ничего...» — «То-то ничего... Смотрите вы у меня!» — и — затем щелчок в нос или повернут за плечи, и ни за что ни про что угостят пинком. Или: «Эй, вы, рябец, как вас?.. Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да смотрите живо, не то расправа!» Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной

воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок.

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперек двери из одного класса в другой ставился стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали кручеными жгутами и хлестали куда ни попало. И боже упаси было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. Сын доктора К., поступивший в одно время со мною, начал было отмахиваться кулаками; вокруг него собралась ватага и так исколотили, что его пришлось снести в лазарет; к его счастью, его научили сказать, что он споткнулся на классной лестнице и ушибся. Пожалуйся он, расскажи, как было дело, он, конечно, дорого бы поплатился.

И все это происходило в казенном заведении, где над головой каждого висел дамоклов меч строгости, взыскательности самой придирчивой; где за самый невинный проступок — расстегнутый воротник или пуговицу — отправляли в карцер или ставили у дверей на часы с ранцем на спине и не позволяли опускать ружье на пол.

В одном из помещений училища находилась канцелярия, сообщавшаяся с квартирой ротного командира Фере; в канцелярии заседал письмоводитель из унтер-офицеров, по фамилии Игумнов. Зайдешь, бывало, в канцелярию узнать, нет ли письма, не приходил ли навестить родственник. Случайно в дверях показывался Фере; он мгновенно указывал пальцем на вошедшего и сонным голосом произносил: «Игумнов, записать его!» Игумнов исполнял приказание, и вошедший ни за что ни про что должен был отсиживать в училище праздничный день.

Безусловно, винить начальство за допущение своеволия между воспитанниками было бы несправедливо. Не надо забывать, что в то время оно находилось более чем мы сами под гнетом страха и ответственности; на шалости, происходившие у себя дома, в закрытии, смотрели снисходительно, лишь бы, как я уже заметил, в данный момент воспитанники были во всем исправны: не пропустили на улице офицера, не отдав ему чести, выходной билет был бы на месте между второй и третьей пуговицей, отличились бы на ординарцах или на разводе или молодцами прошли бы на майском параде. Надо сказать также, начальство ничего не знало о том, что происходило в рекреационной

зале,— оно туда почему-то редко заглядывало. Там, между тем, помимо истязания рябцов, совершались другие предосудительные сцены; распевались песни непристойного характера и в том числе знаменитая «Феня», кончавшаяся припевом:

Ах ты, Феня, Феня,
Феня ягода моя!..

Раз в год, накануне рождества, в рекреационную залу входил письмоводитель Игумнов в туго застегнутом мундире, с задумчивым, наклоненным лицом. Он становился на самой середине залы, выжидал, пока обступят его воспитанники, кашлял в ладонь и, не смотря в глаза присутствующим, начинал глухим, монотонным голосом декламировать известное стихотворение Жуковского:[19]

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...
и т. д.

Покончив с декламацией, Игумнов отвешивал поклон и с тем же задумчивым видом медленно выходил из залы.

Всякий раз после этого собиралась подписка в пользу Игумнова; одному из старших поручалось отдать ему деньги.

Разноплеменность в составе персонала училища не давала себя чувствовать, или по крайней мере настолько слабо выражалась, что была почти незаметна; ее сглаживали чувство строгой зависимости, распространявшейся на всех одинаково, труд и сложность занятий в классах, отчасти также общий гонор, царивший в мое время в училище; гонор основывался на преимуществе перед другими военно-учебными заведениями, не допускавшем в училище телесного наказания. Такое преимущество в значительной степени приподымало дух каждого, составляло его гордость.

Обращение с жалобой к дежурному офицеру за дурное обращение старших считалось равносильным фискальству, шпионству. В течение четырех лет, как я находился в училище, раз был такой случай, и тот, сколько казалось, основывался больше на догадках, чем на факте. Один из кондукторов, прежде меня поступивший в училище, сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и огулом не любили. Вопреки привычке Фере — никогда почти не говорить с воспитанниками, он стал

часто звать к себе на квартиру любимца; спустя несколько времени любимцу нашили унтер-офицерские нашивки, что делалось за особенные успехи по фронтовой части и отличное поведение. Этого достаточно было, чтобы возбудить подозрение; стали распространять слухи, что любимец ничего больше, как фискал и доносчик. Не помню, как составился и созрел против него заговор; я в нем не участвовал. Помню только следующую сцену. Это было ночью. Любимец в качестве унтер-офицера был дежурным; он проходил через большую камеру, где спало нас шестьдесят человек; зала тускло освещалась высокими жестяными подсвечниками с налитою в них водою и плавающим в ней сальным огарком. Едва показался любимец, огни мгновенно были погашены; несколько человек, ждавших этой минуты, вскочили с постелей, забросали любимца одеялами и избили его до полусмерти. На шум и крик вбежал дежурный офицер; со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения, заранее сбереженный после ужина. «Господа,— кричал офицер,— я не под такими картофелями был, под пулями — и не боялся!..» Снаряды продолжали сыпаться. Офицер побежал к ротному командиру, который, от страха, вероятно, не явился, но отправился будить начальника училища Шаренгорста. На следующее утро всю роту выстроили по камерам; пришел генерал Шаренгорст и, по обычаю, начал здороваться; ему не отвечали. Вскоре за ним приехал начальник штаба военно-учебных заведений генерал Геруа. Проходя по камерам, он начал тоже здороваться; никто не откликнулся. Не ожидая, вероятно, такого упорного неповиновения и приписывая его опасной стачке, он, не дойдя до последней камеры, круто повернулся на каблуке и вышел, сопровождаемый начальством училища, которое шло повеся нос и как бы пришибленное. Результат был тот, что всю роту заперли в училище на неопределенное время. Арест разрешился только необходимостью выступать в лагерь.

Коснувшись дикого обычая истязать рябцов, не могу пропустить случая, до сих пор живо оставшегося в моей памяти. Один из кондукторов старших двух классов вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такою силой, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек, но он объявил, что первый, кто к нему подойдет, поплатится ребрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательной физическою силой. Собралась толпа. Он объявил, что с этой минуты никто больше не тронет но-

вичка, что он считает подлым, низким обычай нападать на беззащитного, что тот, кому придет такая охота, будет с ним иметь дело. Немало нужно было для этого храбрости. Храбрец этот был Радецкий, тот самый Федор Федорович Радецкий, который впоследствии был героем Шипки. На торжественном обеде, данном в его честь[20], в речи, которую я сказал ему, было упомянуто об этом смелом и великодушном поступке его юности.

В числе воспитанников моего времени, также отличившихся впоследствии, были Тотлебен, К. П. Кауфман, Достоевский и Паукер.

Умягчению нравов в училище много также способствовал новый ротный командир барон Розен, сменивший Фере.

Барон Розен служил на Кавказе, был храбрый боевой офицер с Георгием в петлице. Одного этого было довольно, чтобы воспитанники отнеслись к нему сочувственно. Он заслуживал также сочувствие своим смелым, но откровенно добродушным отношением с нами. Он то и дело заходил в роту, был весел, говорил со всеми, шутил. «Господа,— повторял он часто,— мы служим вместе, должны отвечать друг за дружку; будьте исправны, будьте молодцы; вы меня не выдавайте, я вас не выдам!» Он сделался вскоре до такой степени любимым и популярным, что стоило ему приказать что-нибудь, все беспрекословно исполнялось. Между дежурными офицерами у нас тоже были два любимца: Д. А. Скалон, ворчливый, но добрейший человек, и еще А. И. Савельев[21], сделавшийся впоследствии известным ученым-нумизматом.

Барон Розен сильно подтягивал училище только во фронтовом отношении. Мы, впрочем, мало этим тяготились. Сначала очень были скучны первые приготовительные приемы к маршировке, так называемая *выправка.* Нас ставили в ряд; унтер-офицер становился впереди и командовал: «Ра-а-з!» — мы должны были вытягивать правую ногу и носок; затем шла команда: «Два-а-а!» — следовало медленно подымать ногу и стоять в таком журавлином положении, пока не скомандуют: «Три!» При малейшем колебании туловища унтер-офицер кричал: «Отставь!» — и снова начиналось вытягивание ноги и носка. Но когда нам дали ружье, мы все — и я в том числе — были очень довольны и с увлечением принялись выделывать ружейные приемы. Ученье часто происходило на плацу перед Михайловским замком. Барон Розен всегда присутствовал, но предоставлял командовать офицерам,

ограничиваясь короткими замечаниями. Более всех горячился добрейший Д. А. Скалон. Когда фронт становился лицом к солнцу, глаза начинали щуриться и штыки колебаться, он положительно выходил из себя, топал ногами и кричал с пеной у рта: «Смирно! Во фрунте нет солнца!.. Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!..»

Прошел год, я держал ружье, выделывал артикулы и маршировал не хуже других. После майского парада и окончания экзаменов все нетерпеливо ждали выступления в лагерь.

Переход из Петербурга в Петергоф, несмотря на ранец, лядунку, кирку и лопату (необходимые доспехи сапера), которые при каждом шаге немилосердно били по ляжке, можно было бы назвать прогулкой, если б не носили тогда на голове огромных киверов, украшенных на макушке красным помпоном; но и с кивером можно было бы примириться, если б во время этого перехода он не служил кладовой, доверху набитой апельсинами, пирожками, булками, сыром, леденцами и другим съестным снадобьем; от этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.

В лагерное время прекращались всякие классные занятия. Занимались только шагистикой, военными эволюциями, приготовлением к линейным учениям и маневрам, которыми командовал обыкновенно сам государь Николай Павлович. Свободного времени оставалось много; нам давали волю гулять по всему лагерю. Некоторые были посмелее, переходили границы лагеря, украдкой бегали купаться на шлюзы под Бабьими-гонами, тогда еще имевшими вид болота; знаменитые «Озерки»[22] только что начинали строиться; архитектор Штакеншнейдер не приступал еще к постройке бельведера.

В этих прогулках и вообще других похождениях,— помню очень хорошо,— никогда не принимал участия Тотлебен. Он готовился тогда переходить в старший класс. Его во всякое время можно было застать сидящим на валу канавки, огибавшей нашу палатку, с книгой в руке или с кусочками дерева, из которых он искусно вырезывал перочинным ножом маленькие модели брустверов. Он, говорили, учился вообще туго; ему немало также стоило труда овладеть вполне русским языком; ему помогали в этом твердость характера, упорство и усердие. Я был товарищем его брата Адольфа, поступившего в училище в один год со мной; два года спустя я ездил с ним к старшему брату, уже произведенному в офицеры, в саперы, и жив-

шему в Царском Селе на скромной, бедной квартире. Любимым его занятием было тогда играть на гитаре и, сколько помню, постоянно разыгрывать одну и ту же пьесу: финал из оперы «Жизнь за царя»[23] — «Славься! Славься!». Шум толпы и звук колоколов он довольно искусно изображал, стукая суставами пальцев в коробку гитары. С тех пор мы встретились всего раз, уже тридцать лет спустя, и оба значительно уже поседевшие.

В бытность нашу в кадетском лагере нас иногда выравнивали по взводам и вели в нижнюю часть петергофского парка к Самсону[24]; там устанавливали нас в том же порядке против одного из бассейнов, куда стекает вода, ниспадающая по ступеням мраморной лестницы; на верхней площадке, перед дворцом, помещались придворные, окружавшие государыню Александру Федоровну. Несколько минут спустя выходил государь и здоровался с нами. Выровняв наши ряды, он отходил в сторону и командовал: «Раз! Два! Три!» По третьей команде мы бултыхались в бассейн и, цепляясь друг за дружку, сбиваемые водой, старались взобраться по ступенькам каскада до верхней площадки; первым трем, опередившим других, императрица собственноручно дарила призы, состоявшие большею частью из изделий петергофской гранильной фабрики. Возвращались мы в лагерь уже не в том виде и порядке, как шли оттуда, а вразброд, кому как вздумается, лишь бы скорее прийти в палатку и переодеться.

Помню очень хорошо, я всегда с сожалением расставался с лагерною жизнью. Маневры, линейные ученья, вообще фронтовая часть были для меня приятною забавой сравнительно с предстоящим принуждением сидеть в классах, приготовляться к лекциям и экзаменам. Я все еще не выходил из полусознательного туманного состояния ума, мешавшего быстро и ясно схватывать то, что читал преподаватель с кафедры; любопытство мое гораздо больше возбуждали наружность преподавателя, его голос, движения, манера, чем то, о чем он говорил. Многие из них требовали, чтобы ученики записывали за ними лекции; я положительно не мог этого делать по непривычке скоро писать и отчасти по нетвердости в русской грамоте. Предметы сколько-нибудь положительные, наглядные, осязательные, как, например, фортификация, артиллерия, география, давались мне очень легко; я отвечал на них иногда весьма изрядно и получал хорошие баллы; но едва касалось какой-нибудь математической выкладки, вычисления, мозг мой словно вдруг застилался туманом, чем-то

придавливался. При одном появлении преподавателя математики, Л. М. Кирпичева, сердце мое замирало; я наклонялся к столу и едва смел перевести дух от страха: нет-нет и — вдруг он меня вызовет к доске! Каждый раз, как это случалось, я ни жив ни мертв подходил к доске, старательно вытирал ее губкой, не забывая самых дальних углов; Кирпичев диктовал задачу; я каллиграфически ее вырисовывал, но когда дело доходило до решения, я смиренно признавался, что не могу этого исполнить, и получал нуль, за что в следующее воскресенье не выпускали меня в наказание из училища.

Самое страшное время, не только для меня, но и для всех нас, были годичные экзамены; сколько помнится, они происходили в мае. В училище преподавалось около пятнадцати самых разнородных предметов; каждый из них надо было пройти от начала до конца за весь год и приготовиться к нему в течение двух, иногда одного дня. Чрезмерное умственное напряжение, просиживание ночи без сна, без сомнения, действовали крайне вредно на здоровье. В течение этого времени никто почти не говорил друг с другом, ходили все как шальные или сидели не двигаясь, придерживая в ладонях голову, наклоненную над книгой. От экзамена зависел переход в следующий класс,— переход, приближавший к освобождению из училища, к свободе, и это, вероятно, придавало силы побеждать трудность.

Как результат первого года, проведенного в училище, должен сказать, решительно не понимаю, как я, мальчик по природе в высшей степени нервный, впечатлительный, робкий, мягкий, как воск, с развитием крайне запоздалым,— как мог я пережить в этой атмосфере, где товарищи были суровее, беспощаднее, чем само начальство.

III

Знакомство с Достоевским.— «Мечты и звуки».— Знакомство с Некрасовым.— Случай, послуживший поводом к моему выходу из училища.

Раз в воскресенье отправился я из училища, желая навестить бывшего моего наставника К. Ф. Костомарова. Я пришел утром, в то время, когда его питомцы (их был новый комплект и, по-прежнему, человек пять) не занимались. Меня тотчас же все радостно обступили; я был для

них предметом живейшего любопытства, мог сообщить о житье-бытье училища, в которое они должны были вступить будущею весной.

В числе этих молодых людей находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью. Юноша этот был Федор Михайлович Достоевский. Он приехал из Москвы вместе со старшим братом Мих. Мих.[25]. Последний не держал экзамена в инженерное училище, определился в кондукторскую саперную роту, был произведен в офицеры и отправлен на службу в Ревель. По возвращении оттуда, спустя уже несколько лет, М. М. вышел в отставку, открыл папиросную фабрику, занимался одновременно переводами сочинений Гете, написал комедию «Старшая и меньшая» и после возвращения из ссылки Ф. М. сделался редактором журнала «Эпоха»[26].

Сближение мое с Ф. М. Достоевским началось едва ли не с первого дня его поступления в училище[27]. С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому. Казалось, он сначала отвечал мне тем же, несмотря на врожденную сдержанность характера и отсутствие юношеской экспансивности — откровенности. Ему радостно было встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо, дерзко придираться к новичку. Ф. М. уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти и всегда с книгой.

С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, и не только потому, что по-

сторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе.

Кончина Пушкина в 1837 году была чувствительна между нами, я убежден, одному Достоевскому[28], успевшему еще в пансионе Чермака (в Москве) прочесть его творения; предосторожности, принятые во время перенесения тела великого поэта из его квартиры, легко могло статься, приняты были также по отношению к учебным заведениям: приказано было, по возможности, скрыть событие и наблюдать, чтобы меньше о нем говорили.

Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский; все отличались замечательною литературною подготовкой и начитанностью.

Первые литературные сочинения, читанные мной на русском языке, были мне сообщены Достоевским; это были: перевод «Кот Мур» Гофмана[29] и «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» Матюрена[30] — книга мрачного содержания и весьма ценимая тогда Достоевским. «Астролог» Вальтер-Скотта и особенно «Озеро Онтарио» Купера[31] окончательно пристрастили меня к чтению. Читая в «Озере Онтарио» сцену прощания Пат-Файндера с Маделью, я заливался горькими слезами, стараясь отворачиваться и украдкой утирать слезы из опасения, чтобы этого не заметили и не подняли меня на смех. Литературное влияние Достоевского не ограничивалось мной; им увлекались еще три товарища: Бекетов, Витковский и Бережецкий; образовался, таким образом, кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута. Любовь к чтению сменила у меня на время страсть к рисованию, которым я усердно занимался до того времени. Читалось без разбору все, что ни попадало под руку и что тайком приносилось в училище. Раз, помню, я имел даже терпение прочесть до конца всего «Josselin», скучнейшую и длиннейшую поэму Ламартина[32], и не менее скучный переводный английский роман «La Mapelle d'Dayton». Описание жизни знаменитых живописцев, помещенное в одном из сочинений Карамзина[33], привело меня в восторг. Я вступал в горячий спор с Достоевским, доказывая, что Рафаэль Санцио значит Рафаэль *святой*, так прозванный за его великие творения; Достоевский доказывал, что *Санцио* обозначает только фамилию художника, с чем я никак не хотел согласиться. Воображение, более и более увлекаемое чтением, не могло им ограничиться.

После чтения пьесы Шиллера «Разбойники» я тотчас же принялся сочинять пьесу из итальянских нравов; прежде всего я позаботился приискать название: «Замок Морвено». Написав первую сцену, я тут же остановился; с одной стороны, помешало бессилие воображения, с другой — неуменье выражать на русском языке то, что хотелось.

Чтение и мысли, которые оно пробуждало, не только мешали мне следить за уроками, но заметно охлаждали к классным занятиям. Достоевский, сколько помнится, учился также неважно; он приневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж; при переходе в один из классов он не выдержал экзамена и должен был в нем остаться еще год; неудача эта потрясла его совершенно: он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете.

В 1839 или в начале сорокового года находились мы в рекреационной зале; вошел в нее дежурный офицер Фермор[34], придерживая в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предлагая нам покупать их, он рассказывал, что автор стихов, заключавшихся в брошюрах, молодой поэт, находится в стесненном денежном положении. Брошюра имела такое заглавие: «Мечты и звуки»[35], имя автора заменялось несколькими буквами.

Это происходило в самый разгар моего литературного увлечения. Стихи неизвестного писателя, сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного впечатления. Но для меня довольно было тогда слова «поэт» и знать, что такой поэт существует здесь, в Петербурге, чтобы пробудить любопытство, желание хотя бы глазком взглянуть на него. Последнее, к великой моей радости, не встретило затруднения. Один из моих товарищей, Тамамшев, племянник Фермора, знаком был с поэтом; он сообщил, что настоящее имя поэта «Некрасов», и обещал свести меня к нему в первый свободный праздник. Можно себе представить, как радостно было принято предложение. Мы отправились в первое воскресенье. Что-то похожее на робость овладело мной, когда мы стали подходить к дому, где жил Некрасов. Дом этот находился на углу Колокольной улицы и Дмитровского переулка[36]; надо было проходить через двор и подняться по черной лестнице. На звон дверь отворил нам слуга, довольно чисто одетый; мы вошли в небольшую светлую прихожую, перегороженную стеклянною перегородкой, за которой помещалась кухня.

В следующей комнате, довольно просторной и светлой, бросался прежде всего в глаза беспорядок; подоконники, пол, кровать, небольшой стол были завалены ворохом бумаг, газет и книг; на одном из подоконников из-под газет выглядывало несколько тарелок. Нас встретил молодой человек, среднего роста, худощавый, говоривший глухим, сиплым голосом; он был в халате; на голове его красовалась шитая цветными шнурками ермолка, из-под которой свешивались длинные, жиденькие волосы каштанового цвета.

Чем объяснил я ему наш неожиданный приход, как принял нас Некрасов, что говорилось при этом,— решительно не помню; надо думать, впечатление не настолько было сильно, чтобы врезаться в памяти.

Кроме стихов в известной брошюре, Некрасов успел уже тогда написать несколько рассказов, в числе которых повесть «О пропавшем без вести пиите»[37]. Но гонорар в то время платили только известным литераторам; остальные должны были считать за счастье, когда удостоивали печатать их произведения; если им платили, то настолько скудно, что жить одним литературным трудом едва ли было возможно. Практический ум Некрасова помог ему обойти затруднения: он свел знакомство с Куликовым, главным режиссером русской труппы, и стал работать для театра. Из пьес его помню только водевиль: «Шила в мешке не утаишь,— девушку под замком не упрячешь». Он тогда же перевел пятиактную драму: «La nouvelle Fanchon» под названием: «Материнское благословение»[38]. Каким образом ухитрился он это сделать, не зная буквально слова по-французски, остается непонятным. Сколько нужно было воли, терпения, чтобы, частью пользуясь объяснениями случайно заходивших знакомых, частью по лексикону, довести до конца такую работу.

По странному сцеплению случайностей и аналогий в том самом доме, на углу Колокольной и Дмитровского переулка, где жил Некрасов, помещалась пятнадцать лет спустя, в бельэтаже, редакция журнала «Современник», которого Некрасов был тогда полным хозяином.

Знакомство мое с Некрасовым и рассказы о моем свидании с ним встречены были Достоевским с полным равнодушием; ему, вероятно, не нравились его стихи в известной брошюре; он находил, что не из чего было мне так горячиться.

Год от году между тем я неохотнее, хуже учился. С одной стороны, как я уже упоминал, увлекало меня

чтение, с другой — любовь к художеству, которая снова овладела мной. Матушка моя, не подозревая, насколько последнее увлечение вредило моим занятиям, давала мне средства посещать в праздничные дни Академию художеств и брать уроки рисования и живописи у художника Томаринского. Знакомство с товарищами моего учителя, их независимость, свобода жизни, помимо занятий любимым предметом, еще сильнее давали всякий раз чувствовать суровый гнет в стенах Михайловского замка и разжигали желание скорее от него освободиться, вырваться на волю. Пройдя каким-то образом во второй класс, предшествующий последнему, я пришел к сознанию, что дальше идти нет мне возможности. Логарифмы окончательно меня сокрушили; зная, что впереди меня ожидают еще какие-то страшные дифференциальные исчисления, я решился во что бы ни стало упросить матушку взять меня из училища. Вряд ли согласилась бы она на это, но случай помог мне достичь моего желания.

Матушка приехала в Петербург навестить меня[39]. В субботу, в шесть часов вечера, меня отпустили к ней из училища. Вечер был осенний, пасмурный, сеял мелкий дождь. Я повернул с Невского в Большую Морскую и подходил к Кирпичному переулку, где теперь дом Кононова. В то время там стояло довольно жалкое деревянное двухэтажное здание; наверху помещался детский театр, в нижнем этаже находился магазин картин и древностей. В ту самую минуту, как я поравнялся с дверью этого магазина, подле меня остановился на вытяжке какой-то военный и скороговоркой произнес: «Вы пропустили великого князя!»[40] Подняв глаза, я увидел в нескольких шагах коляску с опущенным фартуком, из-под которого выставлялась треугольная шляпа; в ту же секунду послышался голос: «Поди сюда, поди сюда!» Узнав голос великого князя, я потерял голову, панический страх овладел мною; не отдавая себе отчета в своем действии, я сломя голову бросился в стеклянную дверь картинного магазина; в нем никого не было, я бросился дальше, попал в кухню, где что-то чистила кухарка, но не успела она крикнуть, как я уже стремительно летел через двор и, сам не помню как, очутился в мебельном магазине, выходившем на Мойку. Немец, хозяин магазина, выслушав мой рассказ и, вероятно, тронутый моим положением, провел меня по внутренней лестнице к себе на квартиру и передал семейству. Мало-помалу я успокоился, думая, авось великий князь не заметил моей формы, но он был на этот счет зорок. Когда

совершенно смерклось, я решился выйти на улицу и спешил к матери. Не желая ее испугать, я скрыл причину моего позднего прихода.

Мы улеглись спать. Ночью, часа в два, звонок. Сторож, посланный из училища, объявил, что надо сейчас же отправляться в Михайловский замок, что случилось что-то и всех сторожей разослали по городу собирать кондукторов. Матушка встревожилась; продолжая скрывать от нее причину неожиданного сбора, я чувствовал себя только не совсем бодрым. Придя в замок, я нашел там уже человек до шестидесяти товарищей; все ходили в волнении и бранились. С каждой минутой являлись новые лица и спрашивали с недоумением: «Что случилось?» Рассказывали, что кто-то из кондукторов пропустил великого князя, не сделав ему фронта; великий князь приказал к десяти часам собрать всю роту и сам обещал приехать; в случае же, если найдется виноватый, приказано было привести его к этому часу в Михайловский дворец. Счастливая мысль пришла мне в голову: я подумал, что если великий князь узнал только форму мундира, но не успел разглядеть моего лица и я буду продолжать скрываться, все училище, пока не отыщется виновный, непременно запрут в стенах замка на долгое время, но рано или поздно виноватый непременно отыщется, ему, без сомнения, не простится товарищами его поступок, он пятном ляжет на всю мою жизнь. Никому не говоря о своем решении, я отправился к ротному командиру, барону Розену, и рассказал все, как было. Он этому обрадовался, похвалил меня и тотчас же отдал приказание распустить всех по домам.

Часам к девяти утра на меня надели новый мундир, и барон Розен повел меня во дворец. Ждали мы около часа, в течение которого барон Розен не переставал ободрять меня и раза два даже перекрестил. Мимо нас то и дело суетливо проходили генералы и адъютанты. Я стоял ни жив ни мертв. Наконец дверь приотворилась, кто-то подозвал Розена и что-то шепнул ему. «Пойдемте!» — сказал Розен. Он ввел меня в большую комнату, в глубине которой стоял великий князь; по бокам его стояли генералы и офицеры.

Я остановился перед великим князем шагах в трех.

— Этот шалопай был вчера пьян! — сказал великий князь, указывая на меня.

— Ваше высочество,— проговорил барон Розен,— этот кондуктор отличается у нас хорошим поведением; он никогда ни в чем худом не был замечен.

Осмелиться противоречить таким образом великому князю было в то время равносильно геройству. Недаром Розен был у нас так любим и популярен.

Не знаю, приняты ли были во внимание слова ротного командира или великий князь находился в особенно хорошем расположении духа и его смягчил вид испуга на лице моем, но он заговорил заметно уже смягченным голосом:

— Представьте, вчера этот шалопай не сделал мне фронта; я подозвал его,— что ж вы думаете? — он бросился от меня в магазин и удрал. Я послал за ним тотчас же Ростовцева, который ехал со мною, но нигде не могли его отыскать, он точно... точно испарился!..

Последнее слово положительно спасло меня; оно, должно быть, понравилось великому князю. Он начал повторять его: «Испарился... да, испарился... Повторяю вам: он точно испарился...» Наконец, он засмеялся и, обратясь к Розену, приказал посадить меня под арест и не выпускать впредь до разрешения.

В то же утро приказание было исполнено. Великий князь, конечно, забыл обо мне; начальство не смело ему напомнить. Не знаю, сколько бы пришлось просидеть, если б, к счастью, не заболело у меня горло и меня не перевели в лазарет. В тот же день матушка в испуге пришла навестить меня. Я стал умолять ее взять меня из училища, уверяя, что здесь меня, наверное, вгонят в чахотку, что я не желаю вовсе быть инженером, что настоящее мое призвание — быть художником. Матушка наконец согласилась, подала прошение, и я был уволен[41].

IV

Академия художеств.— А. А. Шудан.— К. П. Брюллов.— Т. Г. Шевченко.— Кулисы Большого театра.— Неудачный дебют.— Отъезд из Петербурга.— Случайная встреча с директором театров А. М. Гедеоновым.

Матушка моя выказывала мне всегда много доброты, даже баловала меня, когда не находилась под влиянием бабушки. Она словом не попрекнула меня за то, что я обманул ее надежды и не сделался инженером. Она повела меня к портному, заказала несколько перемен платья, купила белья,— словом, экипировала от головы до ног, и сама потом отправилась в Академию отыскивать мне помещение. Благодаря ей нашлась комната, которую уделял из своей квартиры и отдавал внаем один из дядек при акаде-

мистах, живших тогда в Академии на положении казенных воспитанников и ходивших в мундирах; я был совершенно счастлив. Матушка напрасно только оставила меня так скоро одного на полной свободе; но ее давно беспокоила мысль о том, что бабушку также нельзя оставить одну в деревне. Скрепя сердце она простилась со мной и уехала.

В первое время я с горячностью продолжал учиться живописи у Томаринского и посещал классы. Но кончался урок, запирались классы, и я положительно не знал, куда деваться, что с собой делать. Товарищ мой по московскому пансиону, старший Монигетти, успел уже окончить курс и был отправлен в Италию; к другому товарищу, Попову, можно было попасть только в праздничные дни. На мое счастье, рядом со мною, у того же дядьки, нанимал вторую комнату некто А. А. Шудан, человек уже не первой молодости, замечательно добрый, принявший во мне почему-то сердечное участие. Шудан имел звание академика по архитектуре, но был беден, потому что отличался полным отсутствием практичности и неуменьем подслуживаться, не допускавшим его, как это делали многие его товарищи, забегать к профессорам и строителям-архитекторам и получать от них работу. Он буквально жил, сочиняя, тайно разумеется, архитектурные программы для лиц, добивающихся звания академика. Он вдруг привязался ко мне, крайне был полезен советами и постоянно сдерживал меня от глупых поступков, которые я мог делать по неопытности, благодаря также моему увлекающемуся характеру. Несмотря на ограниченность его денежных средств, он любил покупать книги, охотно снабжал меня ими, часто даже настоятельно требовал, чтобы я прочел то или другое сочинение; он, между прочим, познакомил меня с «Дон-Кихотом». Чтение комедий Мольера неожиданно пробудило во мне дремавшую литературную жилку: я принялся переводить комедию «Сганарель»[42], но должен был остановиться при самом начале, обескураженный неуменьем свободно управлять беглою русскою фразой.

В то время вся Академия фанатически была увлечена Брюлловым; он сосредоточивал на себе все внимание, ни о чем больше не говорили, как о нем. Все академисты, от мала до велика, горели одним желанием: попасть в ученики к Брюллову. С умиленным чувством выслушивался рассказ о том, как после каждого нового портрета или картины Брюллова мой однофамилец В. И. Григорович, секретарь Академии, вымаливал у Брюллова позволение взять новое его произведение к себе на квартиру, запи-

рался на ключ и двое суток просиживал перед ним, не отрывая от него глаз. Всему этому добродушно верили и сам рассказчик и его слушатели. Я был от Брюллова в экстазе и также мечтал попасть к нему в ученики, забывая, что к нему поступали только зрелые ученики, а я был только начинающий. Узнав, что Брюллов часто посещает вместе с учениками скромный ресторан в четвертой линии Васильевского острова, я сделался постоянным его посетителем, но, к огорчению моему, ни разу его там не нашел. Встречая в коридорах Академии Брюллова, всегда сопровождаемого учениками, я замирал, руки мои холодели, язык прилипал к гортани. Наружность его не имела, однако ж, ничего внушительного: он был маленького роста, толстый, с выдающимся животом, на коротеньких ножках; серые глазки его, окруженные припухшими красными веками, смотрели насмешливо; лоб его, совершенно прямой, отвесный, украшался белокурыми кудрями; он постоянно носил серую коротенькую жакетку, придававшую его круглой маленькой фигуре довольно комический вид; но таково уже было тогда настроение, что все казалось в нем прекрасным, даже величественным; многие уверяли, что наружность Брюллова, особенно голова с ее кудрями, близко напоминает по своему характеру Зевеса Олимпийского.

В числе учеников Брюллова находился в то время Т. Г. Шевченко[43], с которым, сам не знаю как, я близко сошелся, несмотря на значительную разницу лет. Т. Г. было тогда лет тридцать, может быть, больше; он жил в одной из линий Васильевского острова и занимал вместе с каким-то офицером крошечную квартиру. Я посещал его довольно часто и постоянно заставал за работой над какою-нибудь акварелью — единственным его средством к существованию. Сколько помню, Шевченко был тогда постоянно в веселом настроении духа; я ходил слушать его забавные рассказы и смеялся детским, простодушным смехом.

Но о моей жизни в Академии не стоит долго распространяться: то, что я из нее вынес, описано большею частью в давнишней моей повести «Неудавшаяся жизнь»[44]. Академический быт того времени еще лучше моего описан в книге М. Ф. Каменской, урожденной графини Толстой, дочери бывшего президента Академии[45]. Там, между прочим, прелестно рассказано, как автор, тогда еще ребенок, поймал, в сообществе с другими детьми, девочку пяти лет, дочь сторожа, и они затащили ее в комнату, откуда вышли

работники, золотившие рамы; девочку раздели донага, вымазали сахарной водой, вызолотили с головы до ног сусальным золотом и пустили в таком виде прогуливаться по коридорам. Тогда это было вполне возможно; в академических коридорах не было ни внутренних, ни наружных дверей, они были раскрыты на все ветры, и всякий, кому было угодно, мог беспрепятственно входить в здание. В этих коридорах, говорили, не совсем даже было безопасно проходить по ночам; не раз открывалось, что сторожа держали на своих квартирах беспаспортных.

Учитель мой, Томаринский, имел случай доставать иногда даровые билеты в Большой театр и всякий раз приглашал меня идти вместе. Я с одинаковым радостным волнением входил всегда в театральную залу. Давалась ли опера, шел ли балет — для меня было безразлично; спектакль сам по себе производил на меня чарующее действие; сколько помню, меня не столько всегда занимало то, что происходило на сцене, сколько всякий раз манило на самую сцену, в таинственный, закрытый мир кулис, актеров и актрис, нравы которых, преувеличенные воображением, подстрекали в высшей степени мое любопытство. Наяву и во сне я стал бредить одним театром. Но как осуществить мечту — попасть за кулисы? Каким образом достигнуть заманчивой цели? Вопросы эти не давали мне покоя. Кто-то научил меня обратиться к Роллеру, старшему декоратору и машинисту Большого театра, попросить его давать мне уроки декоративной живописи и этим способом иметь, может быть, случай попасть за кулисы. Не долго думая, я собрал в папку лучшие мои рисунки и спешно отправился в Большой театр. Мне сказали, что зала, где пишутся декорации, находится под стропилами театральной крыши. Поднимаясь по бесконечной темной лестнице, я должен был несколько раз останавливаться; у меня захватывало дух от смелости моего похождения. Я очутился наконец под стропилами, в обширном светлом пространстве, пол которого был покрыт полотнами разной величины; по ним расхаживало в мягких башмаках несколько человек с длинными палками, кончавшимися кистями; макая кисти в тут же поставленные горшки с красками, они бойко водили ими по полотнам. Мне указали на Роллера, высокого, строгого вида человека, говорившего с сильным немецким акцентом. Я робко к нему подошел и, высказав мое желание, поспешно развернул перед ним папку; внимательно осмотрев рисунки, он похвалил их и тотчас же, принявшись за прерванную работу, сказал,

что, если у меня есть желание учиться декоративной живописи, я могу приходить в залу хоть с завтрашнего дня. Я был в восхищении.

Откуда-то доносились звуки оркестра и время от времени раздавалось пение. Сделав невольно несколько шагов в ту сторону, я приблизился к низенькой решетке, отделявшей декорационную залу от темной бездны, увешанной декорациями с перекрещивавшимися во все стороны веревками и навесными переходами; в неизмеримой глубине, за решеткой, посреди темноты, выдвигался ярко освещенный край рампы, и то и дело перед нею выставлялись чьи-то носки и края одежды. Неожиданно грянул оркестр, и явственно послышались голоса певцов. Сердце мое сильно забилось. Желание мое проникнуть на сцену исполнилось скорее и легче, чем я ожидал. Когда Роллер ушел, другой декоратор, Шеньян, направился к решетке и, отворив подле нее маленькую дверь, готовился войти в нее. «Разве здесь есть другой ход?» — спросил я. «Да, ход на сцену, мне надо там переговорить кое с кем...» — «Возьмите меня с собою!» — вырвалось у меня. Он охотно согласился; мы вступили в темный лабиринт таинственных переходов и узеньких лестниц. Я был точно в лихорадке от возбужденного любопытства. Когда мы очутились за кулисами, репетиция только что кончилась, и артисты спешили со сцены: в темноте мне никого не привелось рассмотреть. Впечатление было тем не менее настолько сильно, что я несколько дней ни о чем больше не говорил с Томаринским и Шуданом. Декорационную залу я посещал каждый день, одушевляемый надеждой спуститься на сцену после ухода Роллера. Осуществлению моих надежд много способствовал Шеньян, добрейший и добродушнейший из немцев; ему как будто понятно было мое любопытство. Не довольствуясь спускаться со мною за кулисы во время репетиций, он вскоре повел меня вечером во время представления балета. Тут я окончательно потерял голову. После этого я не пропускал уже ни одного спектакля. Первое время меня раз или два спросили, кто я и что я здесь делаю, но мне стоило объявить, что я занимаюсь у Роллера, и меня оставили в покое.

Слушая мои рассказы, добрый Шудан качал головой и отечески старался охладить мое увлечение; я притворялся, что слушаю его советы, но наступал вечер, и я вместо того, чтобы отправляться в классы, сломя голову бежал в театр. У меня начинались там кое-какие знакомства, казавшиеся мне во сто раз интереснее моих акаде-

мических приятелей. Вскоре случилось то, чего неизбежно надо было ожидать; помимо общего обаяния, производимого на меня кулисами и их персоналом, явилась другая причина, притягивавшая меня к театру. Раз стоял я вместе с другими на актерском подъезде в то время, как артисты выходили после представления. Одной из воспитанниц школы недостало места в карете, и ее заставили ждать вместе с классною дамой обратного возвращения экипажа. Я случайно был подле и заговорил с нею. В следующее представление мы встретились уже как знакомые; месяц спустя я был влюблен, как может влюбляться в первый раз девятнадцатилетний живой юноша, предоставленный самому себе, пользующийся полною свободой, без контроля семьи и зрелых близких людей. В самый разгар моей страсти наступил великий пост; спектакли прекратились; возможность встречаться за кулисами исчезла. Я пришел в такое отчаяние, что добрый Шудан, от которого я ничего не скрывал, не шутя за меня испугался; он уже не давал мне советов продолжать ходить в классы, видя их бесполезность, но употреблял все средства, чтобы меня успокоить.

Я ободрился тогда только, когда узнал, что в театральном училище находится театр и что в нем дозволяется пробовать силы всем желающим поступить в актеры. В увлечении моем и также с привычкой своеволия, я готов был на все решиться, чтобы только достигнуть цели — попасть в театральное училище и видеться с предметом любви; я отправился к управляющему училищем с твердым намерением добиться дебюта. Он прежде всего осведомился, могу ли я прочесть что-нибудь из Озерова. Не зная ни одного стиха из трагедий Озерова, я просил позволения прочесть что-нибудь из Пушкина, и когда он согласился, продекламировал довольно бойко первый монолог из «Моцарта и Сальери»; управляющий, по-видимому, остался доволен. Он посоветовал мне взять роль Шале в пьесе «Дуэль при кардинале Ришелье»[46], назначил приблизительно день спектакля и сказал, что даст знать, когда будет время явиться на первую репетицию. Начались репетиции: цель была, таким образом, достигнута; я мог возобновить свидания с любимою воспитанницей. Настал наконец день спектакля. Я играл ниже всякого описания. Мне было отказано в следующем дебюте за отсутствием всякой способности к сцене. Потом, уже в зрелом возрасте, не раз случалось мне участвовать в домашних спектаклях и исполнять различные роли. Живость моего характера,

способность живо рассказывать, ясно и выразительно читать на публичных чтениях — вселяли многим уверенность, что я непременно должен быть хорошим актером; на практике выходило совсем другое. Я старательно разучивал роль, но играл всякий раз отвратительно. При выходе на сцену мною овладевала какая-то нервная суетливость; из памяти улетучивался характер изображаемого лица; меня, главным образом, озабочивала одна лишь мысль: не забыть роли, не стать в тупик в самую патетическую минуту.

После моего неудавшегося дебюта двери училища были для меня закрыты. Новая эта разлука была настолько чувствительна, что, во избежание ее повторения, я чуть не решился жениться на любимой девушке, как только ее весною выпустят на волю.

Решимость мою изложил я матушке в трогательном письме, слезно умоляя ее согласиться на мой брак и не мешать моему счастью.

Ответ не заставил себя ждать. Внушенный, без сомнения, бабушкой, вероятно, ею даже продиктованный, он отличался энергией и строгостью. Матушка объявляла, что не только не позволяет мне жениться, но считает самую мысль безумием и с настоящего времени перестает посылать мне ежемесячное содержание. Матушка гораздо бы лучше сделала, приехав в Петербург; она,— я узнал потом,— совсем было на это решилась, но удержана была бабушкой, уверившей ее, что все это пустяки, которыми не стоит тревожиться, что достаточно прекратить мне высылку денег, чтоб я одумался и перестал бесноваться.

Я положительно не знал, что предпринять. За советом к Шудану я уже не мог обратиться; он оставил Академию после того, как знакомый помещик пригласил его к себе в деревню строить часовню. Вскоре после него я также выехал из Академии и нанял комнату, отдававшуюся внаем при квартире старого золотильщика. За комнату было уплачено за месяц вперед; у меня оставалось еще несколько денег, но их едва ли было достаточно, чтобы прожить следующий месяц. Рассчитывать на то, что хозяин квартиры будет ждать уплаты, было несбыточно.

Кстати, об этом хозяине: это был тип своего рода, у него на все были оригинальные взгляды. В то время, как я жил у него, любимым предметом его разговора была Тальони, сводившая тогда с ума петербургскую публику; хозяин мой никак не мог переварить общего восторга; он постоянно утверждал: «Верьте мне, все это у нее один об-

ман, отвод глаз... Теперь даже все это открылось; платили столько денег, чтобы смотреть, как подпрыгнет да в воздухе так долго мается; что ж бы вы думали? — все это был один обман... Стали это провожать ее, как она уезжала,— смотрят, а это у ней все крылья были подвязаны...» Напрасно старался я дознаться, где нашли у нее крылья, в каком именно месте, ответ был одинаков: «Крылья подвязаны, да и все тут». На вопрос мой, почему, дожив до преклонных лет, он не женился, объяснение было следующее: «Собирался я сколько раз, да все как-то не выходило; в первый раз попалась было хорошая девушка, и приданое за ней было изрядное, да узнал я, что она побочная дочь, я и не согласился».— «Не все ли равно? — говорил я.— Сами же вы уверяли, что она хорошая девушка».— «Нет, невозможно,— возражал он с горячностью,— невозможно, помилуйте-скажите: побочная дочь... Потом такой был случай,— продолжал он,— встретилась другая девица, также хорошая, приданого семьсот рублей, опять пришлось отказать: у нее на левом глазу бельмо открылось...» — «Так что ж такое?» — «Нет, помилуйте, никак невозможно! При нашем мастерстве как-нибудь повздоришь, зацепишь невзначай за правый глаз, она совсем ослепнет; что я буду тогда со слепой-то делать? Никак невозможно!..» Но о нем довольно.

Время от времени посещал я моего товарища по пансиону Монигетти, С. И. Попова, кончавшего тогда курс в Институте восточных языков.

Навестив его в этот горький период моей юности, я встретился у него с его родственником и моим знакомым, Бахметьевым, молодым помещиком. Я откровенно высказал им трудность моего положения. Бахметьев заходил к Попову с тем, чтобы проститься с ним перед отъездом в деревню, в Саратовскую губернию; он предложил мне ехать с ним, и я радостно, не долго думая, согласился. Дня два спустя мы уехали.

В деревне Бахметьева я скучал невообразимо. Вокруг нас, не считая старого сада, расстилались неоглядные степь и болота. Бахметьев по целым дням пропадал, гоняясь за дрофами и стрепетами; я ему не сочувствовал, имея врожденное отвращение к охоте, не постигая возможности находить удовольствие в истреблении бедных птиц и зайцев. Сентиментальность, привитая мне отчасти в детстве, воспитанием между женщинами, нежно любившими собак, кошек и птиц, была тут ни при чем; освободившись от нее впоследствии, я точно так же всю мою жизнь оставался

ненавистником охоты не *по необходимости*, а из одного удовольствия.

Время свое у Бахметьева я проводил, бродя по полям, беседуя с попадавшимися крестьянами и выслушивая рассказы дворовых, сообщавших любопытные, большею частью дикие черты из старого местного помещичьего быта. Житье у Бахметьева было для меня, однако ж, не совсем бесполезно; оно успокоило мои нервы и дало возможность прочесть несколько интересных книг, случайно открытых в комоде. Вычитав на корешке старого переплета имя Вольтера, о котором часто упоминала бабушка, я с жадностью прочел «Кандида», который мне, однако ж, не понравился; остальных книг не помню.

По прошествии двух месяцев Бахметьев соскучился не меньше меня; он решился оставить деревню и предложил доставить меня обратно до Петербурга. На полдороге, в Москве, Бахметьев остановился и занял номер в гостинице Шеврие. В день нашего приезда мы обедали в ресторане той же гостиницы. Я в этот день был в особенном разговорном настроении и неумолкаемо сменял один рассказ другим. К концу обеда Бахметьев уехал навестить какую-то родственницу, и я остался один.

Недалеко от меня, за отдельным столом, сидел пожилой господин. Он неожиданно обратился ко мне и с бесцеремонностью старых людей, беседующих с юношами, принялся расспрашивать, где я так хорошо научился говорить по-французски; когда я сказал ему, он приступил к дальнейшим расспросам и кончил, убеждая меня, что молодому человеку нельзя жить без дела, что необходимо начать служить где-нибудь. «Я охотно запишу вас в мою канцелярию,— проговорил он в заключение.— Приедете в Петербург, спросите канцелярию директора императорских театров и явитесь ко мне».

Этот обязательный старик был не кто другой, как А. М. Гедеонов, приезжавший в Москву, чтобы принять под свое управление казенные московские театры[47].

Недели две спустя я возвратился в Петербург и поступил в канцелярию Гедеонова.

Я тотчас же написал об этом матушке, утаив только слово *театр* и в общих чертах сообщая о поступлении на службу. Ответ был самый ласковый и благоприятный; в нем извещалось, между прочим, о возобновлении ежемесячной присылки денег.

V

Канцелярия директора театров А. М. Гедеонова.— А. Л. Невахович.— Лонгинов.— Переводные драма и водевиль.— В. Р. Зотов.— Ф. А. Кони.— Каратыгин.— Мартынов.— Певец Леонов.— Издатель Плюшар.— Первые литературные попытки.— Разлука с канцелярией.

Канцелярия А. М. Гедеонова, помещавшаяся в комнате, предшествующей кабинету директора, состояла всего из пяти лиц: четырех канцелярских чиновников и правителя дел Е. М. Семенова, сидевшего в стороне за особым столом. Последний был крошечный человек, тощего вида, как голодный чижик, женатый на родной сестре трагика Каратыгина, почти такой же рослой и мужественной, как ее брат; смирение, кротость, но вместе с тем деловитость были отличительными чертами Семенова. Главную роль между нами играл, однако ж, А. Л. Невахович, начальник по репертуарной части и близкое лицо Гедеонову. Обязанности его не ограничивались в то время составлением репертуара, но обнимали все части по управлению театральной администрации, кроме конторы.

А. Л. Невахович был сын известного варшавского банкира и в то же время драматического писателя. Унаследовав после отца миллионное состояние, А. Л. в течение нескольких лет благодаря бесчисленным поручительствам за приятелей, благодаря отчасти врожденной широте натуры и также игре в карты остался ни при чем. Ему было тогда уже лет под сорок. Наружность его представляла соединение одних выпуклых форм; в ней все круглилось, начиная с туловища и кончая шаровидною головой, едва прикрытою пухом волос, но оживленной умными черными мигающими глазками. Он не ходил иначе, как во фраке. Я в жизни не встречал более рассеянного, суетливого, подвижного человека. Он бросался к столу, спеша написать деловое письмо, но едва успевал набросать первую строчку, внезапно как бы вспомнив о чем-то, летел со всех ног к выходной двери, неожиданно останавливался, как бы снова о чем-то вспомнив, и возвращался к столу с озабоченным видом; стоило в эту минуту войти кому-нибудь в канцелярию, он вскакивал, бежал навстречу к вошедшему с радостным восклицанием и тут же, заслышав голос директора, стремительно катил к нему в кабинет. Когда у него заводились деньги, он по старой привычке к транжирству и по своей беспечности рассовывал их куда ни попало, давал в лучших ресторанах роскошные обеды,

приглашая на них без разбору каждого, кто первый подвертывался под руку. Сам он ел также без разбору, но весьма много и к концу еды только всегда вздыхал, приговаривая:

— Господи, когда подумаешь, много ли человеку нужно?!

Через него познакомился я с его братом М. Л., настолько же сухим и желчным, насколько старший брат отличался полнейшим добродушием; М. Л. не думал еще тогда издавать «Ералаш»[48], но усердно практиковался в рисовке карикатур.

Занятия в канцелярии были не сложны; чуть-чуть являлось серьезное дело, его поручали Семенову. На меня возложена была переписка в двух экземплярах недельного репертуара и еще ежедневного доклада министру двора, состоявшего неизменно из следующих строк: «Резервуар Большого театра наполнен водою», а в зимнее время прибавлялось: «и она не замерзла».

К десяти часам, аккуратно, являлся с докладом к директору управляющий конторой А. Д. Киреев, человек зрелых лет, строгого, холодного вида, весьма образованный, большой любитель литературы и, сколько помнится, близко знакомый с Лермонтовым. Доклад никогда не продолжался более часа. Со свойственным ему тактом Киреев никогда не переходил границы своих прямых обязанностей; он знал только свою контору. Он не прикасался к делам училища и держал себя совершенно в стороне от управления труппой; он редко даже посещал театр; его никогда не видели на сцене. Административная часть вообще отличалась тогда замечательною простотой. У Гедеонова, в числе его слуг, находился арап, родившийся в России; желая наградить его за верную службу, Гедеонов назначил его старшим бутафором и говорил, что он отлично вел свое дело; как теперь, вижу перед собою огромного роста рыжего начальника по монтировочной части Николаева; он был прежде не более как фельдфебель Преображенского полка.

Нередко дверь директорского кабинета отворялась, выходил из нее Гедеонов, шаркая мягкими подошвами, и говорил нам: «Вам сегодня, кажется, нечего делать... Можете, господа, убираться на все четыре стороны!»

Мы отправлялись в театр, преимущественно в Большой, когда там шла репетиция балета.

Ничего, конечно, не было хорошего для юноши моих лет толкаться утром и вечером за кулисами. Но я уже вы-

ше заметил, что подле меня не было человеческой души, которая настолько приняла бы во мне участия, чтобы вмешаться в мою жизнь, стараться вразумить меня, сдерживать мои порывы, руководить мною. Достоевский находился еще в училище, Попов отправлялся в Яссы. Вряд ли, впрочем, я послушался бы тогда кого-нибудь; я успел уже вкусить сладость полной независимости. Одно только предохраняло меня сколько-нибудь погрязнуть в бессмысленной пустоте, окружавшей меня: охота к чтению. Соблазн закулисной жизни тем не менее у меня брал верх. Когда давали балет, я не мог утерпеть и проводил вечер, толкаясь за кулисами, а к концу спектакля — на актерском подъезде. Тут всегда можно было встретить всех записных театралов: графа П. А. Шувалова, С. А. Грейга, князя Д. А. Щербатова и других военных и штатских. В числе последних особенно отличался М. Н. Лонгинов, носивший еще тогда студенческий мундир; последнее не мешало ему кричать громче других, протискиваться вперед, бойко говорить с незнакомым соседом, как со старым приятелем. Его смелость и подвижность были изумительны; он поспевал всюду, после двух-трех встреч он становился на короткую ногу и, независимо от лет и положения, вступал на «ты». Несмотря на молодость, он считался главою театралов. Они собирались в приисканной Лонгиновым квартире на Никольской площади; там велись оживленные беседы, но под условием штрафа, если кто-нибудь коснется предмета, не имеющего отношения к балету, говорились речи на темы, предлагаемые обыкновенно Лонгиновым, пелись песни и куплеты, сочиняемые опять тем же восприимчивым, несокрушимым весельчаком и душою общества — Лонгиновым.

Тридцать пять лет спустя на Большой Морской я встретил этого самого М. Н. Лонгинова после того, как он оставил тульское губернаторство[49] и был назначен начальником главного управления по делам печати. Я едва узнал его: обрюзглый, с бурою желтизной в лице, мрачный, раздраженный, озлобленный против всех, ненавидящий все, что сколько-нибудь близко прикасалось к печати... И это был тот самый неумолкаемый весельчак и «добрый малый» Лонгинов, считавший когда-то за счастье встретиться с литератором, добивавшийся чести попасть в литературный кружок, с упоением помещавший в журналы свои библиографические заметки, сочинявший различные нецензурные стихи и даже целые поэмы и чи-

тавший их, захлебываясь от счастья при малейшем одобрении слушателей.

Что было поводом к такому превращению, не знаю; но, глядя на него, приходило желание не встречаться с ним больше.

Сближение с кулисами и, особенно, частые посещения Александринского театра невольно внушили мне желание принять более близкое участие в сценической деятельности. Прочитав драму Сулье «Eulalie Pontois», я принял намерение перевести ее на русский язык. Незнакомый с условиями драматической литературы, требующей быстрого разговорного языка, я лез из кожи, закручивая длинные периоды и риторические трескучие фразы. Ошибки эти были исправлены на репетициях, и пьеса под названием «Наследство» дана была, кажется, в бенефис г-жи Валбуховой. Войдя во вкус, как говорится, я принялся, для другого бенефиса, за перевод водевиля «Шампанское и опиум»[50]. Но водевиль был пересыпан куплетами, а так как я со дня рождения не мог написать стиха, пришлось обратиться к сотруднику. В канцелярии я имел несколько раз случай встречаться с В. Р. Зотовым, уже тогда много писавшим для театра. Он неоднократно приходил справляться у Неваховича, принята ли его новая историческая драма «Новгородцы»[51]. В. Р. Зотов был первый настоящий литератор, с которым мне привелось встретиться; он охотно согласился на мое предложение, несмотря на то, что работа эта отнимала у него время и не приносила ему ровно никакой выгоды (за новые пьесы, игранные в бенефис, дирекция не платила авторам; после бенефиса они делались собственностью дирекции, которая платила только по условию известным писателям). В моем сотруднике нашел я самого приветливого человека и вскоре познакомился с его семейством. Он занимал небольшую квартиру на канале подле Большого театра, в том самом доме, где этажом выше жил И. И. Сосницкий. Бывая у Зотовых, я никогда не видел, чтобы в этом многочисленном семействе сидел кто сложа руки; начиная от отца, тогда уже преклонного старца, и кончая младшею дочерью, все работали и, кажется, исключительно занимались литературой; полное согласие и самые искренние дружеские отношения связывали всех членов этого почтенного семейства; посторонние встречали в нем радушие и гостеприимство; все как-то были всегда в ровном, хорошем настроении духа. Р. М. Зотов был когда-то начальником русской труппы; дети его, имевшие случай бывать

в театрах с первых лет возраста, сохранили любовь к театру до зрелого возраста; не проходило зимы, чтобы у Зотовых по нескольку раз не устраивались домашние спектакли. Малые размеры комнаты не позволяли ставить сцену; действие происходило на паркете, и рампа отделялась от зрителей много если на полтора аршина. Это не мешало, однако ж, давать сложные для постановки пьесы, как, например, «Горе от ума» (без пропусков), «Свою семью» Хмельницкого, «Ревизора» и «Женитьбу» Гоголя. Главным режиссером, распорядителем и актером был всегда В. Р. После спектакля на сцене и в соседних комнатах накрывались столы, и угощенье продолжалось до поздней ночи.

В. Р. Зотов, принимавший участие в издании «Пантеона русских театров», посоветовал мне отдать в печать мой перевод драмы «Наследство». Обрадованный тем, что труд мой явится в печати, и еще с именем переводчика, я поспешил направиться к Ф. А. Кони, редактору «Пантеона». Ф. А., вероятно предупрежденный Зотовым, встретил меня очень любезно. Это был небольшого роста, худощавый человек, в черном как смоль парике, с черными, быстрыми, умными глазами, смотревшими сквозь стекла золотых очков. Он охотно взялся печатать мой перевод[52]. Ф. А. Кони имел тогда большое значение на сцене и между артистами, как редактор театрального журнала и как автор. Его водевили, пересыпанные веселыми куплетами, имели успех и давались беспрерывно. Помимо таланта водевилиста, он известен был также как остряк. За экспромт, сказанный им где-то:

Не жди, чтобы цвела страна,
Где плохо слушают рассудка
И где зависит все от сна
И от сварения желудка...—

и еще другой, сказанный по случаю неудачной попытки графа Воронцова захватить Шамиля:

Могуч, воинственен и грозен,
В клуб английский гр. Воронцов вступил;
Хоть он Шамиля не сразил,
Зато теперь сражен им Позен! —

Ф. А. Кони, говорили, поплатился тем, что призван был к известному Л. В. Дубельту. Ф. А. Кони теперь забыли. Но не забыты ли после него более крупные деятели литературы, какими были, например, Полевой, основатель,

можно сказать, русской журналистики,— «этот богатырь журналистики», как называл его Белинский[53], Полевой — историк, критик, романист, драматург; не забыты ли почти также Вельтман, автор «Похождений из мира житейского», «Кощея», «Сердца и думки»[54] и т. д., и еще многие другие, способствовавшие росту и развитию русской литературы?

Репетиции моих двух переводных пьес сблизили меня с артистами. Я познакомился с В. А. Каратыгиным и его братом, П. А., Максимовым-первым, Мартыновым и Самойловым, игравшим тогда почти исключительно в ролях с переодеваниями. Я благоговел перед В. А. Каратыгиным; недостатков его я не замечал. Благодаря молодости и горячности критическое чувство заменялось непосредственным энтузиазмом. Вообще, надо сказать, критика была к В. А. Каратыгину крайне несправедлива; камертон недоброжелательства был дан Белинским[55], до конца сохранившим пристрастие к Мочалову. Белинский иначе не называл Каратыгина, как сухим декламатором, актером без вдохновения. Мочалов, которого я много раз потом видел, был действительно способен воодушевляться, но воодушевление проявлялось у него порывами, как бы по капризу. Вас предупреждали, что надо его видеть в такой-то пьесе и в такой-то сцене он будет великолепен; игра его в самом деле производила сильное впечатление; рядом с этим, в других сценах не верилось, чтобы это был тот самый актер,— до того он был бесцветен и скучен; случалось пропускать два-три спектакля, пока Мочалову придется роль по душе и даст ему возможность вдохновиться. Каратыгин, при меньшей способности воодушевляться, давал по крайней мере от начала до конца полное впечатление того лица, которое изображал. Всякую роль изучал он одинаково добросовестно; зритель всегда уходил удовлетворенным. В «Короле Лире», «Гамлете», «Людовике XI», «Кларе д'Обервиль»[56] он был превосходен. Не его вина, если ему приходилось большею частью играть в господствовавшем тогда репертуаре Кукольника, Полевого, Ободовского. Замечательный талант Каратыгина выказывается уже тем, что, начав свое поприще с классической подготовки, играя Озерова, где прежде всего требовалась приподнятая декламация и условная пластика, он вскоре мог совладать с приемами романтической драмы, играл совершенно свободно, не менее естественно, чем теперь играют. Он крайне строго относился к себе и к искусству. Раз, помню, встретил я его на улице с кипой книг под

локтем. На вопрос мой: что это за книги, он с восхищенным видом ответил, что только что купил давно ожидаемую им историю герцогов Бургундских, сочинение Баранта[57]. Оно было нужно ему, чтобы ближе познакомиться с эпохой Людовика XI. Его бранили,— и на этот раз справедливо,— за исполнение роли Чацкого. Он брался за нее, говорили, из жадности, желая получить лишние разовые, но это относится к личным слабостям человека.

Его брат, П. А., был средний актер, но, подобно московскому Ленскому, писал веселые водевили и комедии и отличался остроумием. Остроты и каламбуры сыпались из него, как орехи из мешка. На похоронах Полевого Булгарин хотел непременно, вместе с другими, нести его гроб. «Полноте, Фаддей Венедиктович, зачем вам? Вы уже при жизни довольно его поносили!» — громко заметил ему Каратыгин. Товарищ его, Григорьев-первый, написал пьесу «Житейская школа». П. А. так о ней отозвался:

«Житейскую школу» я всю прочитал
И только лишь в том убедился,
Что автор комедии жизни не знал
И в школе нигде не учился.

В трагедии «Смерть Ивана Грозного»[58] играли поочередно Самойлов и Васильев. Каратыгин по этому поводу выразился: «Василия Васильевича (Самойлова) я видел; Павла Васильевича (Васильева) также видел; но Ивана Васильевича[59], признаться, не видал». В то время провинциальные актеры, желавшие поступить на казенную сцену, дебютировали в Александринском театре летом и обыкновенно в роли Гамлета. П. А. уверял, что нынче каждый хам летом (Гамлетом) хочет непременно дебютировать, и т. д. П. А. был ненавистник нового реального направления, начинавшего проявляться в сороковых годах в русской литературе; он винил в этом Гоголя и изощрял свое остроумие, чтобы трунить над его последователями. Им сочинен был даже водевиль под названием «Натуральная школа», в котором один из актеров отлично загримировался Панаевым; заключительные слова водевиля были следующие: «Литераторы новой школы, я вас презираю!»

Вся тогдашняя труппа, впрочем, не сочувствовала Гоголю, исключая Сосницкого и его жены, превосходно передававших роли городничего и городничихи. Максимов-первый и Мартынов гораздо охотнее играли в водевилях Каратыгина, Кони, Коровкина и других, чем в «Ревизо-

ре» и «Женитьбе», хотя первый весьма недурен был в Хлестакове, а второй в роли, кажется, Бобчинского[60]. Нерасположение к Гоголю всего страннее было встретить в Мартынове, артисте, действительно одаренном выдающимся сценическим дарованием; уже самая тонкость чутья — принадлежность крупного таланта — должна была, казалось бы, подсказать ему, что ни один автор до Гоголя не давал ему столько материала для развития его комического таланта. Но Мартынов воспитывался в театральном училище в то время, когда на литературное образование не обращали почти никакого внимания; вся забота сосредоточивалась на приготовлении хороших танцовщиц и танцоров; выйдя на волю, он не имел времени доучиться. Пользуясь его возраставшим успехом на сцене, его заставляли играть чуть ли не каждый день, не обращая никакого внимания, что такая усиленная деятельность могла иметь пагубное влияние на его здоровье. Я преднамеренно коснулся чутья Мартынова, потому что в начале своей карьеры он часто им только руководился, лишенный возможности обдумывать и изучать то или другое лицо пьесы. Ему случалось выходить на сцену, успев только бегло просмотреть роль; но уже и этого было для него достаточно, чтобы создавать иногда своеобразный тип. Раз он совсем не знал роли; вооружившись перед выходом длинным чубуком, он явился на сцену и через каждую фразу, подсказанную суфлером, стал производить долгие затяжки, придавая в то же время своему лицу и всей фигуре натянутый, недовольный вид; вышел от головы до ног тип строптивого, неуживчивого департаментского чиновника. Чутье подсказало ему также замечательную сцену в пьесе Чернышева «Не в деньгах счастье». Изображая скрягу[61], отказавшегося от дочери и перед смертью неожиданно смягчившегося и признавшего дочь, Мартынов внес оттенок, о котором не помышлял автор: обнимая дочь в порыве раскаяния, скряга-отец начинает опасаться, что ее снова хотят отнять у него; он бешено обхватывает ее, комкает под собою и пугливо, как зверь, озираясь вокруг, начинает произносить какие-то дикие, невнятные звуки... Вся эта сцена, импровизированная Мартыновым, производила всякий раз потрясающее впечатление. Обаяние его как актера было так сильно, что стоило ему показаться на сцене, и, прежде чем он начинал играть, публика была уже наэлектризована. Никогда не забуду я его бенефиса; давали, между прочим, одноактную пьеску «Дочь русского

актера»[62]: Мартынов играл роль отца; когда он в конце, обняв дочь, приблизился к рампе и пропел куплет:

Дитя мое, мой час пробил;
Я думал, мне дадут прибавку,
И вдруг нежданно получил
С печатью чистую отставку.

Но не забудутся во мне
Талант и гений исполинский,
И после смерти обо мне
Вздохнет театр Александринский! —

страшно, право, было оставаться в креслах. Зрители партера поднялись со своих мест, как один человек; все бросились к оркестру; поднялся невообразимый шум, крики; стучали стульями и палками; из лож со всех концов летели букеты. Стены Александринского театра, наверное, в этот вечер должны были где-нибудь дать трещину.

Театральные мои знакомства не ограничивались артистами Александринского театра.

Из оперных артистов я ближе всего познакомился, благодаря опять-таки французскому языку, с Л. И. Леоновым (Charpentier), французом по рождению. Он занимал тогда амплуа первого тенора в русской опере. Знакомство наше превратилось вскоре в тесную дружбу; он стал упрашивать меня переехать к нему на квартиру, так как семейство его на долгое время поселилось за границей. Я охотно согласился. До меня Леонов точно так же пригласил к себе на жительство А. И. Плюшара, того самого Плюшара, который, вместе с отцом своим, предпринял издание энциклопедического лексикона[63]. После внезапной кончины отца лексикон, начавшийся под самыми счастливыми условиями, остановился на какой-то букве и дальше не пошел, благодаря тому, говорили, что Плюшар-сын зажил вдруг на широкую ногу и посадил на мель и себя и самое издание.

Плюшар, которого Погодин звал почему-то *Плюхардием,* олицетворял тип обедневшего вивера, жуира; полное расстройство его дел не вылечило его от старых привычек; не владея далеко прежними средствами, он продолжал посещать театры, занимая всегда место в первом ряду кресел, обедал в лучших ресторанах и одевался франтом с иголочки. В беседах с нами он высказывал плохо сдержанную желчь; бедствия и неудачи свои приписывал он невежеству русской публики, не дозревшей до оценки важности энциклопедического лексикона и не поддержавшей его в свое время. Благодаря старым связям его отца,

знакомству с Кукольником, Гречем, Булгариным и книгопродавцами он еще кое-как держался, печатая различные мелкие издания.

В то время как я поселился у Леонова, Плюшар только что затеял издание книжек «Сто одна повесть и сорок сороков анекдотов»[64]. Мое знание французского языка было находкой для практического издателя; находка была тем выгоднее, что мне в голову не приходила мысль о гонораре. Я уже был счастлив тем, что могу принять участие в литературной работе, видеть мой труд в печати, познакомиться с литераторами. Первая переведенная мною повесть называлась: «Плавучий маяк»[65]. Плюшар уверял меня, что перевод мой очень хвалил Кукольник; без всякого сомнения, Кукольник в глаза не видал перевода, но Плюшару надо было меня задобрить, возбудить мое дальнейшее рвение, в чем он не ошибся. Я с жаром стал переводить не только повести, но и приложенные к ним анекдоты.

Раз Плюшар вошел ко мне в комнату вместе с неимоверно длинным-длинным и тощим господином, у которого от сухоты кожа лупилась на всем лице, на ушах и на шее. Это был Алексей Николаевич Греч, сын Н. И. Греча. Греч взял со стола мою рукопись, взглянул на нее, перевел потом глаза на меня и сказал, обратясь к Плюшару: «А! так вот кто у вас переводчик!» Хотел ли он этим похвалить переводчика или, наоборот, выразить, что перевод плох, не знаю, но только я остался очень доволен новым знакомством. Я потом несколько раз заходил к А. Н. Гречу, и всегда поражала меня у этого рослого человека страсть ко всему крошечному, микроскопическому: его чернильница, письменные принадлежности, головная щетка, бритвенный несессер имели вид совершенных игрушек. Плюшар рассказывал, что когда А. Н. Гречу минуло тридцать лет и он первый раз выбрился, операция эта сопровождалась семейным торжеством: отец, мать, тетки — все ходили в радостном волнении, обнимались и восклицали со слезами на глазах: «Алеша выбрился! Алеша выбрился!» Он жил в доме отца, занимал отдельное помещение, которое делил с другом своим, художником Тимом, только задумавшим издание «Художественного листка»[66]. А. Н. Греч занимался сочинением и изданием крошечных детских книжек; в таком же точно формате издал он книжку «Весь Петербург в кармане»[67]. Я ни разу не встречал у него его отца, но, взамен этого, встречал я несколько раз Булгарина, аккуратно каждый день приезжавшего в известный час

в редакцию «Северной пчелы», помещавшейся в том же доме. У Греча познакомился я также с довольно курьезным французом г. Ипполитом Оже, автором четырехтомного романа в русском вкусе «Waninka», написанного под впечатлением двухнедельного пребывания автора в Москве. Г-н Оже принадлежал к группе сотрудников Дюма: гг. маркизу де Шервиль, Бенедикту Ревуаль, Маке и другим, доказывавшим только размер таланта их патрона, умевшего придать их рукописям огонь, живость, интерес; работая уже от себя собственно, сотрудники эти оказывались крайне бесцветными и не имели никакого успеха[68].

А. Н. Греч принес мне однажды французскую повесть, поручая перевести ее, но только не целиком, а сделать в ней по моему усмотрению сокращения, которые позволили бы издать ее в маленьком томике. Труд был для меня новый, но я взялся за него с тою горячностью, с какою брался тогда за все. Повесть эта — верх нелепости; она издана была Гречем под названием: «Эрленсбунский священник».

Русская грамота давалась мне все еще с большим трудом; но его мало-помалу побеждала практика и, главным образом, мое юношеское неутомимое усердие. Работа была мне по душе и увлекала меня.

Знакомство с литераторами постепенно охлаждало меня к театральной канцелярии. Спустя некоторое время я перестал посещать ее тем охотнее, что прежний ее состав значительно изменился. Два старые товарища из нее вышли: А. Л. Невахович, вместе с певицей Корбари, уехал в провинцию давать представления итальянской оперы; старых товарищей заменили новые. В числе последних определился, между прочим, некто К[аменский], человек восточного происхождения, бывший когда-то красавец, пожиратель сердец, но носивший теперь черную бороду с проседью и такие же бакены, закрывавшие ему половину лица. Он представлял в своем роде личность, не лишенную интереса для наблюдателя. Умный, изведанный жизненным опытом, он изощрял свои способности на то, чтобы изобретать подходы для занимания денег. Он входил иногда в канцелярию в восторженном настроении, горячо жал руки, обнимал даже и с воодушевлением начинал говорить о Шекспире. «Я,— говорил он,— сегодня ночью в сотый раз прочел «Гамлета». Боже, какая глубина! Шекспир не человек,— нет, это какой-то Монблан в человечестве, это — океан, да, необъятный океан, обхватывающий вас кругом». После такой тирады он вдруг отводил

намеченного заранее слушателя в сторону, наклонялся к его уху и скороговоркой произносил, и непременно всякий раз по-французски: «Pretez moi, je vous prie, cinq roubles»*,— обещая также всякий раз во вторник и непременно к двенадцати часам возвратить долг. В другой раз он являлся в мрачном, подавленном состоянии духа, тяжело опускался в кресло и начинал таким образом: «Нет, господа, воля ваша, в Петербурге жить невозможно! Взгляните в окно: снег вокруг, как саван; с неба валит не то дождь, не то какой-то чичер... Все это на меня действует вот до какой степени; жена скоро должна родить (эту новость сообщал он несколько раз в году)... дети больны... Доктор не выходит из дома... И при всем этом, верите ли, нет силы, недостает духу отправиться в такую гнусную погоду в почтамт, предъявить повестку и получить деньги (он медленно, с брезгливым видом вынимал из бокового кармана затрепанную повестку)... вот она... Но нет, сил недостает; в душе какая-то тоска, нервы расслабли... Вид этого снега меня совершенно сокрушает». Он таким же порядком и так же неожиданно отводил в сторону слушателя и снова по-французски просил одолжить ему до вторника сколько-нибудь денег. Когда удавалось ему собрать таким образом у разных лиц некоторую сумму, его в обеденное время можно было безошибочно застать в лучшем ресторане. Он садился за особый стол, требовал непременно самого хозяина и принимался за составление меню. «Нет, нет,— возражал он на предложение ресторатора,— нет, теперь не сезон для тюрбо... Устрицы у вас теперь только фленсбургские, я люблю только остендские»,— и т. д. Обед заказывался самый утонченный, изысканный. Наливая в рюмку вино, он приподымал ее против света и долго держал ее на воздухе, прищуривая глаз; разжевывая трюфли, смакуя кушанье и попивая глотками тонкое вино, он весь преображался: лицо его лоснилось, ноздри расширялись и вздрагивали, в восточных глазах с поволокой изображалось выражение полного блаженства.

В течение трех месяцев службы он задолжал всей дирекции, не выключая капельдинеров. В то время не только цирки, но балаганы должны были выплачивать дирекции театров известный процент. Рассказывали, К[аменский], пользуясь случаем посещать даром балаганы, ухитрился занять денег даже у великана, которого показывали в одном из балаганов.

---

* «Одолжите мне, пожалуйста, пять рублей» *(фр.)*.

VI

Встреча с Некрасовым.— Первые оригинальные рассказы.— Песоцкий и празднование его свадьбы.— Некрасов как издатель.— «Физиология Петербурга».— Вторичное сближение с Достоевским.

Не помню хорошенько, в 1842 или 1843 году отправился я в ипподром Сулье, на Измайловском плацу. Там, в большом пространстве, загороженном досками, давались конные ристалища, скачки в раззолоченных колесницах, которыми управляли наездницы в ярких римских костюмах, происходили различные гимнастические и акробатические представления. Я занял скромное место подле какого-то молодого человека, который вдруг назвал меня по имени; присмотревшись, я узнал в нем Некрасова[69]. Мы встретились, как старые знакомые. Когда я сказал ему, что занимаюсь литературой, он сделался словоохотлив и пригласил меня к себе на дачу. Меня почему-то потянуло к нему. На другой же день отправился я по адресу на парголовскую дорогу. Дача была не больше, как простая изба, отдаваемая внаем огородником.

Я стеснялся спросить, что он именно теперь пишет, но видел на столе множество листов исписанной бумаги. Он говорил, что мало работает, бóльшую часть дней проводит на охоте с ружьем. Не помню, конечно, в чем состояла наша беседа и как мы расстались. Осенью, встретившись на Невском, мы снова разговорились, и он снова пригласил меня к себе. С тех пор мы часто стали видеться. Он жил в доме каретника Яковлева за Аничковым мостом и занимал в нем небольшую квартиру; в одной из комнат было большое угловое итальянское окно, смотревшее на Невский.

Денежные обстоятельства Некрасова должны были быть тогда весьма незавидны. Я не раз заставал его за рукописью, порученною ему каким-то стариком для исправления в ней языка; рукопись трактовала о различных способах ухода за пчелами. Такая работа не могла приносить ему много, и надобно было нуждаться в деньгах, чтобы за нее взяться.

Пример молодого литератора, жившего исключительно своим трудом, действовал возбудительно на мое воображение. Жить также своим трудом, сделаться также литератором казалось мне чем-то поэтическим, возвышенным,— целью, о которой только и стоило мечтать. Я не давал себе покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повести. Сотни раз, набросав сгоряча начало, прежде чем

успел обдумать конец, я сокрушался, обескураженный, и бросал работу. Леонов, ленивейший из смертных, изумлялся моему терпению и трудолюбию; Плюшар покачивал головой и постоянно повторял: «Vous ne ferez absolument rien»*. Страстное желание написать что-нибудь свое, усилия, которые я употреблял для этого, не оправдали предсказаний Плюшара. В этот период времени я написал один за другим два рассказа: «Театральная карета» и «Собачка», оба крайне детского содержания, вымученные, лишенные всякой наблюдательности, почерпнутой из жизни. Благодаря А. Н. Гречу рассказы эти тем не менее были напечатаны в литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», редактором которого был тогда, кажется, Краевский[70].

Самому идти в редакцию я почему-то побоялся, несмотря на то что время от времени посещал другую редакцию: «Пантеона и репертуара», но Ф. А. Кони, своею приветливостью и добротой, с первого раза, когда еще печатался у него мой перевод драмы «Наследство», успел победить мою робость к редакторам и литературным авторитетам. У него я познакомился с Песоцким, бывшим или будущим, не помню, редактором «Пантеона»[71]. Песоцкий был только что объявлен женихом и явился к Кони звать его на свадьбу. Он женился на дочери повара великого князя Михаила Павловича и был в восторге, что женится на француженке, хотя сам, подобно Анучкину в «Женитьбе» Гоголя, не знал этого языка[72]. Наружность Песоцкого близко напоминала расфранченного московского купчика средней руки: на полном красном лице мигали бесцветные глазки, прикрытые очками; тело его, крутое как огурчик, сжималось со всех сторон платьем в обтяжку. Кони познакомил нас, и я также удостоился приглашения.

Свадьба эта во всех подробностях до сих пор живо сохранилась в моей памяти; она отчасти рисует нравы литературного общества того времени.

Тут находились многие знаменитости и между ними на первом плане Н. А. Полевой и генерал Данилевский, автор «Войны двенадцатого года»[73]. За обедом говорились речи. Первую речь сказал Полевой, обращаясь к Данилевскому и превознося его личные доблестные подвиги на поле брани, коснулся также значения его сочинения о двенадцатом годе. Данилевский отвечал, сказав что-то вроде того, что ему тем приятнее это слышать, что слышит это от челове-

* «Вы ровно ничего не добьетесь» *(фр.)*.

ка, имя которого как колокольный звон разносится по всей Руси святой... В самую эту минуту какой-то офицер, вероятно успевший уже выпить лишнее, громко чему-то засмеялся; литератор Межевич, шафер жениха, вскочил и задорно крикнул: «Милостивый государь, в то время, как воздается почесть талантам, вы смеетесь,— это и дерзко и неприлично!» Со всех сторон послышались крики, застучали ножами по тарелкам, началась суматоха. Но обед был уже кончен, и общество поднялось с своих мест. Куда делся этот офицер — неизвестно, но уже его потом нигде не было видно. Вскоре появился Плюшар, прося всех дать дорогу и суетливо повторяя: «Messieurs, mesdames, le général Gretch! Le qénéral Gretch!..» За Плюшаром выступал, не без торжественности, высокий тощий старик с курносым носом и на нем золотыми очками; он был в длинном сюртуке, а сбоку, из-под обшлага, выглядывала звезда. Плюшар, игравший на свадьбе роль церемониймейстера, прежде всего представил Гречу Ольхина, бывшего курьера министерства финансов и вдруг каким-то чудом сделавшегося издателем русских авторов. Ольхин низко кланялся, выдвигая вместе с тем жену, толстую расфранченную женщину. Греч сделал шаг вперед, потрепал ее бесцеремонно за подбородок и проговорил старческим, дребезжавшим голосом: «Да она у тебя, братец, еще молоденькая!» — приветствие, после которого Ольхин, казалось, расплылся от счастья.

Церемониймейстер Плюшар заранее позаботился составить партию для Греча и повел его к карточному столу. Начались танцы; главную роль в них играла дочь Данилевского, хорошенькая блондинка лет семнадцати. К концу кадрили произошло некоторое смятение: ближайшие приятели Песоцкого, который от избытка счастья совершенно терял голову и на все вопросы отвечал, громко выкрикивая: «Вина! давайте вина!» — из соседней комнаты вынесли Песоцкого на руках и торжественно пронесли через залу. Вторая или третья кадриль была также неожиданно прервана появлением Булгарина, явившегося в каком-то сером кунтуше со шнурами на груди. Он прямо втесался в середину кадрили, затопал подошвами и заговорил хриплым, басистым, прерывающимся от одышки голосом: «Что это у вас за танцы? То ли дело как бывало у нас в наше время... Семениха-то выйдет, да пойдешь:

Ой, ерши, ерши, ерши,—
Ой, держи, держи, держи!..» —

и начал выделывать какие-то неуклюжие повороты туловищем и притоптывать толстыми, как бревна, ногами.

Незадолго после этого торжества Леонов отправился за границу, сдав свою квартиру, Плюшар куда-то переехал, а я нанял на Гороховой комнату от жильцов. У меня было столько охоты к литературным занятиям, что, несмотря на мои неудачные попытки, я нимало не падал духом. Некрасов поддерживал такое стремление, обещая дать мне работу. Спустя несколько времени он принес мне полдюжины французских брошюрок, заключавших целый трактат о танцах «польки» и «редовы», вошедших тогда в моду; Некрасов просил меня составить из них книжку, название которой он заранее придумал: «Полька в Петербурге»[74]. Работа была мне не по вкусу; я ждал от него чего-нибудь более живого, литературного; но я согласился, так как Некрасов приглашал меня в то же время к участию в периодическом издании юмористического сборника «Зубоскал», которое было у него в проекте. «Зубоскал», к которому я написал предисловие и для которого изготовлена была заглавная виньетка, был запрещен до появления первого выпуска. Одна неосторожная фраза в объявлении: «Зубоскал» будет смеяться над всем, что достойно смеха»,— послужила поводом к остановке издания[75]. Но Некрасов был человек упорный, настойчивый; запрещение «Зубоскала» не охладило его издательскую деятельность. Вскоре придумал он новую книжку: «Первое апреля». Я снова написал к ней предисловие и небольшой рассказ «Штука полотна»[76].

Обе эти книжки — «Полька в Петербурге» и «Первое апреля» — дали мне случай познакомиться с двумя литераторами, и оба раза при одинаковых условиях. Вечером как-то зашел я к театралу К. И. Огареву в ту минуту, когда какой-то господин бледного вида и с большими отвислыми бакенами разносил в пух и прах людей, способных писать и печатать такую гадость, как «Полька в Петербурге». Огарев поспешил представить меня как автора этому господину; это был поэт Губер, переводчик «Фауста». «Первое апреля» доставило мне случай познакомиться с Тургеневым[77]. И. И. Панаев в своих воспоминаниях ошибочно упоминает о нашем знакомстве по этому поводу; ему весьма легко было ошибиться: лет за пятнадцать до того, как он думал писать свои воспоминания, я рассказал ему о моей забавной встрече с Тургеневым; по прошествии такого долгого промежутка времени не мудрено было ему запамятовать случай и перемешать лиц![78]

Я шел по Невскому с Некрасовым; нас догнал высокий господин смеющегося вида и тотчас же начал трунить над изданием «Первого апреля», особенно подымая на смех рассказ «Штука полотна». Некрасов указал на меня как на сочинителя рассказа. Тургенев удивленно взглянул на меня, рассеянно пожал мне руку и продолжал смеяться над книжкой.

С Панаевым я познакомился позже, когда он уже жил с Некрасовым и оба готовились издавать «Современник».

Тургенев не возбудил во мне никакого интереса. Он только что напечатал тогда первую свою поэму «Параша»[79], и я не читал ее. Он к тому же принадлежал, вместе с Анненковым, Панаевым, Кавелиным и другими, к кружку Белинского, который только что переехал в Петербург[80] и с которым я не был тогда знаком, как не был знаком с другими лицами этого кружка; в качестве молодого, только что начинающего и пока еще неудачного литератора я не смел думать попасть в него. Но об этом будет дальше. Мне хочется в моем рассказе по возможности держаться хронологического порядка.

Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием «Физиологии»; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание «Французы, описанные сами собою»[81]. У нас тотчас же явились подражатели. Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им название «Комары»; в каждой из них помещался очерк типа петербургской жизни; один из них — «Салопница» — был удачнее других[82]. Булгарин гордился тем, что внес в русский лексикон новый термин; термин «салопница» действительно сохранился.

Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков.

Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое

внимание не раз приковывали эти люди,— итальянцы по большей части,— добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольною комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с певцами, плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими salto-mortale на голой мостовой; сколько помнится, они тогда никому не мешали — ни жителям, ни общественному порядку,— напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями могли они добраться до нас из Италии, сколько должны были перенести лишений в своем странствовании, как они у нас устроились, где и как живут, довольны ли или с горечью вспоминают о покинутой родине и т. д. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» — казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели»,— повести, которую я с жадностью перечитывал. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию.

Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища[83] и успевшим уже переменить военную форму на статское платье. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Достоевский также мне обрадовался, но в его приеме заметна была некоторая сдержанность. При всей теплоте, даже горячности сердца, он еще в училище, в нашем тесном, почти детском кружке, отличался несвойственною возрасту сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких выразительных изъявлений чувств. Радость моя при неожиданной встрече была слишком велика и искренна, чтобы пришла мне мысль обидеться его внешнею холодностью. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах и попытках и про-

сил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился.

Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то,— раздраженно заговорил вдруг Достоевский,— совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня* и *подпрыгивая...»* Замечание это,— помню очень хорошо,— было для меня целым откровением. Да, действительно: *звеня* и *подпрыгивая* — выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал не просто, а *звеня* и *подпрыгивая*,— этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом[84].

Рукопись «Шарманщиков» очень понравилась Некрасову. Она уже печаталась [85], когда утром, зимою, раздался сильный стук в мою дверь; отворив ее, я увидел Некрасова с толстою книжкой в руках.

— Григорович,— сказал он, спешно входя в комнату,— вчера умер наш знаменитый баснописец Крылов... Я принес вам сочинение Бантыш-Каменского, материалы для биографии Крылова [86], садитесь и пишите его биографию, но не теряйте минуты... Я уже прежде, чем быть у вас, заехал в литографию и заказал его портрет.

«Дедушка Крылов» — книжка, написанная мною в десять дней, не многим отличалась в литературном отношении от предшествовавших «Первое апреля» и «Полька в Петербурге» [87].

Все эти мелкие, плохие книжонки сбывались Некрасовым книгопродавцу Полякову, издававшему их почти лубочным образом, но умевшему сбывать их с замечательною ловкостью. Этот Поляков был в своем роде плут не последнего сорта. Рассказы о его проделках до сих пор у многих сохранились в памяти. История, каким образом он завел книжную лавку, весьма даже замечательна. Быв старшим приказчиком в какой-то книжной лавке, он, закрывая ее вечером, уносил ежедневно под полою по одному тому, выбирая их таким образом, чтобы разрознивать полное собрание сочинений такого-то автора. Так продолжал он долгое время. Хозяин умер, наследники принялись

за оценку библиотеки, которая оказалась разрозненной; лавка пошла с торгов за бесценок. Поляков купил ее, вставил один за другим недостающие томы и пошел торговать с легкой руки[88].

За «Шарманщиками», которые похвалил Белинский[89], я написал для второй книжки «Физиологии Петербурга» рассказ «Лотерейный бал»[90]. Я принес его для прочтения Некрасову и застал у него А. Станкевича, брата того Станкевича, который был товарищем по Московскому университету Герцена, Огарева, Боткина и других[91]. А. Станкевич, написавший впоследствии несколько недурных повестей, остановился на несколько дней у Некрасова.

— Станкевич! — воскликнул Некрасов, когда окончил чтение рассказа,— мы с вами потом сосчитаемся, дайте Григоровичу сто рублей, он на этот раз отличился!

Эти сто рублей (ассигнациями, конечно) были первый гонорар, полученный мною за мой литературный труд.

В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет[92]. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами.

VII

Первая литературная работа Достоевского.— Мое знакомство с Белинским.— Роман «Бедные люди».— Прилив и отлив.— Письмо Белинского к Анненкову.— Достоевский и я перестаем жить вместе.— Кружок братьев Бекетовых.— Я оставляю Петербург и поселяюсь в деревне.

Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак был любимым нашим писателем; говорю: «нашим» потому, что

оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей. Не знаю, как потом думал Достоевский, но я до сих пор остался верен прежнему мнению и часто перечитываю некоторые из творений Бальзака. Не могу припомнить, каким образом, через кого, перевод «Евгении Гранде» попал в журнал «Библиотека для чтения»[93]; помню только, когда книга журнала попала к нам в руки, Достоевский глубоко огорчился, и было от чего: «Евгения Гранде» явилась едва ли не на треть в сокращенном виде против подлинника. Но таков уж, говорили, был обычай у Сенковского, редактора «Библиотеки для чтения». Он поступал так же бесцеремонно с оригинальными произведениями авторов. Последние были настолько смирны, что молчали, лишь бы добиться счастья видеть свою рукопись и свое имя в печати.

Увлечение Бальзаком было причиной, что Белинский, к которому в первый раз повел меня Некрасов, сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал. Настроенный Некрасовым, я ждал, как счастья, видеть Белинского; я переступал его порог робко, с волнением, заблаговременно обдумывая выражения, с какими я выскажу ему мою любовь к знаменитому французскому писателю. Но едва я успел коснуться, что сожитель мой,— имя которого никому не было тогда известно,— перевел «Евгению Гранде», Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшею бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что если бы только попала ему в руки эта «Евгения Гранде», он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения[94]. Я был до того озадачен, что забыл все, что готовился сказать, входя к Белинскому; я положительно растерялся и вышел от него как ошпаренный, негодуя против себя еще больше, чем против Белинского. Не знаю, что он обо мне подумал; он, вероятно, смотрел на меня как на мальчишку, не умевшего двух слов сказать в защиту своего мнения.

Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Такой почерк видел я впоследствии только у одного писателя: Дюма-отца. Как только Достоевский переставал пи-

сать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье, особенно восхищали его «Записки демона»[95]. Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три.

Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай,— сказал он с необычною живостью.

То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди».

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.

Результат этого чтения более или менее известен читающей публике. История о том, как я силой почти взял ру-

копись «Бедных людей» и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его «Дневнике»[96]. Из скромности, вероятно, он умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились.

Должен признаться, я поступил в настоящем случае очень необдуманно. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданною радостью и вдобавок не приводить к нему чуть ли не ночью незнакомого человека; но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди.

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа.

После знакомства с Некрасовым и через него с Белинским, который прочел рукопись «Бедных людей», с Достоевским произошла заметная перемена. Во время печатания «Бедных людей»[97] он постоянно находился в крайне нервном возбуждении. Со свойственною ему несообщительностью, он не говорил мне о том, как сошелся с Некрасовым и что дальше было между ними. Стороною только доходили до меня слухи о том, что он требовал печатать «Бедных людей» особым шрифтом и окружить рамкой каждую страницу; я не присутствовал при этих разговорах и не знаю, справедливо это или нет; если и было что-нибудь похожее, тут, вероятно, не обошлось без преувеличения[98].

Могу сказать только с уверенностью, что успех «Бедных людей» и еще больше, кажется, неумеренно-восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском, жившем до той поры замкнуто, в самом себе, встречавшемся, да и то нечасто, с немногими товарищами, не имевшими ничего общего с литературой. Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе?[99] Вскоре после «Бедных людей» Достоевский написал повесть «Господин Прохарчин» или «Господин Голядкин», не помню хорошо названия. Чтение назначено было у Некрасова; я также был приглашен. Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей[100].

Увлечение Белинского не сделало бы еще, может быть, такого действия на Достоевского, как тот внезапный, резкий поворот на его счет в мнении Белинского и его кружка. Вот что около этого времени писал Белинский к Анненкову: «Не знаю, писал ли я вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка»,— ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши немного Гоголя. Он еще написал кое-что после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях», я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»[101] Писал это Белинский, честнейший из людей, но склонный к увлечению,— писал совершенно искренно, как всегда, по убеждению. Белинский не стеснялся громко высказывать свое мнение о Достоевском; близкие люди его кружка ему вторили.

Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению,

не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. Не помню, что послужило поводом к такой выходке; речь между ними шла, кажется, о Гоголе.

Во всяком случае, я уверен, вина была на стороне Достоевского. Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал[102]. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен был бы в ножки кланяться, потому что в самых хваленых «Бедных людях» чувствовалось на каждой странице влияние Гоголя.

В последнем обвинении,— если можно это считать обвинением молодому начинающему литератору,— была доля правды. Лицо старика Девушкина в «Бедных людях» невольно приводит на память чиновника Поприщина в «Записках сумасшедшего»; сцена, когда дочь директора роняет платок и Поприщин, бросившись подымать его, скользит на паркете и чуть не разбивает себе нос, напоминает сцену, когда у Девушкина, в присутствии начальника, отрывается пуговица, и он, растерявшись, старается поднять ее. Не только в приеме частого повторения одного и того же слова, но в постройке самих фраз, в их духе заметно проглядывает влияние Гоголя. «Также читал очень приятное изображение, описанное курским помещиком; курские помещики хорошо пишут!» — «Хотел бы рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки, как они, что они» и т. д. «Хотелось бы быть генералом для того, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные экивоки...» — «Настасья Петровна; хорошее имя: Настасья Петровна; у меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна» (Чичиков у Коробочки).— «Не то я тебя, знаешь, березовым веником, чтоб для вкусу-то... Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтоб еще был получше...» (Плюшкин).— «А вот черти-то тебя и припекут, и припекут! Скажут: а вот тебе, мошенница, за то, что барина обманывала, и припекут, припекут!..» и т. д. Склад этих фраз, их дух, если можно так выразиться, часто встречаемый в первых произведениях Достоевского, не может служить ему большим упре-

ком. Следовало бы тогда винить все тогдашнее литературное молодое поколение; все в одинаковой степени были увлечены Гоголем; почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повестей Гоголя, преимущественно повести «Шинель». В последующих произведениях Достоевского не заметно уже тени подражания; он становится совершенно самостоятельным.

Не помню, о чем-то раз зашел у меня с Достоевским горячий спор. Результат был тот, что решено было жить порознь. Мы разъехались, но, однако ж, мирно, без ссоры. Бывая оба часто у Бекетовых, мы встречались дружелюбно, как старые товарищи. Около Бекетовых мало-помалу образовался целый кружок; мы вступили в него благодаря старшему из братьев, А. Н., бывшему нашему товарищу по училищу. Братья его, Н. Н., известный теперь профессор химии, и А. Н., не менее известный профессор ботаники, были тогда еще студентами. Всякий раз встречалось здесь множество лиц, большею частью таких же молодых, как мы были сами; в числе их особенно часто являлся А. Н. Плещеев, тогда также студент.

Я видел на веку своем немало людей просвещенных, любезных, приветливых, выбивавшихся из сил, чтобы составить у себя кружок, и им это не удавалось; Бекетовы не прикладывали никакого старания, кружок был им даже в тягость, потому что мешал занятиям, тем не менее кружок составился. Всех в равной степени притягивала симпатия к старшему брату, Алексею Николаевичу. Это была воплощенная доброта и прямодушие в соединении с развитым умом и горячею душой, возмущавшеюся всякою неправдой, отзывавшеюся всякому благородному, честному стремлению.

Собирались большею частью вечером. При множестве посетителей (сходилось иногда по пятнадцати человек), беседа редко могла быть общею; редко останавливались на одном предмете, разве уж выдвигался вопрос, который всех одинаково затрогивал; большею частью разбивались на кучки, и в каждой шел свой отдельный разговор. Но кто бы ни говорил, о чем бы ни шла речь, касались ли событий в Петербурге, в России, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопрос, во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, проявление светлой мысли, внезапно рожденной в увлечении разгоряченного мозга; везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости. Споры бывали жаркие, но никогда не доходило до ссоры

благодаря старшему Бекетову, умевшему тотчас же примирить, внести мир и согласие. Многому помогала также молодость, с одинаковою легкостью воспламеняющаяся и забывающая свои увлечения. Часто, наговорившись и накричавшись досыта, кто-нибудь предлагал прогулку; все радостно принимали предложение. Раз мы всею компанией согласились сделать большую экскурсию — отправиться пешком в Парголово и провести ночь на Поклонной горе над озером; каждый должен был запастись каким-нибудь провиантом; на долю Бекетовых пришлось нести медный чайник для варки кофе и принадлежности.

Мне до сих пор памятно это похождение. Во все время пути и в течение всей ночи, проведенной на берегу озера, веселость била ключом, счастье было в сердце каждого. Оно высказывалось песнями, остротами, забавными рассказами, неумолкаемым хохотом. Парголовское озеро, я думаю, никогда не видало с тех пор такого ликования.

Участие в общественной беседе всегда существеннее в пользу умственного развития, чем разговоры вдвоем, как бы ни был умен собеседник и внимателен слушатель. Главным двигателем служит здесь личное самолюбие; необходимость постоянно держать ум настороже, не казаться глупее других, следить за мыслью, готовиться в присутствии других поддержать ее или оспорить,— все это в значительной степени пробуждает сознание, обостряет ум, «встряхивает мозги», как говорится.

Кружку Бекетовых я многим обязан[103]. До того времени, как я сделался постоянным его членом, мои мыслительные способности облекались точно туманом. Беседы с Достоевским никогда не переходили пределов литературы; весь интерес жизни сосредоточивался на ней одной. Читал я, правда, много, но читал без всякого выбора, все, что попадало под руку, читал исключительно романы, повести, жизнеописания художников. Я ни над чем не задумывался сколько-нибудь серьезно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался в жизнь, отдаваясь минутному увлечению. Многое, о чем не приходило мне в голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее ум от легкомыслия, я впервые услышал только здесь, в кружке Бекетовых.

Успех моего умственного развития выразился уже тем, что моему самолюбию было больно за мою отсталость против многих из бывших товарищей; литературными моими попытками и тем, что 'они печатались, нечем было

гордиться; я вполне уже сознавал их незначительность и незрелость. Последнюю мою повесть «Соседка», написанную в промежуток этого времени, я почти стыдился признать за свою. Я чувствовал, что дальше так идти нельзя, что каждый, пожалуй, опередит меня и я останусь затерянным. Внутренний голос подсказывал мне, что во мне что-то есть, что я могу что-то сделать, могу пойти вперед, но для этого нужны другие условия, нужно прежде всего расстаться с праздной жизнью и оставить Петербург.

Я так и сделал.

Написав матушке о моем намерении, я в 1846 году, с наступлением весны, уехал в деревню.

VIII

Возвращение домой.— Повесть «Деревня».— Неудача.— Валерьян Николаевич Майков.— Делаюсь сотрудником «Отечественных записок».— А. А. Краевский.— Знакомство с Вл. Ив. Далем (Луганским).— Е. П. Гребенка.

Подъезжая к родному гнезду, я не узнавал себя. Я никак не воображал, чтобы мне так легко обошлась разлука с Петербургом и так радостно было снова увидеть деревню, где протекло мое детство. Все, что казалось мне тогда тягостным, досадливым, и прежде всего деспотизм и недоброжелательство бабушки, исчезло как бы само собою. Теплое чувство к матери пробуждалось во мне в первый раз с такою силой. Мне нетерпеливо хотелось обнять ее и поблагодарить за снисхождение к моим бросаниям из стороны в сторону, к моим отступлениям против ее желаний,— за все, что она для меня сделала. Я ждал минуты, когда увижу старого Николая, носившего меня на руках, и других дворовых, которые меня ласкали. Сердце мое окончательно размягчилось, когда, при въезде на последний пригорок, передо мной открылась долина речки Смедвы, сама Смедва блеснула в своих изгибах, замкнутых зеленеющими склонами с их рощами, когда в глубине обрисовался темный старый сад с его липовыми аллеями и подле него крыша нашего дома.

Когда тарантас въехал на двор, матушка стояла на крыльце и махала платком; из-за ее плеча выглядывал чепец бабушки; Николай, окончательно поседевший, белый как лунь, и дворовые окружили меня. После обниманий и целований мы вошли в дом, показавшийся мне несравненно меньше, чем казался в детстве. Начались расспросы. После того как я объявил бабушке о роде моих

занятий и намерении продолжать их, она окинула меня удивленным, недоверчивым взглядом и проговорила: «C'est bien, travaille! Travaille!»* — и отправилась в палисадник. Матушка отвела меня в комнату, заблаговременно для меня приготовленную. Она выходила окнами частью в сад, частью на поворот дороги, огибавшей Смедву, осененную с этой стороны столетними ветлами.

Не помню, чтоб я когда-нибудь чувствовал себя более счастливым.

Я сознавал, что пришел конец моим мытарствам, что пора одуматься, пора прийти в себя, приняться за настоящую работу и доказать, что мои порывы к литературе не были мимоходными капризами, но признаком врожденного призвания. Тишина, меня окружавшая, производила на меня обаятельное действие; я к ней прислушивался, как к сладчайшей музыке.

Благословенная эта тишина нежила меня, но не давала, однако ж, подходящей темы для выдающейся повести, которую во что бы то ни стало я хотел сочинить. Напрасно бродил я по целым дням в полях и лесах, любовался картинами природы, напрасно целыми ночами напрягал воображение, приискивая интересный сюжет,— сюжет не вырисовывался, и если приходил, то непременно напоминал «Хуторок» Кольцова или страдания маленького Оливера Твиста Диккенса — двух любимых моих авторов в то время, сочинения которых я привез с собою.

Как всегда почти бывает в человеческой жизни, случай — этот хозяин, над которым нет власти,— выручил меня. К матушке привезли больную молодую бабу. За обедом матушка рассказала ее историю. Ее против воли выдали замуж за грубого молодого парня, которого также приневолили взять ее в жены; он возненавидел ее, чему немало способствовали его сестры, начал ее бить в трезвом и пьяном виде и заколотил почти до смерти; баба была в злейшей чахотке и вряд ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чем жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлетней девочки; он и ее заколотит насмерть, говорила она. Рассказ этот произвел на меня сильное впечатление. Сюжет повести был найден. Я тотчас же принялся его обдумывать и приводить в повествовательную форму.

Знакомый с простонародным русским языком только по редким книгам, которые удавалось читать, я стал усер-

* «Хорошо, работай, работай!» *(фр.)*

дно изучать его практически, проводил часы на мельнице, беседуя с помольцами, разговаривал с нашими крестьянами, стараясь прислушаться к складу их речи, записывал выражения, казавшиеся мне особенно характерными и живописными. Первые главы повести «Деревня» стоили мне неимоверного труда. Французский язык, которым меня питали до тринадцатилетнего возраста, все еще по временам давал себя чувствовать; я долго иногда путался, приискивая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотелось сказать. Князь Вяземский совершенно справедливо замечает, что не довольно писателю иметь дарование, мысли, сведения, нужно еще *искусство писать;* без этого дара писатель — как стрелок, не попадающий в цель[104]. Сколько умных людей, у которых ум, вместе с пером, притупляется; живой ум на бумаге становится иногда вялым, веселый — скучным, едкий — приторным.

Но в характере моем, при всей его живости, было много терпения и трудолюбия; работа к тому же мне нравилась, увлекала меня. Я чувствовал, что чем дальше подвигается повесть, тем свободнее освоиваюсь я с языком. Каждую главу переделывал я, переписывал по нескольку раз, вымарывая, переправляя в ней все, что чуть-чуть казалось нескладным; работа эта не только не отягощала меня, но доставляла мне истинное наслаждение. Я и теперь, по прошествии пятидесяти лет, точно так же работаю, испытывая то же самое чувство.

После четырехмесячного усидчивого писанья повесть была наконец готова, переписана набело, и я повез ее в Петербург, полный самых радостных надежд.

В нетерпении прочесть ее Некрасову, я отправился к нему в самый день моего приезда. Он жил тогда на Фонтанке, между Аничковым и Семеновским мостами, в большой квартире, которую разделял с Панаевым. Оба они, кажется, приобрели уже право у Плетнева на издание «Современника»[105]. Я застал Некрасова в больших хлопотах; он объявил, что сегодня не имеет времени прослушать мою повесть, но просил оставить рукопись, сказав, что сам прочтет ее. Радостное чувство, одушевлявшее меня, несколько отуманилось, но делать было нечего, я согласился. Я часто стал наведываться о судьбе моей повести. В один из таких дней я встретил у Некрасова Панаева; он с первого раза показался мне очень симпатичным. Прошло два месяца нетерпеливого ожидания, Некрасов все еще не успевал прочесть моей рукописи. Раз, был ли он не в духе

или попросту я надоел ему моим приставаньем, он возвратил мне рукопись, сказав, что находит неудобным печатать ее в «Современнике».

Я вышел от него как пришибленный, с трудом удерживая слезы.

«Не может быть, чтобы повесть настолько уже была плоха, чтобы нельзя было ее печатать,— думал я, комкая рукопись в кармане пальто,— могут встретиться места, которые неудачны, не нравятся; то, что я писал прежде, было несравненно слабее и все-таки печаталось». Я чувствовал, при всей моей скромности, что, кроме новизны изображения простонародного быта, в повести есть сцены, взятые живьем с натуры,— сцены, которые непременно должны тронуть читателя; недаром же, описывая их, я приходил в нервное состояние и слезы навертывались на глазах моих; не мог же я до такой степени обманываться. Я подумал под конец, что Некрасов, за недосугом времени и желая от меня отделаться, попросту не читал моей рукописи.

В тот же день вечером зашел я вместе с моею рукописью к Бекетовым. Из прежнего кружка оставалось уже немного; я узнал, что в это время успел образоваться новый кружок, куда перешли те из товарищей, которые были постарше; в числе их находились Достоевский, Плещеев, Ханыков и многие другие. Главою кружка был Петрашевский, имя которого я услыхал здесь в первый раз. На мое счастье, я застал у Бекетовых новое лицо, Валерьяна Николаевича Майкова, брата поэта, молодого человека, участвовавшего в «Отечественных записках», перешедших к Краевскому. Нас познакомили. Узнав о моей неудаче в редакции «Современника», Майков и Бекетовы приняли во мне живое участие; все заинтересовались повестью, и я приступил к чтению. Горькое чувство, наполнявшее мое сердце, звучало в моем голосе; я читал нервно, приподнятым голосом, подчеркивая места, казавшиеся мне более удачными. Благодаря этому, может быть, повесть сделала на слушателей неожиданно хорошее впечатление. Майкову она так понравилась, что он тут же взял от меня рукопись, обещая поместить ее в «Отечественных записках». Я был вне себя от счастья. Недели две-три спустя я узнал от Бекетовых, что Майков был у них утром и просил передать мне, что повесть принята и будет напечатана в декабрьской книжке. Дожидаться было не долго,— ноябрь уже был на исходе. Наконец настал желанный день. Открыв декабрьскую книжку, я нашел в ней мою повесть, напе-

чатанную целиком, без всяких изменений[106]. Успех ее благодаря, вероятно, новизне предмета (до того времени не появлялось повестей из простонародного быта) превзошел мои ожидания; ее хвалили не только знакомые, но похвалил даже критик «Северной пчелы», Бранд, вообще неблагосклонный к литераторам молодого поколения[107].

— Смотрите же,— говорил мне Майков, встретив меня у Бекетовых,— когда коснется гонорара, прямо требуйте сорок рублей за лист; все сотрудники теперь так условились, чтобы меньше сорока рублей не брать.

Получив от Краевского приглашение зайти к нему утром, я отправился. Наружность А. А. была много раз описана; в этой маленькой фигуре с серыми, несколько выдающимися глазами не было ничего внушительного, но тем не менее мною вдруг овладела робость.

— Вы написали хорошую повесть, она всем нравится,— проговорил он отрывисто,— нам надо теперь свести счеты; какие ваши условия?

Вспомнив слова Майкова, я хотел сказать: сорок рублей за лист, но, испугавшись громадности цифры, смутился и наскоро проговорил:

— Тридцать шесть рублей с листа, Андрей Александрович.

В приятельском кружке мне долго потом не давали проходу с этими тридцатью шестью рублями.

Печатание повести «Деревня» дало повод объяснению, которое мне во всех подробностях рассказывал В. П. Боткин вскоре после нашего знакомства. Несколько дней спустя после выхода декабрьской книжки «Отечественных записок» собрались пить чай к Тургеневу; тут были Анненков, Панаев, Некрасов, Боткин и другие. Вошел Белинский и с тою горячностью, которая всегда его отличала, начал преувеличенно хвалить мою повесть, говоря, что собирается написать о ней статью в «Современнике». Ему стал также горячо возражать Некрасов. Началось живое объяснение и кончилось тем, что Белинскому явственно было высказано, что прежде всего журнал «Современник» не ему принадлежит и похвалы о том, что печатается в «Отечественных записках», не могут быть допущены в «Современнике». Белинский все-таки похвалил повесть, но это была уже не статья, а скорее заметка; в ней сказано было, что я не имею никакой способности к повестям, но обладаю дарованием для физиологических очерков[108]. Не обошлось, конечно, без насмешек со стороны ненавистников реального направления литературы; в «Ералаше»

я был изображен в виде франта, роющегося в навозной куче, между тем как из ближайшего окна баба выливает мне на голову шайку помоев; внизу была надпись такого рода: «Неудачное отыскивание Акулин в деревне»[109].

Авторитет Белинского, уважение и любовь к нему людей ему близких, из которых я знал только Некрасова и несколько Панаева, не допускали меня сердиться на него за его отзыв. Был ли я описан ему умышленно в неблагоприятном виде или другое что, но только в обхождении Белинского со мною заметна была некоторая холодность. Увлеченный его статьями, его авторитетом, я, может быть, продолжал бы заходить к нему в надежде сгладить невыгодное впечатление, но меня удерживали лица, его окружавшие, из которых многие были мне несимпатичны, удерживала также — сказать ли? — моя скромность. В кружке Белинского находились лица, внушавшие мне даже некоторый страх; их знание, бойкость речи, резкость суждений, вопросы, которые между ними обсуждались,— все это, чувствовал я, было не по моим силам. Некрасов и Панаев не были образованнее меня; но первый брал смелостью и самоуверенностью. Панаев в своих воспоминаниях совершенно верно замечает: «Белинский с самого начала полюбил Некрасова за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, за тот смелый практический взгляд не по летам...» — и т. д.[110]. Панаева Белинский любил за его доброту и мягкость; их связывало, кроме того, старое знакомство еще в Москве и то также, что Белинский был ему многим обязан. Оба были, наконец, редакторы-хозяева «Современника», в котором Белинский принимал живейшее участие. Последнее обстоятельство в значительной степени умаляло к Некрасову и Панаеву высокомерный тон, отличавший в кружке Белинского многих лиц, приводивших цитаты из Гегеля, развивавших с уверенностью различные философские теории, слушавших лекции знаменитых ученых в Берлине и Париже, долго живших за границей, что тогда редко кому удавалось и всегда придавало такому лицу некоторое значение в глазах соотечественников.

Белинский, человек в высшей степени пылкий и впечатлительный, искренно привязанный к друзьям, нередко, однако ж, переносил свои увлечения то к одному из них, то к другому; отсюда происходила та переменчивость, то внезапное пристрастие, в котором его упрекали лучшие его приятели.

Примером, до чего увлекался иногда Белинский, может служить его письмо к Анненкову по случаю напечатания последним пьесы «Кирюша»: «А что, дражайший мой автор «Кирюши», что бы вам тряхнуть еще повестцою? Написали одну весьма порядочную, стало быть, можете написать и другую еще лучше»[111]. Анненков, польщенный советом, написал вторую повесть: «Она погибнет»[112]. Белинский писал ему: «Между обыкновенными рассказчиками вы необыкновенный рассказчик; не то, чтоб у вас было мало таланта, чтобы быть поэтом, а род вашего таланта не такой, какой нужен поэту; для рассказчика же у вас гораздо больше таланта, чем сколько нужно»[113].

Обе эти повести Анненкова до того между тем были плохи, что благодаря им народилась в тогдашнем литературном кружке новая поговорка; вместо того чтобы сказать: «На ком греха нет, у каждого есть своя слабость»,— долгое время говорили: «Что делать, у всякого человека есть свой «Кирюша» и своя «Она погибнет».

Белинский сам, впрочем, часто признавался в своей слабости к увлечениям. Панаев, самый, быть может, искренно преданный из друзей его, передает таким образом слова Белинского: «Я и теперь часто каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня было, что ни день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем»[114].

Упоминаю здесь о склонности Белинского к быстрым переходам и увлечению не с тем, конечно, чтобы ставить их ему в упрек. Увлекаться могут только люди, у которых в душе священная искра,— люди, одаренные богатою, одушевленною натурой, способные сильно испытывать впечатления и горячо принимать их к сердцу или мозгу. Такие люди, при всей своей неровности, всегда оставляют после себя результат в том или другом роде, смотря по своей специальности; во всяком случае, от них больше пользы, чем от людей, ко всему равнодушных, прямолинейных, обсахаренных в узком эгоизме, прикрывающих его видом благоразумия и строгой рассудительности.

Узнав, что В. И. Даль (Луганский), прочитав мою повесть, выразил желание познакомиться со мной, я поспешил к нему. Он занимал тогда должность директора канцелярии министра внутренних дел Перовского и жил в доме министерства, в Театральной улице. Я отправился к нему вечером, так как мне сказано было, что утром он

никого не принимает. Встретил он меня без всяких особенных изъявлений, но ласково, без покровительственного оттенка. Он был высок ростом, худощав, ходил дома не иначе, как в длинном коричневом суконном халате, пристегнутом у пояса; меня особенно поразила худоба его лица и длинного, заостренного носа, делившего на две части впалые щеки, не совсем тщательно выбритые; под выгнутыми щетинистыми бровями светились небольшие, но быстрые, проницательные глаза стального отлива. Наружность его,— я скоро в этом убедился,— отвечала его характеру, несколько жесткому, педантическому, далеко не общительному. Встретив где-то Тургенева, тогда еще молодого человека, он уговорил его поступить к нему на службу в канцелярию. Тургенев, никогда не думавший служить, но не имевший духа отказаться по слабости характера, согласился. Несколько дней спустя после вступления в канцелярию Тургенев пришел часом позже и получил от Даля такую нахлобучку, после которой тотчас же подал в отставку[115].

Мною Даль заинтересовался, собственно, потому, что повесть моя была из простонародного быта, который всегда занимал его, как занимало вообще все, касавшееся быта народа, языка, сказок, пословиц. У него по этой части скоплены были сокровища, и можно было чему-нибудь поучиться. Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты нравов, песни, поговорки и проч. Он охотно давал мне возможность пользоваться таким материалом у себя на дому; он сажал меня в кабинете, и я по целым часам переписывал все, что казалось мне особенно характерным. Семейство его, состоявшее из нескольких дочерей и одного сына, положительно его побаивалось, как боялись, впрочем, все, находившиеся в его зависимости. Сын, которого Даль звал почему-то «Ерусланом», поступил потом в Академию художеств и выказал замечательный талант как архитектор. Он особенно отличился по части русской церковной древности; для ближайшего знакомства с нею он много ездил по дальнему северу России, где во многих местах сохраняются еще деревянные древние постройки; к сожалению, он умер в молодых годах, оставив после себя только рисунки и проекты, хранящиеся в библиотеке Академии художеств.

У В. И. Даля одно время явилось не только расположение, но настоятельная потребность писать крошечные

народные рассказы или «повестушки», как он их называл. Он пек их, как блины, задавшись задачей, чтобы каждый рассказ непременно уместился в конце на четвертой странице листа. Как он ухитрялся, не понимаю, но действительно в конце четвертой страницы листа оставалось всегда ровно столько места, чтоб уместить последнюю строчку рассказа. Собрание этих повестушек вышло потом в печати под названием: «Два сорока былинок»[116]. У Даля по четвергам часто встречал я Сахарова, автора сказаний о русском народе, человека грузного, молчаливого, от которого не много можно было чего-нибудь добиться; сочинения его, как это часто, впрочем, бывает, оказались гораздо интереснее самого автора. У Даля познакомился я также с Е. П. Гребенкой и время от времени заезжал к нему. Но уже в то время дом Гребенки начинал изменять характеру простодушной провинциальной простоты, которою, говорили, он прежде отличался. Сам Гребенка продолжал быть по-прежнему радушным и приветливым, но хозяйка дома, наслышась от мужа о посещаемых им литературных салонах князя Одоевского и графа Соллогуба, выбивалась из сил, желая устроить у себя нечто подобное. Раз как-то зашел я утром; Гребенки не было дома; ко мне навстречу выслали его дочь, прелестную девочку лет четырех; прежде чем я успел сказать ей что-нибудь, она уставила на меня хорошенькие черные глазки и проговорила: «Мамаша в бодоаре!» В будуаре! Мало того: потребовалось расписать этот будуар в помпеянском вкусе, как у Соллогуба, и это в квартире из нескольких небольших комнат! Заведены были приемные дни; комнаты накуривались духами до одурения. Литераторов собиралось немного; один Кукольник являлся чаще других по старой памяти. Общество состояло большей частью из военных и франтов средней руки; между последними самая видная роль принадлежала г. Спиглазову, бывшему артиллерийскому офицеру, открывшему папиросную фабрику. Г-н Спиглазов одевался с переслащенною изысканностью, занимал постоянно самые видные места и принимал грациозные, интересные позы. Он до того занят был своею красотой и победоносными свойствами, что, пожелав завладеть сердцем знаменитой тогда примадонны Фреццолини, написал ей письменное объяснение в своих чувствах, прибавив в конце: «Знайте, милостивая государыня, девизом моим всегда было: «Vouloir — c'est pouvoir!» *

* «Желать — значит мочь!» *(фр.)*

IX

Повесть «Антон Горемыка».— Цензура.— Заступничество А. В. Никитенко.— Князь В. Ф. Одоевский.— Салон графа М. Ю. Вельегорского.— Ф. И. Тютчев.— Граф В. А. Соллогуб.

Вторая моя повесть: «Антон Горемыка», написанная следующим летом и также в деревне, была гораздо удачнее первой. Успех ее объяснялся тем, что в ней глубже затрогивалось горькое положение крестьянина под гнетом крепостного права, которое было тогда еще в полной силе. У меня к тому же было больше опытности, план был основательнее обдуман, с простонародным языком и бытом я успел ближе познакомиться.

Повесть эта тем не менее стоила мне такого же труда, если еще не больше, чем первая. Бывали не только часы, но дни, когда, при всем усилии, я не мог положительно написать строчки. Я приходил в совершенное отчаяние, искренно убежденный, что лишился способности писать. Такое состояние знакомо более или менее каждому писателю настолько же, насколько знакомо также то неожиданное нервное возбуждение, когда пишется легко и свободно, без всякого принуждения.

Последнее можно было бы назвать настроением, расположением, пожалуй, вдохновением, если б слова эти что-нибудь определяли. Как объяснить, в самом деле, таинственный процесс, внезапно охватывающий человека во время его работы? Чем объяснить, например, что опытный писатель часто бьется как рыба об лед в бессилии собрать мысли, в бесполезном старании набросать их на бумагу, сочинить иногда складно самое незатейливое простое письмо, и вдруг, без всякого повода, без всякой видимой, внешней причины, к тому же лицу возвращается вся бодрость духа, мысли проясняются, впечатления складываются в живые образы, слова, которые надо было высказать, напрашиваются как бы сами собою?

Поэма, роман, повесть редко выходят в свет такими, как их придумал автор в первоначальном виде. Писателю с призванием как бы заранее дана программа того, что он *должен* исполнить, и, рядом с этим, как бы тайно вложена в него сила, заставляющая исполнить то, что ему предназначено; если произведение пишется в периоды нервного возбуждения, эта внутренняя сила немедленно вступает в права свои; она часто отбрасывает то, что задумано было

прежде, и в результате является неожиданно нечто новое, о чем не было помысла. Пробужденная творческая способность настолько могущественнее воли писателя, что во время ее прилива пишется точно под чью-то настоятельную диктовку, и все, что выходит тогда из-под пера, отмечается чем-то живым, образным, наблюдательным. Такт писателя в том, чтобы при исправлении рукописи уметь сохранить в ней эту свежесть и живость, выраженные как бы помимо его воли.

Те только произведения изящной словесности ценятся высоко и долго переживают век, авторы которых, по мере своих сил, старались «возвести их в перл создания», как выразился Гоголь[117]. Литературные перлы достигаются не только силой избранного таланта, но также трудом неимоверным,— таким трудом, перед которым нам, обыкновенным смертным, остается только благоговейно склонить голову. Между рукописями Гоголя находятся три громадные кипы бумаги большого формата: это — «Мертвые души», три раза переработанные и переписанные его рукою. А сколько еще исписано было других листов и клочков бумаги!.. Возьмите повесть Лермонтова «Тамань»: в ней не найдешь слова, которое можно было бы выбросить или вставить; вся она от начала до конца звучит одним гармоническим аккордом; какой чудный язык, как легко, кажется, написано! Но загляните в первую рукопись: она вся перемарана, полна вставок, отметок на отдельных бумажках, наклеенных облатками в разных местах. Рукописи Пушкина обличают такой же труд; Тургеневу и Толстому не легко также доставалась работа. Тургенев так выражался: «Когда я пишу, я всегда испытываю точно роды». Гете не доверял первым порывам вдохновения, не удовлетворялся в своих произведениях первою редакцией и по нескольку раз принимался за переделку, в видах постепенного усовершенствования написанного; в пьесе «Гец фон Берлихинген» он выбрасывает несколько превосходных сцен потому только, что они кажутся ему не соответствующими всему целому; не раз высказывает он мысль, что художник обнаруживает себя в *ограничении*, то есть отбросе лишнего, и возможном сокращении в пользу силы как выражений, так и самого произведения. Между французскими писателями можно привести в пример Мериме, Флобера, Бальзака. Бальзак — на что уж, кажется, большой писатель! — мученически терзался недоверием к своей работе; он до того исправлял первую корректуру, что приходилось набирать ее снова; при второй корректуре

было то же самое; за нею следовали третья, четвертая и т. д. Биографы Бальзака утверждают, что многие его произведения не приносили ему четвертой доли тех денег, во что обходились ему корректуры. Если бы возможно было отвлеченное понятие изобразить геометрически, этот последний род литературы следовало бы назвать *вертикальным*, так как он проходит вглубь силою своего внутреннего содержания. Другой род литературы, представителем которой служит у французов Дюма, получил бы тогда название *горизонтальной* — быстрой, местами блестящей, но скользящей по поверхности.

Литераторы сороковых годов имели, впрочем, полную возможность писать неторопливо, холить свою работу; большая часть из них состояла из людей более или менее обеспеченных. Вознаграждение за литературный труд не было для них вопросом жизни; оно прибавляло только к существующим денежным средствам. К этому следует также присоединить, что условия жизни были другие; заметно было меньше стремления к комфорту, к удобствам, несмотря на то что к тому и другому приучали с детства домашняя обстановка и воспитание. Постепенно распространяющаяся деятельность печати, возникновение с той поры множества журналов, ежедневных газет, срочных изданий всякого рода по необходимости вызвали потребность в спешной работе. Мало-помалу образовался обширный класс литературных деятелей, для которых литература служила единственным средством существования; волей-неволей надо было покоряться новым требованиям, приучиться к быстрой работе. Против таких тружеников грешно быть взыскательным; не думаю, чтобы нашелся между ними хоть один, которому вынужденная лихорадочная работа была по сердцу; она необходима для удовлетворения иногда суровым требованиям семейной жизни.

Но все это мимоходом, и я прошу извинить меня за длинное отступление. Возвращаюсь к моим воспоминаниям.

В то время, как писалась вторая повесть, я узнал из писем об истории Петрашевского и горькой судьбе Достоевского и Плещеева[118].

Повесть мою предназначал я для «Современника»; перед отъездом моим в деревню и потом письменно Некрасов настойчиво выражал желание, чтобы я печатал ее у него в журнале. Меня, главным образом, привлекала к «Современнику» группа лиц, составлявших тогда редакцию; тут были: Тургенев, Дружинин, Гончаров, Боткин, Панаев.

С повестью «Антон Горемыка» произошел казус, который сразу было подкосил меня на корню. Некрасову и Панаеву она очень понравилась, но не понравилась цензуре, которая остановила ее печатание; она нашла, что бедственное состояние крестьянина представлено в слишком мрачных красках. К счастью моему, близким лицом к «Современнику» был А. В. Никитенко, имевший сильный голос в цензурном комитете. Он горячо взялся за спасение погибающего. Удивляюсь, как в своих воспоминаниях забыл он упомянуть об этом эпизоде, свидетелбствующем об его готовности выручать из беды литераторов[119]. Хлопоты его привели к тому, что повесть решились пропустить, но под непременным условием выбросить из нее последнюю главу. Она кончалась у меня тем, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотреблениями управляющего, зажигают его дом и бросают его в огонь. А. В. Никитенко, не сказав никому ни слова, сочинил конец, в котором управляющий остается неприкосновенным, а возмутившиеся крестьяне, перед тем, чтобы быть отправленными на поселение, каются в своих действиях и просят у мира прощения.

Благодаря этому повесть, за мелкими цензурными вымарками, благополучно вышла в печати[120].

С этого времени круг моих знакомых как между литераторами, так и в светском обществе значительно расширился.

В числе новых знакомых не могу не упомянуть князя Вл. Фед. Одоевского. Его любовь к литературе, его приветливое, ровное обращение со всеми, без различия их звания и общественного положения, собирали на его вечера все, что сколько-нибудь выдвигалось в науке и литературе. Сюда являлись также дамы и мужчины большого света, привлекаемые не столько любознательностью, сколько любопытством и оригинальностью провести вечер в кругу лиц, имена которых знакомы были им по слуху и отличавшихся более или менее своеобразным жаргоном и манерами. Собрания этого рода были тогда новостью. Мысль князя Одоевского соединить, слить светское общество с обществом литераторов и ученых редко удавалась. Светские дамы, обескураженные первыми попытками сближения, оставались охотнее при своих кавалерах; бо̀льшая часть литераторов и ученых, робко косясь в их сторону, старалась незаметно юркнуть мимо, в кабинет хозяина дома, и только там, в дыму сигар и неумолкаемого говора, чувствовала себя в своей сфере.

Князь Вл. Фед. Одоевский,— человек с несомненным литературным дарованием и, кроме того, многосторонним образованием,— отличался вместе с тем детскою наивностью — чертою, над которою многие смеялись, но в глазах других располагавшею к нему еще симпатичнее. Часто самое ничтожное явление принимало в его уме многознаменательное значение и давало повод к сложным выводам и неожиданным заключениям. Раз при мне зашла речь о только что появившихся в Петербурге общественных каретах. Князь Вл. Фед. Одоевский нашел такое нововведение не только полезным для петербургских жителей, но утверждал, что с распространением его по губернским и уездным городам России оно будет иметь важное значение для всего русского народа; задумчиво наклонив голову и таинственно понизив голос по своему обыкновению, он приводил такой аргумент, что дилижансы, отправляющиеся в известный час, приучат мало-помалу русского человека рассчитывать время, чего прежде он не делал по своей беспечности.

Способность все усложнять отражалась даже в устройстве его квартиры; посередине большой гостиной Румянцевского музеума, когда он был там директором, помещался рояль; к нему с одного боку приставлялись ширмы, оборотная их сторона прислонялась к дивану, обставленному столиками и стуликами разного фасона; один бок дивана замыкался высокою жардиньеркой; несколько дальше помещался большой круглый стол, покрытый ковром и окруженный креслами и стульями. От входной двери шли опять ширмы, отделявшие угол с диваном, этажерками и полочками по стенам. Гостиная представляла совершенный лабиринт; пройти по прямой линии из одного конца в другой не было никакой возможности; надобно было проходить зигзагами и делать повороты, чтобы достигнуть выходной двери.

Любовь к науке и литературе дополнялась у князя Одоевского любовью к музыке; но и здесь его преимущественно занимали усложнения, трудности контрапункта, изучение древних классических композиторов. Владея небольшим состоянием, он израсходовал значительную сумму денег на постройку громадного органа, специально предназначенного для исполнения фуг Себастиана Баха, отчего и дано было ему название «Себастианон». Лонгинов, всюду поспевавший и везде находивший повод к глумлению, не замедлил перекрестить «Себастианон» в «Савоську». Особенною сложностью отличалось также

у князя Одоевского кулинарное искусство, которым он, между прочим, гордился. Ничего не подавалось в простом, натуральном виде. Требовались ли печеные яблоки, они прежде выставлялись на мороз, потом в пылающую печь, потом опять морозились и уже подавались вторично вынутые из печки; говядина прошпиговывалась всегда какими-то специями, отымавшими у нее естественный вкус; подливки и соусы приправлялись едкими эссенциями, от которых дух захватывало. Случалось некоторым из гостей, особенно близким хозяину дома, выражать свое неудовольствие юмористическими замечаниями; князь Одоевский выслушивал нападки, кротко улыбаясь и таинственно наклоняя голову. Друг князя Одоевского, Соболевский, человек замечательного остроумия, написал на него стихотворение, которое я здесь выписываю; оно превосходно обрисовывает одну из сторон характера князя Одоевского:

Случилось раз, во время оно,
Что с дерева упал комар,
И вот уж в комитет ученый
Тебя зовут, князь Вольдемар.
Услышав этот дивный казус,
Зарывшись в книгах, ты открыл,
Что в Роттердаме жил Эразмус,
Который в парике ходил.
Одушевясь таким примером,
Ты тотчас сам надел парик
И, с свойственным тебе манером,
Главой таинственно поник.
«Хотя в известном отношеньи,—
Так начал ты,— комар есть тварь,
Но в музыкальном рассужденьи
Комар есть, в сущности, звонарь...
И если он паденьем в поле
Не причинил себе вреда,—
Предать сей казус божьей воле
И тварь избавить от суда!»

«On n'est jamais trahi que par les siens»,— говорит французская пословица, которую можно перевести так: «Друзья на то и существуют, чтобы выдавать друзей своих».

В тогдашнее время в великосветском обществе существовал еще другой дом, в котором точно так же собирались лица большого света и артисты; это был дом графов Вельегорских. Их было два брата: один, превосходно игравший на виолончели, занимал какую-то действительную должность при дворе и редко показывался[121], второй, граф

Михаил Юрьевич, играл на фортепиано и сочинял романсы. Ему было тогда под шестьдесят. Тонкие черты, сохранившиеся, несмотря на ожирение лица, с первого взгляда приводили на память портрет знаменитого композитора Россини; сходству прибавлял завитой, несколько встрепанный парик, постоянно косивший в ту или другую сторону; жирный двойной подбородок глубоко уходил в галстук, обмотанный несколько раз вокруг шеи и принимавший издали вид жабо. Он был среднего роста, тучен, держался прямо, выступал плавно, сильно напирал в разговоре на букву *р* и своею утонченною вежливостью, своей манерой напоминал французских маркизов прошлого столетия. Так же, как князь Одоевский, он не делал никакого отличия между лицами, посещавшими его гостиную; первый сановник и бедный пианист встречались им совершенно одинаково. Музыкальный элемент и преимущественно иностранный преобладал в его доме. Он получал даже от министерства двора известную сумму для покровительства и поддержки иностранных артистов, приезжавших в Петербург. В его гостиной, раз в неделю, в назначенный день, можно было встретить всех знаменитых певцов, композиторов, актеров и также светских и придворных дам. Разговор происходил почти исключительно на французском языке. Постоянным посетителем этих вечеров был известный поэт Ф. И. Тютчев, прославившийся также едкостью своего остроумия. Можно было бы составить целый том из того, что сказано было Тютчевым, и том этот мог бы с успехом занять место между сочинениями известных остроумцев прошлого столетия Шамфора и Ривароля. Но мы вообще мало дорожим своим добром, ничего почти не собираем и не приберегаем, и часто у нас зря пропадает то, что служит богатым вкладом в иностранной литературе.

Запевалой на вечерах графа Вельегорского был граф Фредро, племянник польского драматического писателя,— натура в высшей степени даровитая, артистическая, изобретательная, подвижная; он здесь, как и везде, куда ни являлся, сообщал веселость своими bons-mots, экспромтами, мастерством рассказывать забавные анекдоты. Если б графа Фредро можно было бы разложить химически, разлить его выжимку в склянки и дать выпить одну десяти французам, другую десяти англичанам, каждый из них непременно бы заявил себя чем-нибудь в том или другом роде; из графа Фредро ничего не вышло: он умер в глубокой бедности, не оставив следа своего существования.

Другим запевалой в доме графа М. Ю. был его зять, граф В. А. Соллогуб, знакомый всем литератор, также замечательно одаренный, но также, сравнительно с его блестящими способностями, меньше сделавший, чем бы следовало ожидать. Графа Соллогуба недолюбливали в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайнею неровностью в обращении: сегодня — запанибрата, завтра — как бы вдруг не узнает и едва протягивает руку. К нему можно было бы относиться снисходительнее за его горячую любовь к отечественной литературе. В доме тестя он был полезен уже тем, что вносил туда русский дух, русскую речь и интерес к русской литературе — интерес, часто отсутствовавший благодаря наплыву иностранцев. Стоило явиться молодому даровитому писателю, граф Соллогуб не давал ему покоя, пока не приведет его в гостиную графа Вельегорского; явится ли новое выдающееся произведение, граф Соллогуб спешил познакомить с ним общество и с этою целью собирал у тестя избранный кружок слушателей. Чтец он был превосходный; редкий автор, читая свое произведение, мог выразить все тонкости, подчеркнуть с таким искусством счастливые места и мысли, как делал это граф Соллогуб. Таким образом читал он, между прочим, комедию Островского «Банкрот» («Свои люди — сочтемся») до появления ее в печати[122].

Домашняя обстановка у графов Вельегорских была не так затейлива, скромнее, чем у князя Одоевского, даром что первые были значительно богаче. Вечером к ужину часто подавался початой окорок или ростбиф, простой медок и жареный картофель с луком. Но в то время даже в высшем свете не было той взыскательности, какая существует теперь благодаря случайному богатству и тщеславию лиц, случайно также сделавшихся членами высшего общества; простоту обстановки не думали осуждать; напротив, с нею исчезала натянутость, всем было как-то легче и веселее.

X

И. А. Гончаров.— Семейство Майковых.— Ужин в Москве у Н. Ф. Павлова.— Н. П. Огарев.— В. П. Боткин.— Редакция «Современника» и редакция «Отечественных записок».— А. А. Фет.— А. А. Краевский.

В кругу литераторов, составлявших редакцию «Современника», я скорее всего сошелся с В. П. Боткиным и А. В. Дружининым, только что напечатавшим повесть

«Полинька Сакс»[123]. С И. А. Гончаровым я познакомился несколько раньше у Майковых. Гончаров считался у Майковых «своим»; их связь была давнишняя; она началась еще в тридцатых годах. Приехав в Петербург и поступив на службу в таможенное ведомство, Гончаров и не подозревал в себе будущего писателя. Скромность мнения о себе доказывается тем, что рукопись первого его романа «Обыкновенная история» пролежала у приятеля Панаева, М. А. Языкова, более года, не вызвав никакого протеста со стороны автора[124].

После того как «Обыкновенная история» была напечатана, с Гончаровым произошло то же превращение, как с Достоевским после выхода в свет «Бедных людей»[125]. Неожиданность успеха, похвалы Белинского вскружили ему голову. Но Гончаров был едва ли не на десять лет старше Достоевского; он успел обжиться между людьми, научился управлять своими чувствами настолько, чтобы скрывать развившееся болезненное самолюбие; этому отчасти помогала также холодность его темперамента. На вид он продолжал казаться скромным, говорил мягко и вкрадчиво. В течение многих лет, как мы его знали, никто из нас никогда не слыхал от него похвалы чужому произведению; когда в его присутствии хвалили что-нибудь явившееся в литературе, он обыкновенно отмалчивался. По мере того как с каждым новым произведением Тургенева имя его приобретало больше известности, Гончаров стал явно ему недоброжелательствовать и от него отдаляться.

Его история с автором «Записок охотника» лучше всего доказывает, в какой степени успехи Тургенева тревожили Гончарова.

Раз — кажется, у Майковых — рассказывал он содержание нового предполагаемого романа, в котором героиня должна была удалиться в монастырь; много лет спустя вышел роман Тургенева «Дворянское гнездо»; главное женское лицо в нем также удалялось в монастырь. Гончаров поднял целую бурю и прямо обвинил Тургенева в плагиате, в присвоении чужой мысли, предполагая, вероятно, что мысль эта, драгоценная по своей новизне, могла явиться только ему, а у Тургенева недостало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти до нее. Дело приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд, составленный из Никитенко, Анненкова и третьего лица — не помню кого[126]. Ничего из этого, конечно, не вышло, кроме смеху; но с тех пор Гончаров

перестал не только видеться, но и кланяться с Тургеневым.

Во всей русской литературе не найдется человека счастливее Гончарова. Бранью осыпали Пушкина и Гоголя; в шестидесятых годах вошло в моду поносить Тургенева, и как еще! С легкой руки Белинского Гончаров во всю свою жизнь слышал одни только похвалы. Избалованный критикою и опасаясь, вероятно, чтоб на будущее время она не принялась толковать по-своему его произведения, он под конец сам взялся объяснять их значение. Обломову он придал тот смысл, что в нем хотел изобразить тяжеловесную сонливость русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема. Задача характера Обломова целиком между тем выражена в лице помещика Тентетникова во второй части «Мертвых душ», не будь Тентетникова, не было бы, может быть, и Обломова. В безусловном поклонении произведениям Гончарова скрывается доля какого-то непонятного лицемерия,— боязнь смело высказать свое мнение. Сколько раз случалось мне говорить с приверженцами Гончарова и просить их откровенно сказать, много ли раз перечитывали они от начала до конца «Обыкновенную историю» и «Обрыв»; большая часть признавалась, что ни разу не перечитывала этих романов; другие признавались, что начинали перечитывать, но показалось как будто что-то скучновато... В результате, изо всего написанного Гончаровым остается «Сон Обломова» — действительно прекрасное литературное произведение[127], но разве в сочинениях Толстого и Тургенева не найдется произведений настолько же прекрасных в литературном и художественном отношении?

Лет за десять до своей кончины Гончаров, как будто чем-то обиженный и недовольный отношением со стороны литературных товарищей, стал от них отдаляться; к нему также заметно охладели; в последние годы он перестал даже посещать старинных своих друзей Майковых и окончательно замкнулся.

В семействе Майковых я не застал уже в живых сына Валерьяна Николаевича, пристроившего с такою готовностью первую мою повесть; другой сын, Аполлон Николаевич, вернувшийся из путешествия по Италии, пользовался уже большою известностью как поэт; третий сын, Леонид Николаевич, теперешний академик, только что надел тогда гимназическую форму.

Редко можно было встретить более патриархальное семейство. Отец Ник. Апол. принадлежал к числу людей,

о которых говорят: «Не от мира сего»,— но только в лучшем смысле. Как теперь вижу его прекрасное старческое лицо, с падающими вдоль щек длинными поседевшими волосами, перевязанными на лбу ниткой, чтоб они не мешали ему работать; день свой проводил он в мастерской перед мольбертом с кистью в руке; письмо его отличалось мягкостью и колоритом, напоминавшим старых венецианских мастеров. Лучшими его произведениями можно считать плафоны в доме княгини Юсуповой. Ум и артистические наклонности матери семейства, Евг. Ник., много способствовали к передаче детям эстетического чувства и любви к литературным занятиям. В то время, как я стал бывать у Майковых, вся семья от мала до велика находилась под обаянием итальянской оперы, только что открывшей свои представления. И точно, было чем увлечься. Труппу составляли такие великие артисты, как Жулия Борзи, г-жи Виардо, Рубини, Лаблаш, Тамбурини и другие певцы и певицы с менее громкими именами, но также весьма хорошие. Но музыка шла своим чередом, литература — своим; раз в неделю, вечером, в небольшой, но изящно убранной гостиной Майковых можно было всегда встретить тогдашних корифеев литературы; многие являлись с рукописями и читали свои произведения. Вечер кончался ужином, приправленным интересною одушевленною беседой.

Зиму 1847 года провел я в Петербурге и написал для «Современника» рассказ «Бобыль» [128]. Трудность, с какою достался мне этот небольшой рассказ, убедила меня, насколько уже деревенская тишина и спокойствие домашней жизни успели избаловать меня; баловство это сделалось со временем такою необходимостью, что, несмотря на все мои старания и опыт, я никогда уже не мог потом страницы написать в Петербурге.

Проездом через Москву я отправился с письмом от Даля к М. П. Погодину и у него встретился с Н. Ф. Павловым, который настоятельно потребовал, чтоб я навестил его.

Н. Ф. Павлов, начавший свое поприще чуть ли не статистом в балете, написал, бывши еще молодым человеком, три повести, наделавшие много шуму по их содержанию и вследствие их временного запрещения [129]. В него, говорили, влюбилась весьма экзальтированная барышня Яниш и сама предложила ему руку и сердце; у нее была страсть писать стихи, но что было еще лучше для Н. Ф. Павлова, она владела значительным состоянием. Женившись, Пав-

лов сделался членом английского клуба, стал вести большую игру и зажил московским барином в доме жены, на Рождественском бульваре.

Меня представили хозяйке дома, даме высокого роста, костлявой, с лицом, напоминавшим скорее лицо энергического мужчины, чем женщины. Не прошло получаса после обычных любезностей, она уже читала мне и двум-трем сидевшим тут лицам свои стихотворения, отличавшиеся больше красивыми созвучиями слов, чем поэтическим содержанием. Читала она нараспев, сохраняя меланхолическую позу, но в сильных местах неожиданно выпрямлялась и судорожно потряхивала головой. Она искренно была уверена, что возвышенные, исключительно даровитые натуры, к каким себя причисляла, не долговечны, и часто напоминала о скором своем конце. Рассказывали, что Грановский, которому надоело слушать такого рода сетования, сказал ей однажды: «Каролина Карловна, когда же вы наконец умрете?» Два дня спустя я приглашен был на вечер и остался ужинать. К ужину явилось еще несколько новых лиц. Н. Ф. Павлов, человек маленького роста, необыкновенно живой, седенький, с больными, постоянно моргавшими глазами, и каждую минуту подносивший к носу щепотку табаку, знакомил меня с каждым, не забывая при этом называть мои повести и выхвалять их не в меру. К концу ужина хозяева предложили тост за мои дальнейшие успехи; присутствующие вторили хозяевам. Не ожидая такой овации и чрезвычайно ею польщенный, я не переставал чокаться и, сам не замечая, осушал бокал за бокалом; кончилось тем, что у меня от непривычки к таким угощениям помутилось в глазах, и я потерял сознание настолько, что не помнил, как я вышел из гостеприимного дома и кто провожал меня. Случай этот был первый и единственный в моей жизни.

Утром просыпаюсь в незнакомой комнате; луч солнца бьет из окна. Передо мною, на кровати, прислонившись спиною к пирамиде подушек, сидит незнакомый господин с мелко-курчавыми белокурыми волосами и такою же бородой. Перед ним, на гладко выровненном одеяле, большой поднос, уснащенный котлетами и чайным прибором.

— А! — восклицает он мягким голосом,— вы проснулись, и хорошо сделали... Вчера я и Боткин приехали к Павловым к концу ужина,— вы были прекрасны, нечего сказать! Я захватил вас оттуда и привез к себе... Знаете ли, и Боткин здесь! — закончил он, указывая на соседнюю дверь.

Господин этот был не кто другой, как Николай Платонович Огарев, известный поэт и друг Герцена[130].

Вскоре вошел Боткин, и я поехал к нему завтракать.

При жизни отца В. П. Боткин пользовался более чем скромным помещением в небольшой надворной пристройке; он занимал в ней тесную комнатку внизу и другую над нею, служившую ему спальней. Утонченный сибарит и эпикуреец впоследствии, долго не находивший сигар по вкусу, Боткин с удовольствием тянул тогда из коротенького чубука «Жуков» табак или «Жуковину», как говорили[131]. Он провел меня через двор, в большой дом, куда собиралась вся многочисленная семья к завтраку и обеду.

Отца Боткина мне случилось видеть всего раза два, и то мельком, и потому не могу сказать, оправдывал ли он репутацию семейного деспота. Наконец, это и не интересно. Бывая потом у Боткина, всякий раз проездом из деревни, и уже после кончины их отца, я имел случай убедиться, что если в доме был деспот, то это был сам Василий Петрович Боткин. Однажды, за обедом, на котором, кроме меня, присутствовало несколько университетских приятелей Боткина, один из братьев ни с того ни с сего вмешался в разговор. «Вы глупы, Ваничка, глупы! Чего вы суетесь? Молчали бы лучше!» — проговорил В. П., обращаясь в его сторону. Он пользовался в семье не только правами старшего брата, но и руководителя в воспитании остальных членов семейства. Вся семья была ему действительно многим обязана. Умный, с тонким, развитым вкусом, много учившийся, много переживший в кругу образованных и талантливых людей, как Герцен, Грановский, Станкевич, Корш и другие, он много способствовал развитию братьев, заставляя их учиться, направляя в разные учебные заведения. Одного не мог он сделать: уровнять сколько-нибудь свой собственный характер; его неожиданные переходы от нежности к резкости, от умиления к беспричинному быстрому раздражению поистине были изумительны. Он, например, искренно был привязан к Панаеву и любил его, а между тем на каждом шагу казнил его. «Ты, Ваня, милый, милый...» — говорил он, нежно гладя его ладонью по плечу, и вдруг, точно вспомнив о чем-то, отходил и подхватывал с озлобленным шипеньем в голосе: «Но ты, брат, и Некрасов — оба вы невежды, ничему не учились, ничего вы не знаете... Но тебя я люблю; у тебя, Ваня, доброе сердце, ты милый, милый, я люблю тебя!» — и снова голос переполнялся елеем и начиналось нежное ласканье по плечу.

Увидав раз на столе Панаева раскрытый том какого-то древнего классика, переведенного на французский язык, Боткин пришел в восхищение и начал обнимать его, но не прошло минуты, он вдруг зашипел и начал браниться, уверял, что том этот положен тут вовсе не ради любознательности, а только для виду, из одного хвастовства.

Ко всем этим выходкам так уж все привыкли, что никто не думал обижаться; все только смеялись.

Недаром Тургенев прозвал Боткина «Анчаром»; не помню всей эпиграммы, помню только последние строчки:

К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Один Панаев набежит
И, корчась в муках, дале мчится...[132]

Но к Боткину я не раз еще возвращусь.

Поселившись в деревне, я одну за другою написал несколько повестей для «Современника», «Москвитянина» и «Библиотеки для чтения», уже под редакцией Дружинина[133]. Ближайшие мои связи были все-таки с «Современником» благодаря старому знакомству с Некрасовым, симпатии к Панаеву и другим лицам кружка, о которых я упоминал прежде. Все мы были почти одних лет, интересовались одним и тем же предметом. Редкий день не сходились мы в редакции, помещавшейся тогда на Невском, наискосок от Надеждинской, как раз против деревянного надворного дома, в котором жил Булгарин.

Главный недостаток редакции состоял в том, что не было у нее настоящего главы, настоящего руководителя. Некрасов был, бесспорно, умнее всех нас в практическом отношении, но этого было еще недостаточно; ему недоставало образования настолько, чтобы вести как следует такое предприятие. Он не знал ни одного иностранного языка и не был вовсе знаком с иностранною литературою. Панаев также не пользовался авторитетом; он, кроме того, был слишком мягкого, уступчивого нрава, легко поддававшегося всякому влиянию; Тургенев жил за границей или в деревне и наезжал случайно; о Боткине думать было нечего, он всегда тщательно избегал всякой ответственности и уже по одному эгоизму не взял бы на себя такой роли. Дружинин сделался редактором «Библиотеки для чтения», взяв себе в помощники молодого литератора-поэта, П. И. Вейнберга[134]. «Современник», можно сказать, держался своим первоначальным успехом и товарищескими отношениями между редакторами и сотрудниками. Чтобы окончательно прикрепить последних к «Современнику»,

практический ум Некрасова придумал следующее: со многими из нас,— в том числе и со мною,— заключено было нотариальное условие, в силу которого постоянные сотрудники получали, сверх заработной платы, известный процент с каждого напечатанного ими листа.

Когда в зимнее время случалось персоналу редакции сходиться вместе и все более или менее чувствовали себя в хорошем настроении, происходило нечто такое, чего мне ни на какой литературной сходке, ни в каком собрании не приводилось потом видеть. Неровности характера и мелкие временные несогласия как бы оставались при входе вместе с шубами. К серьезным литературным прениям присоединялись острые замечания, читались юмористические стихотворения и пародии, рассказывались забавные анекдоты; хохот шел неумолкаемый. Когда Тургенев был в хорошем расположении духа, невозможно было найти более веселого, остроумного собеседника. Раз, посреди оживленного разговора, Панаев, который в это время ухаживал за какою-то важною кокоткой, но пока не мог еще добиться взаимности, сделался неожиданно молчаливым и впал в глубокую задумчивость; заметив это, Тургенев дал знак молчания, указал глазами на Панаева и, обратясь к нему, продекламировал меланхолическим тоном:

Ты любишь, русский, ты любим,
Понятны мне твои страданья...[135]

Взрыв хохота прервал его. Панаев, как умный человек, не обиделся и смеялся вместе с нами.

Редакция «Отечественных записок» имела совсем другой характер. Между сотрудниками не существовало товарищеской связи; многие из них не были даже между собой знакомы. Сюда нельзя было приходить когда вздумается, собираться и проводить время в праздных беседах; сотрудники являлись каждый отдельно, только по делу и в известные часы. Вечера, имевшие целью сближение сотрудников, начались у А. А. Краевского несколько позже. На эти вечера,— для их оживления, вероятно,— приглашались дамы, принадлежавшие к артистическому кругу и большею частью все одни и те же. Положение этих дам было весьма не завидно; они усаживались обыкновенно в зале на диване у входной двери, в надежде провести несколько часов в интересной беседе с литераторами, но последнее никогда почти не удавалось. Литераторы входили, торопливо как-то, вбок, раскланивались и стремительно шмыгали в кабинет редактора, помещавшийся в глубине

залы; из растворенной двери кабинета вырывался к потолку клуб табачного дыма, проносился громкий говор, дверь захлопывалась, и дамы оставались одни.

Женское общество имело всегда свойство привлекать меня; я познакомился с дамами Краевского и, прежде чем пройти к нему в кабинет, всегда к ним подсаживался.

Раз сидим мы, входная дверь растворяется и пропускает величественную фигуру кирасира; шагнув вперед, он торопливо со мною поздоровался, брякнул шпорами, сделал поклон дамам и, выгнув молодецки спину, быстро направился в кабинет.

— Кто это? — спросила меня хорошенькая моя соседка г-жа Л.

— Это Фет.

— Кто такой Фет?

— Известный наш поэт.

— В каком роде? — продолжала расспрашивать любознательная дама.

— Как бы вам объяснить? В самом тонком, неуловимо-поэтическом роде...

— Это как Вальтер Скотт?

— Да, приблизительно,— отвечал я, поглядывая на двух других дам, которые едва удерживались от смеху.

С А. А. Краевским я познакомился в 1846 году; с тех пор я не прерывал с ним знакомства до года его кончины; знакомство наше продолжалось, стало быть, более сорока лет. В течение этого долгого периода времени я никогда не мог объяснить себе в точности, на чем, собственно, основывалась к нему ненависть Панаева и лиц, ему близких. Недоброжелательство Некрасова имело причиной соперничество, не больше, было отражением того, что чувствовали лица его лагеря. Тут, без сомнения, замешивались личные домашние причины, которые были мне неизвестны.

В тех слухах, которые распространяли в известном кружке насчет Краевского, было много пристрастного и преувеличенного. Главным обвинительным пунктом выставлялось всегда то, что Краевский был угнетателем, эксплуататором Белинского. Если считать угнетением, что Краевский выдавал Белинскому в год только шесть тысяч и не больше, обвинение падает само собою. Во-первых, шесть тысяч в то время имели такое же значение, как теперь двенадцать; говорили, что Краевский не в состоянии был понимать Белинского,— и это несправедливо. Надо было высоко ценить его сотрудничество, чтобы стараться, как старался Краевский, пригласить его в свой журнал

и платить ему шесть тысяч в такое время, когда сам Краевский не успел еще выпутаться из долгов и принужден был ежемесячно выпускать толстый том «Отечественных записок», в которых каждый лист оплачивался сотрудникам. Разлад Белинского с Краевским произошел вовсе не из-за шести тысяч; этому помогли друзья, возбуждавшие его против Краевского и желавшие переманить его на свою сторону.

Говоря по совести, в обращении Краевского мало было привлекательного; то, что называется приветливостью, у него вполне отсутствовало; говорил он мало, отрывисто, не любил праздных слов, прямо, без обиняков, без любезностей приступал к делу,— словом, не обладал качествами, располагающими с первого взгляда к человеку. За этою несколько бирюковатою внешностью скрывалось, однако ж, очень доброе сердце. Краевского прославили кремнем, скаредом, жадным к деньгам; но разве те, которые ставили это ему в вину, сами считали деньги презренным металлом и от них когда-нибудь отказывались? Краевский, как все люди, достигшие благосостояния трудом, знал цену деньгам и не бросал их, но от этого далеко еще до жадности и скаредничества. Я знаю за ним немало добрых дел; знаю лиц, которые распускали про него самые гнусные клеветы и в то же время не стыдились прибегать к нему. Обращаюсь к совести тех из них, которые еще живы: часто ли случалось уходить им от Краевского с пустыми руками?

XI

Роман «Проселочные дороги».— Новые цензурные затруднения.— Мои соседи по деревне: С. Н. Мосолов и семейство графа N.— Роман «Рыбаки» и дальнейшие литературные работы.

С каждым годом я более и более привязывался к своему углу в деревне. Когда работа завлекала и затягивалась, нередко случалось мне проводить в нем часть зимы, иногда — целую зиму. Многое поэтому из того, что совершалось в эти периоды времени в литературных кружках Петербурга, было мне неизвестно или доходило до меня частью из писем, частью по слухам; упоминать об этом значило бы повторять то, что было сказано в воспоминаниях других лиц, и рассказывать о том, чему я лично не был свидетелем.

. . . .

Мне давно хотелось попробовать свои силы в работе большего размера. Я набросал план пространного романа из провинциального быта, сообщил об этом письменно Краевскому и вскоре получил ответ с просьбой поместить роман в «Отечественных записках», на что я охотно согласился.

Писать вторую часть романа в то время, как печатается первая часть, было для меня невозможно; одна мысль об этом парализировала мои способности, лишала меня той энергии, которая необходима, когда дело идет о большой, продолжительной работе. Я решил написать весь роман и печатать его не прежде, чем окончу последнюю главу. Я писал его более года, в течение зимы и лета не выезжая из деревни.

С печатанием романа «Проселочные дороги» вышла почти такая же история, как с повестью «Антон Горемыка»,— цензура остановила его после первой части; предлог на этот раз был тот, что дворянство выставлялось здесь в слишком карикатурном виде и этого допустить было невозможно. После долгих и неуспешных переговоров Краевского с цензором меня надоумили обратиться лично к Мусину-Пушкину, тогдашнему попечителю и управляющему цензурой. Мусин-Пушкин, человек мрачного и желчно-раздраженного вида, принял меня, однако ж, довольно милостиво. Убедившись, вероятно, из моих объяснений, насколько я был далек от намерения осмеивать русское дворянство, он согласился дозволить печатание романа, но с тем условием, чтобы я вставил страницу, в которой было бы сказано, что все лица романа принадлежат исключительно к поэтическому вымыслу, не больше, как преувеличенная карикатура против существующей действительности. Страница была написана, приложена к тексту, и роман продолжал печататься.

Но этим еще не кончилось. С печатанием почти каждой главы приходилось ездить в Екатерингоф на дачу к Фрейгангу, тогдашнему цензору «Отечественных записок». Его метода состояла в том, чтобы преследовать все, что сколько-нибудь давало жизнь, одушевляло описываемое лицо или даже картину природы. «Солнце, склоняясь к западу, ярко освещало купола церквей». «Гм... ярко...— говорил Фрейганг,— скажите, пожалуйста, зачем тут: ярко?.. Слово это, поверьте, ничего не прибавляет... У вас и без того так прекрасно описано...— подхватывал он тоном весельчака,— или еще здесь: у него нос похож был на перезрелую сливу... Фи, перезрелая слива! Неужто вам самим не противно? Фи, фи!.. Воля ваша, я не могу этого про-

пустить. Замените это чем-нибудь другим. У вас, мой любезнейший, один господин назван Солонеевым,— это невозможно; я лично знаком с двумя Солонеевыми. Они могут принять на свой счет, могут оскорбиться... Придумайте другую фамилию. Чтобы покончить с этим, я зачеркну Солонеева. Но оставим это... Сейчас два часа... Смотрите отсюда с балкона на взморье... Сию минуту г-жа Дюр выйдет на берег купаться, как некая Фринея... Возьмите со стола бинокль...»

Фрейганг, думая умаслить авторов своим веселым видом, своими шуточками и паясничеством, достигал всегда обратного результата: его мелочная, бессмысленная и безапелляционная придирчивость действовала на каждого раздражительнее, чем суровые, молчаливые приговоры других цензоров.

Единственным вполне просвещенным и расположенным к литературе был цензор Бекетов (однофамилец нашего товарища по инженерному училищу); его посчастливилось достать «Современнику». Разумное отношение к печати, часто смелость Бекетова объяснялась отчасти также его близким родством с Мусиным-Пушкиным.

После выхода в свет романа «Проселочные дороги» начал распространяться слух, будто я описал в нем самым бесцеремонным образом помещиков своего уезда и насмешками отплатил им за их хлеб-соль[136]. Слух этот вышел из московского литературного кружка, куда случайно затесался один из жителей уезда; он думал этой сплетней подыграться, угодить своим знакомым, зная их нерасположение к петербургским литераторам.

Не в оправдание, но для восстановления истины должен сказать: во всем романе нет ни одного лица, *целиком* списанного с натуры. Я был настолько уже опытен, чтобы знать, что портреты, взятые прямо с живых лиц, никогда не удаются в литературе; существующее лицо может дать намек на характер, но только намек; вполне жизненные типы и характеры получаются от слияния намека с однородными ему чертами, встреченными у разных лиц. Не мог я также отплатить насмешкой за мнимое хлебосольство по другой причине: знакомство мое в уезде было самое ограниченное; много, если я бывал у трех соседей, с которыми виделся всего раз или два в год.

Чаще всего я ездил в дальний конец уезда, к Мосоловым, жившим, подобно мне, своею особою жизнью и также мало с кем водившим знакомство. Помимо личных симпатий, меня привлекала к ним артистическая атмосфера,

страстная любовь к художеству хозяина дома. С. Н. Мосолов владел знаменитою картинною галереей в Москве, на Лубянке; отправляясь в деревню, он брал с собой только собрание своих гравюр, также весьма ценное. Привязанный к своей коллекции, как к родному детищу, он редко выезжал из дому; но стоило ему получить известие из Лейпцига или Парижа о продаже собрания гравюр, он немедленно укладывался и летел за границу. В жару аукциона ему ничего не стоило заплатить тысячу талеров за редкий оттиск гравюры Рембрандта, любимого его мастера. В деревне у него был печатный станок; видя, как он и его сын гравировали крепкою водкой и печатали, я невольно соблазнился примером, начал у них учиться и награвировал несколько копий с Остада и Бега. Сын С. Н. Мосолова сделался потом настоящим гравером; его издание с эрмитажных картин Рембрандта знакомо всем любителям как в России, так и за границей[137].

Другое семейство, куда я также довольно часто ездил, было семейство старого аристократа, графа N[138]. Его имение находилось от меня всего в восьми верстах. Я прежде не посещал его, так как он и его семья редко наезжали в деревню, а когда наезжали, то на самый короткий срок. Их взгляд на сельский быт и самый образ жизни в деревне отличались большою оригинальностью.

Первая забота после приезда состояла в том, что каждый член семейства отгораживал в своей комнате довольно значительное пространство, обтянутое кисеей, чтобы предохранить себя от пауков, комаров, пчел, мух и других беспокойных и ядовитых насекомых. Успокоив себя на этот счет, все принимались деятельно *хозяйничать:* обивать беседки парусиной с украшениями, вырезанными из кумача, составлять изящные букеты и расставлять их по комнатам, составлять из плюща и других вьющихся растений маленькие красивые арки и т. д.

Старика графа занимали больше серьезные статьи по хозяйству: хороши ли будут в нынешнем году дыни? Начинают ли подрумяниваться персики? Много ли нынешний год родится спаржи?

Когда старый граф выходил из своего кисейного прикрытия и садился у окна, за спинкой его кресла всегда можно было видеть его управляющего, маленького, седенького старичка, носившего неизменно синий сюртук и туго накрахмаленный белый галстук. «Есть ли у нас достаточно цыплят, Иван Васильевич?» — спрашивал граф. «Чего у нас нет, ваше сиятельство, чего у нас нет!» — вос-

хищенно и вздрагивая всеми членами, отвечал всегда управляющий. «Зачем, Иван Васильевич, вы всегда так говорите графу? — спрашивал я его, когда мы оставались вдвоем.— Вы ведь очень хорошо знаете, что у вас нет того, что граф требует».— «Знаю-с, очень хорошо знаю-с,— отвечал всегда Иван Васильевич,— но, верите ли, как только вспомню, что граф изволит кушать чай с государем, на меня такой страх нападает,— сам не помню, что говорю... стараюсь только успокоить его сиятельство...»

Раз приезжаю я к N. в воскресный день. Весь народ в праздничных одеждах и наполняет сад; по аллеям расставлены новые складные лестницы; по их ступенькам подымаются и спускаются бабы и девчонки; на соседних лужайках разостланы простыни с ворохами липового цвета; по аллеям с озабоченным видом прогуливаются дамы в широких соломенных шляпах и их дети; наконец, тяжело расхаживает сам граф.

— Что это? — спрашиваю я, обводя глазами все пространство аллеи.

— Хорош сельский житель,— воскликнул граф, указывая на меня дамам,— хорош: спрашивает, что это? Разве вы не знаете,— продолжал он, обращаясь уже ко мне,— что липовый цвет — важная хозяйственная статья дохода? Липовый цвет, когда просохнет, лучшее потогонное средство, и в нем нуждаются все аптеки... Хорош, хорош сельский житель, нечего сказать!..

Я узнал потом от управляющего, что из собранного липового цвета с трудом продан был фунт за полтинник в зарайскую аптеку; остальное свалено в сарай, где и сгнило.

Когда я коснулся того, что сегодня праздник и в эти дни народ обыкновенно не работает, на меня ожесточенно напали дамы; меня обвинили в закоснелом предубеждении против наивной и, слава богу, существующей еще патриархальности народа, ищущего только случая, как бы угодить своим господам.

Перед отправлением в Москву, куда призывала его коронация императора Александра II, старый граф рассказал нам случай с ним, который настолько характеризует его самого, что я тогда же записал его и теперь решился вставить в свои воспоминания. «Государь император Николай Павлович был всегда ко мне милостив,— так начал граф.— Раз приезжает ко мне курьер с приказанием немедленно явиться во дворец. Одеваюсь, еду. Зовут в каби-

нет. «Сейчас,— сказал мне государь,— получено известие из Рима: жена твоя опасно заболела... Но успокойся: я предупредил твоего брата; все готово к твоему отъезду; поезжай с богом, не теряя времени. Когда приедешь в Рим и успокоишься,— надеюсь, все кончится благополучно,— ты отправишься в Ватикан и лично от меня передашь папе эту бумагу»,— добавил государь, передавая мне объемистый конверт. На следующий день я был в дороге. Болезнь жены не выходила у меня из головы; понимаете, в каком я находился состоянии (известно было, что между ним и графиней существовал давнишний разлад). Под влиянием беспокойства я ехал, нигде не останавливаясь; так доехал я до Флоренции. При выезде из этого города, у самых ворот, встречаю я молоденькую красавицу-флорентинку с корзиной, наполненной вишнями; вишни необыкновенные: сочные, крупные, точно сливы. Я всегда любил фрукты; я остановил коляску, купил всю корзинку и положительно начал объедаться. Спустя некоторое время я подумал, однако ж: если я буду так продолжать, то испорчу себе, во-первых, желудок; во-вторых, и самые вишни скоро исчезнут. Я вынул тогда маленькую записную книжку и принялся высчитывать, сколько вишен следует съесть в час, чтоб их достало до Рима. Болезнь жены продолжала, однако ж, сильно меня тревожить; она положительно отравляла удовольствие путешествия...

Я уже подъезжал к Риму, как вдруг, на каком-то повороте, навстречу летят две коляски с молодыми людьми, поющими песни; это были наши русские художники; они отправлялись в загородную экскурсию; двое из них узнали меня, остановили своих лошадей и быстро соскочили, спеша сообщить мне приятную новость: им известно было из посольства, что графиня совершенно вышла из опасности; не далее как накануне ей разрешено было встать с постели. Успокоенный на этот счет, я присоединился к молодежи и отправился с ними. Знаете, я сам был тогда молод (ему уже было тогда за сорок лет) и легко увлекался; к тому же это были такие славные ребята, такие весельчаки... Мы, на радостях, признаться, изрядно тогда подкутили. Доброе итальянское винцо, этот козий сыр с пикантным вкусом,— все это, понимаете, располагало... Беспокойство насчет графини все-таки меня не оставляло. Переночевав в загородной остерии, я на другой день рано утром поехал в Рим. Слава богу, я нашел там все благополучным: графине было гораздо лучше. Я наскоро вытерся льдом, взял конверт, порученный государем, и, не теряя

минуты, отправился в Ватикан. Меня ввели в просторную комнату,— как теперь помню,— выкрашенную серою краской; полузакрытые ставни распространяли повсюду приятный полусвет; было прохладно; в комнате носился запах лимона... Вошел папа; я почтительно подал ему конверт; он усадил меня в ближайшее кресло, раскрыл конверт и начал читать. Не знаю, что произошло со мною; был ли я очень утомлен после дороги, вчерашняя ли встреча с художниками, только глаза мои сомкнулись, ноги вытянулись, и я крепчайшим образом заснул перед святым отцом...»

На этом рассказ его остановился; что дальше происходило, он не сообщал слушателям.

Роман «Проселочные дороги» не имел успеха[139]. Я сам был им недоволен. Я понадеялся чересчур на свои силы, вообразив, что могу писать, не стесняя себя беспрестанными поправками и переписыванием по нескольку раз одного и того же, как я делал это до сих пор; много виновато было также мое неуменье в распределении материала; более опытный литератор выкроил бы из него два-три романа. Но нет худа без добра. Неудача возбудила во мне неодолимое желание написать новый роман и на этот раз отложить всякую самонадеянность, возвратиться к старой моей методе. Сюжета нечего было долго искать: он был перед глазами и сам напрашивался.

В последние годы в нашем Приокском крае усиленное развитие фабричного миткалевого производства заметно вредило не только хлебопашеству, но нарушало в крестьянском семейном быту патриархальные нравы, которые я застал еще в юности. В деревнях стали появляться молодые щеголи, в жилетке поверх рубашки, в фуражке с козырьком, высоких сапогах, с гармонией в руках и папироской в зубах, не имевшие ничего общего с их отцами и дедами; в деревнях начались разврат, пьянство, неповиновение родителям. Героем моего нового романа выбрал я знакомого мне старого рыбака, закоснелого в своих привычках и верованиях, и противупоставил ему лиц нового поколения; борьба между этими двумя противуположностями должна была служить завязкой романа. Чтобы привести мой сюжет в тот оконченный литературный вид, какой мне хотелось, я употребил на него также около года. Успех «Рыбаков» вознаградил меня за труд выше моих ожиданий[140].

Роман этот, после него несколько повестей и, наконец, роман «Переселенцы» окончательно упрочили мое литературное положение[141].

XII

А. Н. Островский и его кружок.— Аполл. Алекс. Григорьев.— А. Ф. Писемский.— Поездка к Тургеневу в Спасское-Лутовиново.— Фарс, сочиненный общими силами.— Домашний спектакль у Тургенева в деревне.

Из московских литераторов я был знаком только с Погодиным, Павловыми и Боткиным. После чтения комедии «Банкрот» и особенно пьесы «Не в свои сани не садись» мне хотелось познакомиться с А. Н. Островским[142]. С этой целью остался я лишний день в Москве и пошел разыскивать его по адресу.

Он жил тогда в приходе Николы в Воробине, во втором этаже деревянного дома, выходившего одним фасом на улицу, другим на двор, окруженный торговыми банями.

Несмотря на то что было еще рано,— часов около одиннадцати утра,— я застал у него несколько близких его приятелей: Эдельсона, Алмазова, Аполлона Алекс. Григорьева и И. Ф. Горбунова, известного теперь артиста и литератора-рассказчика, но тогда еще совсем молодого человека.

Островский встретил меня с заметно сдержанною приветливостью; остальных я точно стеснил моим неожиданным приходом. Но в это утро я как нарочно был в ударе, и сдержанность приема не только не охладила меня, но, напротив, как бы возбудила мои нервы. Я с увлечением начал рассказывать о впечатлении, сделанном на меня пьесой «Банкрот» при чтении на вечере у графа Вельегорского, и пьесой «Не в свои сани не садись», недавно мною прочитанной. Живость моего рассказа, казалось бы, должна была благоприятно подействовать на слушателей, молодых людей почти одних лет со мною, но вышло наоборот. На меня смотрели как на человека, упавшего с луны и выдающего за новость то, что давно известно целому свету; похвалы мои двум комедиям выслушивались как младенческий лепет, как жалкое, запоздалое эхо того восторга, который давно пробуждал гений Островского. Равнодушие слушателей сопровождалось даже оттенком иронии, улыбками и взглядами, которыми обменивались присутствующие.

Один из них сообщил мне впоследствии, что неблагоприятному впечатлению способствовали не только неумеренная живость, с какою я передавал мои впечатления, но даже моя одежда, клетчатые панталоны и штиблеты,

прикрывавшие мои лаковые башмаки. В их глазах я собственно как литератор представлял мало интереса; во мне видели только петербургского франта, олицетворение жителя Петербурга,— города, в котором вообще нет *разумного спокойствия;* фраза эта была изобретена лицами из кружка Островского. Ничем еще не заявив себя в литературе, товарищи Островского были тем не менее высокого мнения о себе; они считали себя центром чего-то, какого-то нового движения, возвестителями нового слова. Все они безусловно, однако ж, преклонялись перед Островским, который, к сожалению, охотно поддавался восхвалениям кружка и мало-помалу в нем обсахаривался.

На меня с первого раза неприятно подействовала резкость их суждений и приговоров. Восхваление друг друга, пристрастие и самомнение переходили в этом кружке границы геркулесовых столбов. В этом отношении особенно отличался Аполл. Алекс. Григорьев. Эпиграмма, сочиненная его приятелем Алмазовым, довольно верно его характеризует:

Мрачен лик, взор дико блещет.
Ум от чтенья извращен...
Речь парадоксами хлещет...
Се — Григорьев Аполлон!
Кто ж тебя в свое изданье
Без контроля допустил?
Ты, невинное созданье,
Достоевский Михаил!

(Мих. Мих. Достоевский, сделавшись редактором журнала «Эпоха», пригласил Григорьева помещать у него критические статьи[143].)

Мне рассказывали, что Аполл. А. Григорьев, говоря о комедиях Островского, выпалил, между прочим, такою фразой: «Шекспир настолько великий гений, что может уже стать по плечо русскому человеку!» Указывая на молчавшего Островского, он в другой раз восторженно воскликнул: «Смотрите, смотрите, какое цицероновское молчание!» Ему также приписывали мнение, что, в сравнении с пьесами Островского, «Горе от ума» не комедия, а картины нравов в сценах, написанных стихами[144]. Актер П. М. Садовский, приятель Островского и его друзей, был превосходный комик; его стали уверять, что он не понимает значения своего таланта, что в нем скрывается замечательный трагический талант; основываясь на этом, его заставили играть короля Лира. Садовский поверил и оказался в этой роли ниже всякой критики[145]. Выражение

играть роль нутром, то есть не довольствоваться верным изображением характера, обрисованного автором, и внешностью типа, но проникнуться нравственною глубиной изображаемого лица, «сообщить плоть и кровь духовно-конкретному созданию драматической поэзии», как выразился печатно Эдельсон, один из друзей Островского. Совету этому следовал до конца своей жизни только актер Бурдин; игра «нутром» не помогла ему, сколько известно, выйти из посредственности[146].

Моя живость, истолкованная недостатком «разумного спокойствия» и легкомыслием, была, по мнению кружка Островского, совершенно, впрочем, естественным явлением со стороны человека, у которого мать француженка. Национальность моей матери была даже печатно приведена Аполл. Григорьевым при разборе романа «Рыбаки» как доказательство, что в романе этом нет, да и не может быть ничего русского, что я вообще, при всем старании, нахожусь, по крови моей, в невозможности постичь дух русского народа[147].

Такое же мнение выражено было мне раз А. Ф. Писемским после напечатания повести его «Плотничья артель»[148]. «Оставили бы, право, писать о мужиках,— сказал он мне,— где вам, джентльменам, заниматься этим? Предоставьте это нам; это же наше дело, я сам мужик!» В последнем заключении он показался мне совершенно правым, и я не возражал ему. Кстати о Писемском. Он здесь является не совсем симпатичным, но что же делать; пришлось вспомянуть и не хочется выбросить из строчки. Летом как-то приехал я в Петербург; я никогда не оставлял в это время деревни, не имея в руках готовой работы. Узнав о болезни Панаева, я отправился навестить его. Он временно нанимал небольшую квартиру в Малой Конюшенной; я застал его с обвязанным лицом, опухнувшим от воспаления губы. При нем находился В. П. Боткин, нарочно приехавший из Москвы за ним ухаживать. Оба рассказали мне, что Писемский, невзлюбивший Панаева, хотя последний не дал ему к этому никакого повода, и никогда к нему не ходивший, начал посещать его теперь каждый почти день. Придет и, глядя на Панаева, скажет: «Сдается мне, сегодня опухоль у вас как будто увеличилась против вчерашнего... Я замечаю: больше даже красноты». Завтра придет и скажет: «Знаете ли, шутить этим нельзя... Вы все говорите: воспаление,— смотрите, не рак ли у вас?» Послезавтра новый вариант: «У меня был знакомый, скажет, также вот было совершенно то же, что у вас, кончилось,

однако ж, антоновым огнем,— губу-то, ведь, вырезали...» И так далее он продолжал утешать больного, который и без того страдал изрядною мнительностью. Мне также вместе с тем припоминается забавная черта, характеризующая внезапную переходчивость Боткина от одного расположения духа к другому.

Панаев и Боткин оставили меня обедать. Во время всего обеда Боткин ухаживал за Панаевым с нежностью матери. Он обращался к больному не иначе, как называя его «Ваней», не позволяя ему прикасаться ни к чему горячительному, говорил, что нарочно приказал приготовить курицу с рисом, и упрашивал пользоваться только тем, что мягчит, отнимает жар. Меня он убеждал отправиться немедленно после обеда в водолечебное заведение, находившееся также в Малой Конюшенной, и настоятельно советовал приступить немедленно к лечению. Зная его раздражительность, я не противоречил, и, окончив обед, мы вышли из квартиры. Искренно жалея Панаева и, с другой стороны, тронутый ухаживаньем Боткина, я тут же на лестнице выразил мои беспокойства за больного. «Как?.. Что-с?» — воскликнул неожиданно Боткин и, выбранив меня хорошенько, разразился, к моему удивлению, жесточайшею бранью против Панаева. Ив. Ив. Панаев был добрейшей души человек и не заслуживал сотой доли брани Боткина. Брань, надо сказать, нисколько не служила выражением неудовольствия против Панаева; она выражала только минутное эгоистическое раздражение, внезапно вспыхнувшее у Боткина при мысли, что вот, вместо того чтобы пользоваться летом, жить где-нибудь на даче под Москвою, он добровольно, из одной приязни, осудил себя сидеть в душном городе и возиться с больным, как какая-нибудь мамка.

. . . .

Сколько помнится, в 1855 году Дружинин, Боткин и я согласились совершить поездку в деревню к Тургеневу, который, после кончины матери, упрашивал нас приехать к нему в Спасское-Лутовиново[149]. К назначенному сроку мы съехались в Москве, переночевали у Боткина и на другой день выехали в тарантасе на тульскую дорогу. Во все время пути Боткин, так часто менявший расположение духа, так неожиданно переходивший от сахара к перцу и от меда к горчице, находился в самом елейном настроении. Он все время с нежностью говорил о Тургеневе, радовался его избавлению из-под сурового гнета родительницы, радовался его теперешнему благосостоянию. Мы

вторили ему и вместе с ним мысленно переносились к тому, что нас ожидало: старинный, обширный барский дом, полный, как чаша, нескончаемый парк, леса на несколько верст в окружности и, наконец, перспектива увидеть эту соседку-красавицу, о которой Тургенев говорил, что при первом взгляде на нее ум наш помрачится и мы все попадаем ниц, как подкошенные стебли[150].

Ожидания наши, к сожалению, не вполне оправдались. После пожара старого дома осталась только часть его, куда перенесли все, что можно было спасти; парк оказался садом, но, правда, очень большим, с древними деревьями и пространным прудом; на всем лежала печать запущенности, не мешавшей, впрочем, живописности в целом. Вокруг дома и деревни расстилалась плоская черноземная земля; надо было отправляться версты за две, чтобы встретить холмы и леса. Соседка-красавица произвела на нас обратное действие против того, что мы ожидали: она была во всех статьях скорее дурна собою, чем красива.

Разочарование наше продолжалось, впрочем, недолго. Радушная встреча, искренняя радость Тургенева, удовольствие видеть его в собственном доме — все это возвратило нам отличное расположение духа. Боткин поворчал немного; не обошлось, конечно, без того, чтоб он не подтрунил над хозяином дома, но после купанья в пруду и отличного обеда с блюдом грибов, зажаренных в сметане, он вдруг умилостивился и несколько раз подходил к Тургеневу, лаская его по плечу и приискивая ему разные милые названия.

По утрам Тургенев удалялся в свой маленький кабинет, где находилась также его постель, загороженная ситцевыми ширмами; мы расходились по своим комнатам с книгой или занимались писанием писем. К завтраку и обеду являлся всегда дядя Тургенева, человек старый, но крупный, служивший когда-то в кавалерии, большой весельчак и жуир, взявший на себя все хлопоты по хозяйству и, как оказалось, распоряжавшийся им на более широкую ногу, чем бы следовало; он приходил обыкновенно с женою, молодой женщиной, годившеюся ему во внучки. Тургенев как будто стеснял их своими наездами в деревню.

После обеда к подъезду подавали длинные-длинные дрожки, так называемые *разлюли*, мы все усаживались, не выключая Дьянки, любимой собаки Тургенева и неразлучной его спутницы, и отправлялись в лес. Никогда, я думаю, лес Тургенева не оглашался такими взрывами хохота, как тогда, во время этих прогулок. Боткин поло-

жительно захлебывался от прилива сладких чувств. Раз только внезапно изменил он своему настроению и налетел на меня, как сокол на жертву. Думая провести кратчайшим путем, я всех завел в высокую, полную росы траву, и Боткину представилось, что он промочил себе ноги. Боже, какие эпитеты посыпались на мою голову! Но мы вышли на красивую лужайку, отененную большими деревьями, и все тотчас же как рукой сняло. Боткин бросился на траву, вытянулся на спине и нежно-млеющим голосом начал читать стихотворение Кольцова:

Природы милое творенье,
Цветок, долины украшенье...
и т. д.[151]

По вечерам мы собирались в диванной и кто-нибудь из нас громко читал новую статью из толстых журналов, присылаемых из Москвы и Петербурга. Вечер проходил иногда в беседе, приправляемой оживленным спором.

Не помню, кто-то из нас коснулся деревенской красавицы, которую так живо описывал нам Тургенев и которая нас так разочаровала. Боткин привязался к этому случаю и стал язвить Тургенева, уверяя, что привычка его усиливать всегда краски против того, что есть в действительности, часто ставит его в комическое положение. Слово за словом, пришли к заключению, что такая слабость легко приводит к последствиям, которые могли бы служить отличным мотивом для сценического представления. Я предложил присесть сейчас и набросал план пьесы; мысль была единогласно одобрена, и Тургенев сел записывать; мы между тем, кто лежа на диване, кто расхаживая по комнате, старались, перебивая друг друга, развивать сюжет, придумывать действующих лиц и забавные между ними столкновения. Кавардак вышел порядочный. Но на другой день, после исправлений и окончательной редакции, вышел фарс настолько смешной и складный, что тут же решено было разыграть его между собой. Сюжет фарса не отличался сложностью: выставлялся добряк-помещик, не бывавший с детства в деревне и получивший ее в наследство; на радостях он зовет к себе не только друзей, но и всякого встречного; для большего соблазна он каждому описывает в ярких красках неслыханную прелесть сельской жизни и обстановку своего дома. Прибыв к себе в деревню с женою и детьми, помещик с ужасом видит, что ничего нет из того, что он так красноречиво описывал: все запущено, в крайнем беспорядке, всюду почти одни развалины. Он впадает в ужас при одной мысли, что назвал к

себе столько народу. Гости между тем начинают съезжаться. Брань, неудовольствие, ссоры, столкновения с лицами, враждующими между собою. Жена, потеряв терпение, в первую же ночь уезжает с детьми. С каждым часом появляются новые лица. Несчастный помещик окончательно теряет голову, и когда вбежавшая кухарка объявляет ему, что за околицей показались еще три тарантаса, он в изнеможении падает на авансцене и говорит ей ослабевшим голосом: «Аксинья, поди скажи им, что мы все умерли!..»

Тургенев сам вызвался играть помещика; он добродушно согласился даже произнести выразительную фразу, внесенную в его роль и сказанную будто бы им на пароходе во время пожара: «Спасите, спасите меня, я единственный сын у матери!»[152] Боткин взял роль сластуна, брюзгливого, ворчливого статского советника; Дружинин должен был играть роль желчного литератора; мне предоставлена была роль врага Дружинина, преследующего его всюду и на этот раз решившегося с ним покончить.

Тургенев не остановился на этом: увлеченный мыслью домашнего спектакля в Спасском, он стал уверять, что одного фарса мало будет, необходимо перед тем разыграть что-нибудь классическое; в тот же вечер принес он нам пародию на сцену Эдипа и Антигоны из Озерова; она оканчивалась таким образом:

Антигона *(сентиментально)*.
Почто я зрю печали на лице твоем, родитель?
Эдип *(рыдая)*.
Ах, я Эдип!..
Антигона *(целуя его в лысину)*.
Родитель, полно ныть...
Прекрасную тираду ты лучше прочитай,
Где в пламенных стихах
Ты сожалел о падших волосах...
Эдип *(внезапно одушевляясь)*.
Изволь, о дочь моя, изволь...
Ты зри главу мою... главу... зри... зри...
Антигона *(в страхе и в сторону)*.
Он роль свою забыл, несчастный старикашка...
Уйдем отсель скорей, папашка...
и т. д.

Эдипа должен был представлять Тургенев, я — Антигону.

По этому случаю графиня М. Н. Толстая (сестра Льва Николаевича, соседка Тургенева) прислала нам целый

ларец браслетов, колец и диадему, долженствовавшие украшать костюм Антигоны. Из Мценска привезли красок, кистей и несколько стоп бумаги. Я принялся клеить и писать декорации; для Эдипа приготовил я из трепаной пакли парик и бороду.

Намерение потешить только самих себя и двух-трех близких соседей совсем не удалось. Слух о *спектакле* в Лутовинове быстро распространился по уезду; со всех концов посыпались письма с просьбой получить приглашение. Тургенев все время страшно суетился; в ответ на протесты с нашей стороны, он уверял, что отказать просьбам — значило бы перессориться со всем уездом, и поминутно повторял известную французскую фразу:

— Le vin est tiré, il faut le boire!..*

Вечером, в день спектакля, съехалось столько публики, что половина принуждена была слушать стоя[153].

Сцена из Эдипа не произвела никакого эффекта, несмотря на то что Тургенев в своем парике и бороде, делавших его похожим на короля Лира, очень хорошо изобразил расслабленного, выжившего из ума старца. Фарс имел больше успеха; мы лезли из кожи; Боткин был великолепен в роли ворчливого статского советника. Сцена, когда желчный литератор (Дружинин) бросает зажженную спичку на солому, служившую ему постелью, и говорит: «Пускай горит, он накормил нас тухлыми яйцами!» — и когда на крик: «Пожар!» — выбежал сам помещик (Тургенев) и произнес свою знаменитую фразу: «Спасите, спасите, я единственный сын у матери!» — вызвала дружные аплодисменты. Но вообще, сколько можно было заметить, большинство публики осталось не вполне удовлетворенным спектаклем.

Эти пять-шесть недель, проведенные в Спасском, считаю я в числе лучших моих воспоминаний[154].

Мне случалось потом снова заезжать к Тургеневу. Последний раз, летом в 1881 году, я застал у него семью Якова Петровича Полонского. Тургенев всегда особенно любил и ценил Я. П. Полонского; связь их была давнишняя, едва ли не с юности; он любил все, что было близко Полонскому, и радовался видеть его семью у себя дома[155]. Я, со своей стороны, тоже радовался встрече, так как разделял к семье Полонского чувства Тургенева. Мы проводили время в беседах и прогулках. Иван Сергеевич был попрежнему разговорчив, приветлив, часто шутил, но уже

---

* Вино откупорено, его необходимо выпить!.. *(фр.)*

той веселости — той полной веселости, которая оживляла нас в старое время, я уже в нем не заметил. Время от времени в чертах его проявлялся плохо скрываемый оттенок меланхолического, как будто даже горького чувства. Оно и понятно: не считая жены и детей Я. П. Полонского, мы были в тех уже годах, когда легче вспоминать о веселых днях, чем их испытывать.

Кто бы мог подумать, однако ж, что злосчастному фарсу, сочиненному нами ради потехи в Спасском, суждено было еще раз явиться на сцене, — и где же? — в Петербурге!

Но я забегаю вперед.

XIII

Поездка в Гдовский уезд.— А. В. Дружинин.— Граф Л. Н. Толстой.— Домашний спектакль в доме архитектора Штакеншнейдера.

В конце июля Боткин, Дружинин и я простились с Тургеневым и выехали из Спасского[156]. Боткин остался в Москве; я и Дружинин продолжали вместе путь до Петербурга. У меня на руках была новая повесть: «Пахарь», обещанная Некрасову для «Современника»[157]. В Петербурге я остался всего несколько дней и уехал вместе с Дружининым к нему в деревню, за Нарву, в Гдовский уезд.

Все помещики, видно, на один покрой; к личному самолюбию они присоединяют еще щекотливое самолюбие владельца. Дружинин описывал мне свою деревню (Марьинское) так красноречиво, что можно было думать, она находится не в северной полосе России, а на южном берегу Крыма или по соседству с Ниццей. «Жаль, — говорил он, — мы не поспели к июню: в это время наш сад и все пространство вокруг дома покрыто розами!»

Дорога, особенно после Нарвы, во всяком случае, не отвечала преддверию земного рая; все время показывались унылые сосновые перелески, и колеса тарантаса то и дело наезжали на корни, причем нас бросало в разные стороны, как орехи, которые встряхивают в мешке; в воздухе, над низменною болотною почвой, отдавало кислотой и сыростью; на пахотных полях, вместо земли, было точно посыпано золою; каждую десятину окружал ворох сложенного булыжника, и все-таки он отовсюду выглядывал из серой почвы; видно было, что всю эту местность когда-то покрывала вода и по ней плавали льдины, приносившие с севера обломки скал и гранита.

Дом в Марьинском был старинный, деревянный; нас поместили подле, в небольшом флигеле. За домом спускался к пруду большой яблонный сад. Мы приехали вечером и тотчас же отправились к хозяйке дома, матери Дружинина, представлявшей исчезающий теперь тип приветливых, милых старушек, сохранивших в преклонные годы необыкновенную живость и веселость. К ее приезду на окно, подле ее стула, ставилась всегда стеклянная банка с водою и плавающим в ней вьюном; старушка утверждала, что все барометры врут беспощадно, пустая выдумка, и только на вьюна можно вполне положиться, так как один он безошибочно указывает перемену погоды. Добрая старушка, предполагая, что дорога нас утомила (вьюн не сообщал этого, но это было верно), потребовала, чтобы мы раньше легли спать. Мне было постлано на диване. Не успел я заснуть, как меня облепила целая туча комаров. Утром, взглянув на себя в зеркало, я ужаснулся: лицо мое и руки были красны и в волдырях, точно их обварили. Вошел Дружинин, осторожно, на цыпочках, убежденный, что я сплю как богатырь; увидав меня, он рассердился.

— Можно ли так делать? — воскликнул он, указывая на ситцевую оконную занавеску, которую я забыл накануне задернуть.— Теперь, как нарочно, тот период, когда появляются комары; в другое время ни комаров, ни мух, никакой этой гадости никогда не бывает в наших местах.

Мы пошли пить чай к старушке.

— Постой, постой, мой батюшка... дай посмотреть на тебя!..— остановила она меня, как только я переступил порог.— Ну, так, так и есть, что я говорила: всего одну ночь переночевал у нас, и цвет лица стал уж лучше, гораздо свежее, чем был прежде...

Перед завтраком мы пошли купаться; с первого шага в воду нога моя стала вязнуть, и я скорее вышел на берег.

— Что с вами? — беспокойно спросил Дружинин.

— В пруду вязко.

— В каком пруду? Где вы видите пруд?.. Это озеро... И вовсе не вязко, на дне чистый песок.

В течение дня я по ошибке произнес несколько раз слово «пруд», и всякий раз Дружинин спешил меня исправить, вскрикивая, с оттенком неудовольствия: озеро, озеро, озеро!..

Владельцы Марьинского были не только влюблены в свою деревню, но пристрастны ко всему Гдовскому уезду. Пристрастие выразилось, между прочим, в том, что Дружинин написал для журнала садоводства, издаваемого

в Москве Пикулиным, две большие статьи, озаглавленные: «Флора и Помона Гдовского уезда»[158].

Я знал помещика, доброго и кроткого человека, но до того щекотливого ко всему, что касалось его поместья, что надо было безусловно всем восхищаться, рискуя, в противном случае, нажить себе врага; он насмерть поссорился с соседом из-за того, что тот сказал ему, что встретил у околицы его мужика в нетрезвом виде.

Помещик этот невольно пришел мне на память в Марьинском. Стоило ни в чем не противоречить, находить все безукоризненным, чтобы поддерживать благодушное состояние духа хозяев дома.

В деревне, куда обыкновенно приезжают летом отдыхать, Дружинин работал с тем же рвением, как в Петербурге. С девяти часов, тотчас же после утреннего чая, садился он к письменному столу и, усиленно пригибаясь на левый бок, писал вплоть до завтрака, прерываясь на несколько минут, чтобы пройтись по комнате. После завтрака он отдыхал час и снова продолжал писать, пока нас не позовут обедать. Пример такого трудолюбия пристыдил меня за мое бездействие. У меня был план большой повести, но мне не хотелось начинать ее, так как я не успел бы кончить ее в Марьинском. Долгие перерывы в литературной работе всегда во вред ее единству и общему тону, к тому же привычка заниматься у себя дома, видеть вокруг себя знакомую обстановку много также способствовала моему временному бездействию. Мы как-то разговорились о Тургеневе и припомнили наше представление в Спасском; рукопись фарса оказалась у Дружинина. Я, от нечего делать, воспользовался ею и сочинил рассказ «Школа гостеприимства», напечатанный потом в «Современнике»[159], к великому негодованию тогдашнего критика «Отечественных записок» Дудышкина, который отозвался о нем как о предмете низменного литературного рода, забыв, вероятно, что даже такой великий писатель, как Диккенс, не брезгал иногда фарсом[160].

Следя, с каким неутомимым усердием писал Дружинин, я постоянно удивлялся его невозмутимому спокойствию; мне никогда не приходилось его видеть в том более или менее возбужденном нервном состоянии, которое свойственно всем пишущим людям. Лицо его, несколько болезненного вида, с маленькими, глубоко запрятанными глазами и коротенькими, тщательно приглаженными усиками, сохраняло неизменно одинаковое выражение. Занимался ли он переводом шекспировской трагедии[161], сидел ли над

критическою статьей, повестью или фельетоном Чернокнижникова[162], он с одинаковым спокойствием духа исписывал листы ровным, мелким почерком, и всегда почти без помарок. Он писал, казалось, не вследствие настоятельной внутренней потребности, но как бы понукаемый обязательством, долгом, хотя ничего этого, в сущности, не было.

Дружинин родился для кабинетной жизни и мирных умственных занятий; если б он не был литератором, из него непременно вышел бы ученый. Пылкость воображения, кипучие страсти, живые стремления, физическая подвижность,— словом, все, что волнует кровь и бросает в сторону на пути жизни, отсутствовало в его природе. Он отличался между всеми нами крайним консерватизмом, но консерватизм его был скорее следствием его рассудительно-холодного ума и также отчасти эгоистического чувства. В течение первого года после обнародования освобождения крестьян он опасался беспорядков, и, сколько казалось, больше для своего Марьинского, к которому был привязан всею душой.

Общество литераторов предпочитал он всякому другому; любил литературные сходки и прения; с этою целью завел он у себя вечера, кончавшиеся обильным ужином. Он выказывал особую заботливость, чтобы вечера эти были как можно оживленнее, веселее, заметно раздражался, когда это не удавалось, старался поднять общий дух, усиливался быть веселым, но старания его в последнем случае можно было уподобить стараниям птицы, которая хочет лететь с подрезанными крыльями. Природной веселости в нем не было на маковую росинку. Он этому не верил; доказательством служат некоторые его рассказы и похождения Чернокнижникова, писанные в том убеждении, что читатель не усидит на месте от хохота.

Когда он находил, что слишком уже засиделся и заработался и *надо* наконец себя развлечь, он приходил к кому-нибудь из нас; медленно расхаживая по комнате и задумчиво подергивая кончики усов, он произносил, обыкновенно меланхолически, постоянно одну и ту же фразу: «Не совершить ли сегодня маленькое, легкое безобразие?» Безобразие состояло в том, что на зов его собирались два-три товарища (он служил прежде в финляндском полку); к ним присоединялось два-три литератора, и вся компания отправлялась на дальний конец Васильевского острова, где, специально для увеселений, Дружинин одно время нанимал небольшое помещение в доме гаваньского чиновника Михайлова. Лучшего места для увеселений действи-

тельно нельзя было придумать: из окон квартиры, наискось влево, виднелись ворота Смоленского кладбища! Единственным украшением комнат служила гипсовая Венера Медицейская, купленная Дружининым в Академии художеств и поставленная на середине главной комнаты; к увеселению приглашался всегда сам хозяин Михайлов, старец лет семидесяти, которому Дружинин дал название «сатира», вероятно, с тем, чтобы придать празднествам античный вакхический оттенок.

Букет увеселения состоял, главным образом, в том, чтобы присутствующие, держа друг друга за руки, водили хороводы вокруг Венеры и пели веселые песни. Дружинин старался всеми силами поднять тон, топал ногами, отпускал разные скоромные шуточки, сердился, когда кто-нибудь умолкал, но во всем этом проглядывало что-то искусственное, гальваническое, вызванное не натуральным побуждением веселиться, а холодным соображением человека, надумавшего, что долго засиживаться вредно для здоровья, надо иногда во что бы ни стало принять порцию увеселений, и чем они эксцентричнее, тем действие их будет лучше.

Он не замечал, что порывы веселости пробуждались на этих вечерах не столько его усилиями, но чаще всего его лицом и вообще его наружностью, сохранявшею все время самое унылое, тоскливое выражение. Ему кто-то удачно дал название «тоскующего весельчака», он знал это и не обижался, находя, вероятно, такое прозвище справедливым.

Вообще говоря, Дружинин заслуживал в полном смысле также другого названия: отличного, верного товарища; на его слово можно было всегда положиться. Если в многочисленных томах его сочинений не найдется выдающегося капитального литературного произведения, он оставил после себя другим путем видный след в русской литературе: ему первому пришла мысль основать общество литературного фонда, и он был его учредителем, — заслуга немаловажная, достойная того, чтобы память о нем сохранилась надолго[163].

Вернувшись из Марьинского в Петербург[164], я встретился с графом Л. Н. Толстым; знакомство мое с ним началось еще в Москве, у Сушковых, когда он носил военную форму[165]. Он жил в Петербурге на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры, как раз окно в окно с квартирой литератора М. Л. Михайлова. С ним, кажется, он не был знаком. Наем постоянного жительства в Петербурге необъясним был для меня; с первых же дней Петер-

бург не только сделался ему несимпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.

Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника» и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам[166]. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего — его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком[167].

Зима эта была первою и последнею, проведенною Л. Н. Толстым в Петербурге; не дождавшись весны, он уехал в Москву[168] и затем поселился в Ясной Поляне.

Выше я заметил, что злосчастный фарс, сочиненный в Спасском, был разыгран в Петербурге[169]. Случилось это

в зиму того лета, когда мы жили у Тургенева. В артистических кружках Петербурга распространился слух, что Тургенев, имя которого пользовалось громкою известностью, написал пьесу. В семействе архитектора Штакеншнейдера, жившего тогда в своем доме на широкую ногу, затевался домашний спектакль. Чего же лучше, как угостить публику такою новинкой? С Тургеневым Штакеншнейдеры не были знакомы; его к тому же еще не было в Петербурге. Обратились к Дружинину; тот начал отказывать и, наконец, раздражившись неотвязчивыми просьбами, отдал рукопись, умолчав почему-то о нашем сотрудничестве. Роли живо разобрали любители. Хозяева дома, не присутствуя на репетициях, рассылали между тем приглашения, стараясь собрать по возможности избранную публику; приглашен был, между прочим, Н. И. Греч. Тургенев в это время только вернулся из Спасского. В день представления Дружинин, желая, вероятно, подшутить над Тургеневым, уговорил его ехать вместе к Штакеншнейдерам.

Появление Тургенева в зале было тотчас же всеми замечено; хозяева дома были в восхищении; они начали его упрашивать занять кресло в первом ряду, но тот, к счастью, отказался и сел на скромном месте подле Дружинина. Случилось так, что перед самым началом спектакля актеры, желая, вероятно, придать себе больше смелости, выпили много лишнего; при поднятии занавеса многие из них были совершенно пьяны и понесли страшную чепуху; один из них, игравший роль брюзгливого статского советника, украсил почему-то свою грудь целым рядом орденских звезд; вместо реплики он неловко толкнул товарища; тот споткнулся и повалился на пол, увлекая за собою стул; другие сочли нужным вступиться; на сцене произошла чистейшая свалка. Публика пришла в смущение. Можно себе представить, что должен был испытывать Тургенев, когда Дружинин шепнул ему, что все считают его автором пьесы, и в подтверждение указал на многих лиц, которые приподымались с мест, отыскивая глазами автора[170]. Греч, сидевший в первом ряду и как нарочно надевший в этот вечер свою звезду, привстал и, с негодованием указывая публике на сцену, произнес: «Полюбуйтесь, мм. гг., вот она натуральная школа!»

Тургенев, стараясь скрыться за спинками кресел, что было нелегко для его роста, и частью заслоняясь ближайшими соседями, пробрался наконец к выходной двери.

Когда напоминали ему в приятельском кругу об этом

спектакле, он бросался на ближайший стул, закрывал лицо руками и начинал стонать, как от жесточайшего ревматизма. Неуместная шутка Дружинина не прошла ему даром. Тургенев отплатил ему следующею эпиграммой:

Дружинин корчит европейца,—
Как ошибается, бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.

Дружинин посердился, но недолго; он сам сознавался в своей вине перед приятелем; неудовольствие против Дружинина прошло еще скорее. В течение зимы их хорошие отношения снова возобновились.

XIV

Иван Сергеевич Тургенев.— Его разрыв с Некрасовым.— Черты из жизни и характера И. С. Тургенева.— Прежний состав редакции «Современника», замененный новыми лицами.

Недостаток воли в характере Тургенева и его мягкость вошли почти в поговорку между литераторами; несравненно меньше упоминалось о доброте его сердца; она между тем отмечает, можно сказать, каждый шаг его жизни. Я не помню, чтобы встречал когда-нибудь человека с большею терпимостью, более склонного скоро забывать направленный против него неделикатный поступок. Раз только в жизни у него достало настолько характера, чтобы сохранить до конца неприязненное чувство к лицу, с которым прежде находился он на приятельской ноге,— лицо это был Некрасов[171].

Причина их размолвки мне настоящим образом неизвестна; рассказы о ней слишком разнообразны и пристрастны, чтобы можно было с достоверностью на чем-нибудь остановиться. Несомненно одно только: в натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении.

Нельзя предполагать, чтобы поводом к размолвке между ним и Некрасовым служила со стороны Тургенева денежная причина; бескорыстие Тургенева можно причислить к отличительным чертам его характера. За несколько времени до ссоры с Некрасовым он продал ему издание «Записки охотника» за тысячу рублей; сообщая

об этом Герцену письмом от 22 июля 1857 года*, он не только не жалуется, но радуется, что Некрасов перепродал это издание за две с половиной тысячи и нажил на нем, таким образом, полторы тысячи. Можно привести целый ряд случаев, доказывающих, с какою беспечностью Тургенев относился к денежному вопросу.

Тронутый положением бедного семейного родственника, Ив. Серг. предложил ему заняться управлением имения; желая окончательно успокоить его и упрочить его судьбу, Ив. Серг. поспешил выдать ему, на случай своей смерти, вексель в пятьдесят тысяч. Два года спустя благодарный родственник представил вексель ко взысканию, поставив своего благодетеля в трагическое положение. Ив. Серг. ограничился только тем, что попросил его оставить Спасское и передал его управление другому лицу. После кончины матери Тургенева жена его брата, пользуясь отсутствием Ив. Серг., явилась к нему в дом, забрала оставшееся после покойницы серебро и драгоценности и увезла их. Вернувшись домой, Ив. Серг. не нашел ни одной ложки и должен был снова всем завестись. Из чувства деликатности к брату, который,— думал он,— мог не знать о поступке жены, Тургенев шагу не сделал, чтобы вернуть так незаконно отнятое у него имущество. А история его с г. Маляревским, мужем приемной дочери брата Тургенева, оставившего ей после своей смерти восемьсот тысяч, из которых сто тысяч должен был получить Ив. Серг.? Приезжает Тургенев в Москву, чтобы получить свою долю наследства, и едет к г. Маляревскому; тот объявляет ему, что на его долю приходится всего двадцать тысяч. «Как так?» — спрашивает удивленный Тургенев. «А так,— отвечает г. Маляревский,— я нахожу, что для вас и этого слишком еще много!..» — «Ну,— ответил Ив. Серг.,— на этот счет позвольте мне думать иначе!» На этом дело и кончилось. А сколько, в явный убыток себе, роздано было им дворовым и крестьянам земли и разных сельских угодьев?

Если б возможно было составить список деньгам, которые Тургенев роздал при своей жизни всем тем, кто к нему обращался, сложилась бы сумма больше той, какую он сам прожил. Приписывать его щедрость не доброте сердца, а распущенности, мелочному тщеславию могут только те, которые, судя по себе, не допускают в других возможности честных, великодушных побуждений; когда

* «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к Герцену». М. Драгоманова. Генуя, 1892 г. (*Примеч. Д. В. Григоровича.*)[172]

такая возможность слишком уже очевидна, они набрасываются с яростью голодных собак на какую-нибудь другую сторону лица и на ней стараются выместить свою злобу.

Разрыв с Некрасовым и «Современником» объяснялся публике редакцией как результат исключительно идейных разногласий и убеждений; инициатива разногласия приписывалась самой редакции[173]. Из переписки Тургенева с Герценом видно между тем, что разрыву способствовал Герцен, а инициатива разрыва принадлежит самому Тургеневу. Вот что писал он Герцену 9 января 1861 года: «С «Современником» и Некрасовым я прекратил всякие сношения, что, между прочим, явствует из ругательств à mon adresse почти в каждой книжке. Я велел им сказать, чтоб они не помещали моего имени в числе сотрудников, а они взяли и поместили его на самом конце. Что тут делать?»[174] Авторское самолюбие вряд ли играло здесь какую-нибудь роль; имя Тургенева стояло тогда на главном плане, и желание оскорбить его, поставив его имя в конце объявления, не достигало цели, не могло оскорбить его. Наконец, все это произошло уже после разрыва. Поводом к нему должна была служить более важная причина, иначе Тургенев, с его уступчивостью и мягкостью, не был бы способен в течение стольких лет не изменить своему неприязненному чувству.

У Тургенева было авторское самолюбие; у кого же его нет? Он, кажется, имел на него право, но оно никогда не доходило до того болезненного состояния, как это было, например, у Гончарова, Достоевского и т. д. С ним свободно, без всякого стеснения, можно было высказывать мнение о его произведениях, не рискуя поселить в нем враждебного чувства. Самолюбие, надо думать, питается другими корнями, чем самомнение, потому что с этой последней стороны Тургенев представлял исключение между своими собратами. Редко его произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перечитывалась, исправлялась и часто переписывалась заново.

Строгий к самому себе, он не только был снисходителен к другим, но часто открывал в их произведениях несуществующие достоинства. Стоило ему прочесть повесть или рассказ и покажись ему сгоряча, что в том или другом есть проблеск дарования, он носился с ними всюду, торжественно провозглашал нарождение нового таланта,

спорил, раздражался против недостатка чуткости к художественным приемам и в конце концов, когда убеждался или ему ясно доказывали несостоятельность предмета его увлечения, он охотно сознавался в своем заблуждении и сам над собою добродушно подтрунивал. В увлечениях этого рода часто руководило им также чувство добра, желание поддержать начинающего или, наконец, помимо литературы, просто прийти на помощь, выручить человека из бедственного положения.

Где бы он ни жил — в Париже или Петербурге,— нельзя было к нему зайти без того, чтобы не встретить множество молодежи обоего пола; раз в Петербурге, направляясь в номер гостиницы, где он жил, мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц, сидевших на подоконниках в ожидании очереди. Его терпимость и снисхождение в этих случаях могли основываться на мягкости характера, готового скорее стеснить себя, чем решиться на отказ, но, во всяком случае, не на желании *популярничать*, как распускали слух его недоброжелатели. Те, которые к нему обращались, по большей части платили ему неблагодарностью, другие принадлежали почти исключительно к людям скромного общественного положения, наконец, сколько бы их ни было и к какому бы классу они ни причислялись, что могли бы они прибавить к популярности Тургенева, которая росла год от году без всякой помощи, благодаря только его таланту?

В терпимости и снисхождении Тургенев доходил иногда до самоунижения, возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей.

Одно время он был увлечен Писемским[175]. Писемский, при всем его уме и таланте, олицетворял тип провинциального жуира и не мог похвастать утонченностью воспитания; подчас он был нестерпимо груб и циничен, не стеснялся плевать — не по-американски, в сторону, а по русскому обычаю — куда ни попало; не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами,— словом, ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу, человеку воспитанному и деликатному. Но его прельстила оригинальность Писемского. Когда Ив. Серг. увлекался, на него находило точно затмение, и он терял чувство меры.

Раз был он с Писемским где-то на вечере. К концу ужина Писемский, имевший слабость к горячительным напиткам, впал в состояние, близкое к невменяемости. Тургенев взялся проводить его до дому. Когда они вышли

на улицу, дождь лил ливмя. Доро́гой Писемский, которого Тургенев поддерживал под руку, потерял калошу; Тургенев вытащил ее из грязи и не выпускал ее из рук, пока не довел Писемского до его квартиры и не сдал его прислуге вместе с калошей.

С его большим умом, разносторонним образованием, тонким эстетическим чувством, широтой и свободой мысли, Тургенев мог бы быть — и, по-настоящему, должен бы был быть в свое время — центром литературного кружка; вокруг него охотно бы стали группироваться остальные литературные силы; к сожалению, это не осуществилось, — не осуществилось потому, что для представителя кружка у него недоставало твердости, выдержки, энергии, необходимых условий в руководителе. Он сам добродушно величал себя «овечьей натурой». Он, кроме того, не был способен к практической деятельности, доказательством чего служат его собственные запутанные дела; наконец, даже при лучших нравственных условиях, Тургенев не мог бы играть преобладающей роли в литературном кружке; он наездом только бывал в России и никогда бы не решился оставить Париж и семейство г-жи Виардо. Он и его брат оправдывали предсказание матери, говорившей им обоим: «Жаль мне вас; вы не будете счастливы, вы оба *однолюбцы*», то есть будете всю жизнь привязаны к одной женщине.

Но слабость характера отличала Тургенева только в делах житейских. Известно, как много нужно силы воли, энергии, твердости, чтобы долгое время неотступно преследовать одну и ту же задачу, бороться против нервного и физического утомления, заставить себя довести до конца продолжительный умственный или художественный труд. С этой стороны, Тургенев — автор многих длинных литературных произведений — подтверждает только факт двойственности в артистических натурах с выдающимся творческим талантом. Такие натуры как бы вмещают в себе два отдельные существа, не только несхожие между собою, но большею частью совершенно противуположного характера: одно выражается внешним образом и принадлежит жизни; другое скрывается в тайнике души и служит только творчеству; последнее чаще всего лучше первого. Пушкин превосходно выразил эту двойственность, сказав:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел...
и т. д.[176]

Но это не вполне можно отнести к Тургеневу. Когда усыплялось его творчество и сам он малодушно погружался «в заботы суетного мира», он и тогда не казался ничтожным; его большой ум и образование нигде и никогда не допустили бы его до такой роли.

Ивана Сергеевича часто упрекали в том, что он не стеснялся, когда приходил случай, сочинить эпиграмму на приятеля, сделать на его счет какое-нибудь комическое или едкое сравнение, и приписывали это двуличию его характера. Тургенев действительно был мастер на эпиграмму. В прекрасной статье о нем Я. П. Полонского «Тургенев у себя» приведено несколько таких образчиков[177]. Для красного словца он, правда, не щадил иногда приятеля, но отсюда далеко еще до обвинения его в фальшивости и двуличии. Легко так говорить тем, кому бог отказал в остроумии. Награди их бог наблюдательностью, способностью подмечать смешную сторону,— и главное, способностью моментально облечь подмеченное в живую форму,— они заговорили бы совсем другое. Желательно было бы взглянуть на смертного, награжденного такими свойствами, который отказался бы от них добровольно и сказал бы себе: не высказывай своих наблюдений, скрой их в груди своей, придержи язык из христианского чувства, из опасения хотя бы на секунду досадить ближнему... На такую добродетель способен был бы разве только Христос, олицетворение всех добродетелей. Не в оправдание, а в пример приведу Пушкина, который не утерпел, чтобы не написать на двери друга своего Жуковского:

Из савана оделся ты в ливрею,
На пудру променял лавровый свой венец
И руку жмешь камер-лакею...
Бедный певец!..[178]

Другой поэт, Ф. И. Тютчев, не стеснялся называть своего друга князя Горчакова «фасадом великого человека» и «Нарцызом собственной чернильницы» и т. д. Соболевский, друг князя В. Ф. Одоевского, написал на него приведенную выше эпиграмму:

Случилось раз, во время оно,
Свалился с дерева комар,
и т. д.[179]

Для перечисления подобных примеров потребовались бы не страницы, но целые томы; из этого следует только, что даже у хороших людей больше эгоизма, чем христианской добродетели, и ничего больше. Кто же в этом не грешен?

У Тургенева, как у всякого выдающегося человека, было много недоброжелателей и клеветников. Известие о его кончине, отразившееся скорбью во всей России, его похороны, собравшие на улицах весь Петербург и сопровождаемые массами людей, которым дорога русская слава,— были лучшим ответом его клеветникам и завистникам, старавшимся уронить его значение в глазах русской читающей публики. Кончу о нем словами Я. П. Полонского,— словами, вырвавшимися из сердца: «Кто в Тургеневе потерял не только знаменитого, родного писателя, но и друга, тот никогда не забудет, как много потерял он, насколько стал он беднее и беспомощнее»[180].

Разрыв Тургенева с Некрасовым и уход его из «Современника» сильно отразились на характере редакции этого журнала. В каждом кружке есть непременно лицо более или менее интересное, симпатичное, привлекательное; таким был в «Современнике» Тургенев. Его не стало, и старые приятели мало-помалу один за другим начали удаляться. В состав редакции входили к тому же новые лица, принадлежавшие другому поколению, ничем нравственно не связанные с прежними сотрудниками. Во главе журнала как критик, дававший камертон направлению, находился Добролюбов, весьма даровитый молодой человек, но холодный и замкнутый. Главный редактор и хозяин журнала, Некрасов, посвящал ему те свободные часы, которые оставались у него после вечеров и ночей, проводимых за картами в английском клубе и в домах, где велась крупная игра. Громадные выигрыши и проигрыши, поддерживая в нем одинаково нервное возбуждение, отвлекая его ум к другим интересам, мешали ему вести дела с прежним вниманием. Ив. Ив. Панаев из редактора превратился каким-то образом в простого сотрудника, получавшего гонорар за свои ежемесячные фельетоны. Добрейший этот человек, мягкий, как воск, всегда готовый услужить товарищу, когда-то веселый, беспечный, любивший приятельскую компанию, находился теперь постоянно в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа.

XV

Морское путешествие.— Причины, заставившие оставить деревню и переселиться в Петербург.— Новый род деятельности.— Возвращение к литературным занятиям.

В 1858 году получил я в деревне письмо от Ив. Ив. Панаева; он передавал мне поручение, сделанное ему А. В. Головниным, бывшим министром просвещения, но тогда управлявшим канцелярией морского министерства. Поручение состояло в том, чтобы спросить меня, не соглашусь ли я, по примеру Гончарова, сделать кругосветное плавание, с тем чтобы описание путешествия помещалось в «Морском сборнике».

Неожиданность предложения смутила меня, но ненадолго. Возможность объехать свет, увидеть незнакомые страны, куда давно влекло воображение, испытать ряд новых впечатлений — все это было слишком соблазнительно, чтобы не воспользоваться таким случаем. Неделю спустя (это было в июне) я отправился в Петербург. И. И. Панаев, которому А. В. Головнин поручил вербовку литераторов, имея в виду поднятие интереса «Морского сборника», пришел в восторг от моего согласия: первым удовольствием Панаева было, когда открывалась ему возможность услужить кому-нибудь или сделать приятное.

Во время представления различным властям я узнал, что в начале августа должен буду занять каюту на корабле «Ретвизан». Но скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошел июль, август, а корабль не был готов к отплытию и стоял в кронштадтской гавани.

Я пользовался свободными днями, посещая моих знакомых и в том числе графа Г. А. Кушелева-Безбородко, проводившего лето на своей даче в Полюстрове. Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер каравансарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу де-

лать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уже неблаговидной выходки или скандала,— что случалось нередко,— он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: «Это, однако ж, черт знает что такое!» — после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало.

Вчуже больно было видеть, как беспутно разматывалось огромное состояние, доставшееся ему в наследство. У графа Кушелева я присутствовал на свадьбе известного престидижитатора Юма, венчавшегося с сестрою жены графа, урожденной Кроль. Шаферами со стороны Юма были, между прочим, присланные государем Александром II два флигель-адъютанта: граф А. Бобринский (учредитель золотого банка) и граф А. К. Толстой, автор трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и многих других сочинений. На этой свадьбе познакомился я с Алекс. Дюма[181]. Во время поездки в Париж граф Кушелев, узнав о намерении Дюма сделать путешествие по России, пригласил его, проездом, остановиться у него в Полюстрове. Дюма, не успевший еще хорошенько осмотреться, был, кажется, несколько удивлен бестолковщиной, его окружавшей.

Он рад был встрече со мной и просил дать ему случай познакомиться с кем-нибудь из настоящих русских литераторов. Я назвал ему Панаева и Некрасова, живших тогда на даче между Петергофом и Ораниенбаумом. Он радостно принял предложение к ним ехать. И. И. Панаев, которого я предупредил, также был очень доволен. Мы условились в дне и вдвоем отправились на пароходе. Я искренно думал угодить обеим сторонам, но ошибся в расчете: поездка эта не обошлась мне даром. Не называя прямо по имени, меня впоследствии печатно обвинили, будто я, никому не сказав ни слова, с бухты-барахты, сюрпризно привез Дюма на дачу к Панаеву и с ним еще несколько неизвестных французов[182]. Прочитав обвинение, я стал припоминать, как было дело, и пришел к заключению, что оно происходило несколько иначе. Привезти гостя и притом иностранца, да еще известного писателя к лицам незнакомым, не предупредив их заблаговременно, было бы с моей стороны не только легкомысленным, но крайне невежественным поступком по отношению к хозяевам дома, которых мы могли застать врасплох, и, наконец, против самого Дюма, рискуя явиться с ним в дом в такое время, когда хозяева могли отсутствовать. Трудно предположить также, чтобы Панаев, предупрежденный мною, забыл сообщить об этом

у себя дома. По случаю этой поездки досталось также и Дюма. Рассказывается, как он несколько раз потом, и также сюрпризом, являлся на дачу к Панаеву в сопровождении нескольких незнакомых французов,— однажды привез их целых семерых,— и без церемонии остался ночевать, поставив, таким образом, в трагическое положение хозяев дома, не знавших, чем накормить и где уложить эту непрошеную ватагу... Подумаешь, что здесь речь идет не о цивилизованном, умном французе, в совершенстве знакомом с условиями приличия, а о каком-то диком башибузуке из Адрианополя. Я был всего только один раз с Дюма на даче у Панаева; в тот же день, вечером, мы уехали обратно на пароходе в Петербург. Не знаю, сколько раз удалось потом французскому писателю повторить свой визит, он не сообщал мне об этом; знаю только, что он давно ждал письма с Кавказа и, получив его, немедленно выехал из Петербурга[183].

В конце августа получено было наконец извещение, что корабль «Ретвизан» готов к отплытию. Я поспешил в Кронштадт, но здесь узнал, что маршрут корабля совершенно изменен против прежнего; вместо того чтобы идти вокруг света, ему назначено присоединиться к эскадре Средиземного моря и сопровождать великого князя Константина Николаевича. Вместо Явы, Китая, Японии приходилось видеть Испанию, Италию, Грецию и т. д. Что ж, и это было недурно! Я отправился[184]. Путевые мои записки от Петербурга до Генуи, помещавшиеся сначала в «Морском сборнике», собраны потом в отдельный том[185]. Я начал было писать дальше о нашем пребывании в Афинах, Иерусалиме, Палермо и т. д., но остановился по разным обстоятельствам.

Вернувшись в Россию, я немедленно отправился в деревню. У меня был готовый план для большого романа; мне хотелось изобразить в нем два поколения: отживающих помещиков старого закала и новых, молодых, мечтающих о сближении с народом; мысль не отличалась новизною, но я хотел взять типами и деталями. Роману этому не суждено было осуществиться; он кончился первою частью, напечатанною в «Русском вестнике» под названием «Два генерала»[186]. Вторая часть застала меня в больших непривычных хозяйственных хлопотах по имению. Матушка передала мне его управление, не имея возможности, за старостью лет, приводить в действие уставную грамоту, заниматься разверстанием наделов. Кто помнит это время в деревне, тому хорошо известно, что

тогда было не до писания романов. Кто рвал на себе волосы от горя, кто потирал руки от радости.

Я между тем был счастлив уже тем, что вскоре нашелся арендатор, соглашавшийся взять за порядочную плату всю землю, находившуюся на той стороне речки Смедвы, в Зарайском уезде. Я уже думал, что все, слава богу, кончилось благополучно и я могу теперь спокойно продолжать начатую работу. Не много надо было времени, чтобы убедиться, насколько была преждевременна моя радость. Арендатор, вместо того чтобы распахивать землю и строить помещения для скота, как было условлено по контракту, начал с того, что открыл кабак, о чем прежде не было и помину. На протест мой он возразил, что снял землю и волен делать на ней, что ему вздумается. Начался ряд безобразий; крестьяне поминутно приходили жаловаться. Когда пришел срок первой уплаты, арендатор объявил, что денег у него нет. Я поехал в мой уездный город Каширу, с целью уничтожить условие. Власти встретили меня приветливо, искренно жалели, что я дался в руки всем известному мошеннику, но ничего все-таки не сделали. «Земля, снятая арендатором,— говорили они,— находится за рекой Смедвой и, следовательно, в Зарайском уезде; вам надо съездить в Зарайск; там вас все знают и сейчас все сделают». Я поехал в Зарайск. Снова живое соболезнование властей, снова назвали арендатора всем известным плутом, но снова ничего не сделали. Арендатор был коломенский мещанин Московской губернии; следовало прежде всего обратиться в Коломну. В Коломне буквально повторилось то же, что было в Кашире и Зарайске, но с тем вариантом, что Коломне следовало списаться с зарайскими властями, на которых лежала прямая обязанность изгнать арендатора. Началась переписка; Коломна писала в Зарайск, Зарайск справлялся с Каширой, Кашира отвечала в Зарайск и т. д. Арендатор между тем продолжал преспокойно сидеть в кабаке и чинить всякие безобразия. Он сам, наконец, спился и добровольно оставил землю. Доходы с имения уменьшились более чем наполовину. Надо было предпринять что-нибудь решительное. Рассчитывать только на литературный труд было для меня рискованно; я писал медленно, кропотливо; плата была тогда умеренная. Я помню очень хорошо, что когда в «Современнике» Тургеневу, Гончарову и мне назначена была плата по шестидесяти рублей с листа, в редакциях других журналов поднялся страшный гвалт; говорили, что при таких безумных платах нет больше возможности издавать журнал, что это

равно разорению и т. д. Я решился ехать в Петербург и искать места, которое не мешало бы мне продолжать мои литературные занятия.

Я обратился к С. А. Гедеонову, сыну бывшего директора театров и тогдашнему директору Императорского Эрмитажа.

Должность секретаря Эрмитажа была мне предложена с величайшей готовностью; полагалось при этом только условие: прежде чем получить это место, я должен был сделать описание всех отделений Эрмитажа в такой форме, чтоб оно могло служить руководством для посетителей. Часть осени и зиму провел я за этою работой. Когда она была окончена и напечатана под названием «Прогулка по Эрмитажу»[187], я узнал, что обещанное мне место отдано дальнему родственнику тогдашнего начальника Гедеонова. Почти в то же время происходили выборы в секретари «Общества поощрения художеств». Оно было мне предложено, и я охотно согласился; новая обязанность приближала меня к художественной сфере, близкой моему вкусу. Я думал найти время продолжать мои литературные занятия, но ошибся. На свете нет маленького дела; все зависит от того, насколько примешь его к сердцу и будешь ему искренно предан. Дело, порученное мне, заинтересовало меня с самого начала, и чем больше я входил в него, тем больше оно меня завлекало[188]. Планы различных романов и повестей лежали пока под спудом; я и при других, более благоприятных, условиях никогда не мог написать строчки в Петербурге, теперь же и подавно нельзя было об этом думать. Время от времени литературная жилка сильно давала себя чувствовать. При первой возможности я снова принялся за литературную работу. Если последние мои произведения слабее предыдущих, вина в этом — моя отсталость, утрата привычки писать в повествовательной форме; лета тут ни при чем. Мне казалось всегда, что раз человеку дана известная способность, она, как нечто духовное, не подвергается вместе с ним действию лет, потере сил и зубов; надо только этому верить и стараться самому не падать духом...

Я всегда с чувством глубочайшей благодарности обращаюсь к Промыслу, направившему меня с юности к литературным занятиям. Любовь к литературе была моим ангелом-хранителем; она приучила меня к труду, она часто служила мне лучше рассудка, предостерегая меня от опасных увлечений; ей одной, наконец, обязан я долей истинного счастья, испытанного мною в жизни...

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЙ"

В. А. ПАНАЕВА

В конце апреля 1839 года матушка со мною и с меньшим братом моим Кронидом поехала из деревни Городок в деревню Нармонку, Тетюшского уезда, Казанской губернии, куда должны были съехаться все наследники деда нашего, Александра Васильевича Страхова (племянника поэта Державина), для раздела движимого и недвижимого имущества, оставшегося после его смерти. Страхов был не родной наш дед, а дядя моего отца, который и был одним из сонаследников. Отец не поехал сам на раздел, а дал доверенность матушке. Он был человек нервный, раздражительный, привыкший к известному образу жизни, и ему прожить несколько месяцев не у себя дома, вместе с другими лицами, из коих многие были, сверх того, ему не по нутру, представлялось подвигом немыслимым, несчастием, даже пыткой. Независимо от нарушения порядка жизни и лишений, которым он должен был подвергнуться вне своего дома, его останавливало еще и другое соображение: раздел обещал быть очень бурным.

Надо сказать, что наследники, которых было восемь человек, уже два раза съезжались прежде, но, не придя к согласию, разъезжались. На этот раз, так или иначе, надо было покончить, ибо срок, установленный законом для раздела, истекал.

Имение деда А. В. Страхова должно было быть разделено сначала на две половины: одна шла в род Панаевых, другая — в род Синельниковых; и затем в панаевском роде его половина должна была делиться на пять частей, а в синельниковском — на три части.

А. В. Страхов никогда не был женат; во времена императрицы Екатерины он служил в Петербурге в гвардии. Он

был богат и потому вращался в высшем кругу общества, чему способствовало и близкое родство его с Державиным.

В конце прошедшего столетия Страхов уехал в отпуск, в Казанскую губернию, и с тех пор оттуда не возвращался, причем не позаботился оформить свою неявку из отпуска и потому был исключен из службы.

Неоднократно Державин вызывал Страхова в Петербург для того, чтобы иметь возможность исправить его оплошность, а также помочь ему в борьбе с бывшим тогда губернатором, который, будучи соседом по одному из больших имений Страхова, называющемуся Крестниково, захватил и оттягал у Страхова всю землю, по самые усадебные изгороди, так что крестьяне были буквально обезземелены.

Не раз Страхов собирался ехать в Петербург и не раз брал уже подорожные на поездку, но с места не двигался ⟨...⟩

Сборы и подготовления, без приведения намерений в исполнение, были вообще чертою характера Страхова. Впрочем, судя по многим примерам, этою болезнию страдало большинство помещиков той эпохи. Так, например, дед всю жизнь собирался построить великолепный дом в Казани и такой же в деревне, но не выстроил ни там, ни сям и прожил всю жизнь в весьма невзрачном деревянном доме. Еще до пожара 1815 года, истребившего чуть не всю Казань, Страхов купил там дом, с тем чтобы на его месте воздвигнуть палаццо; но после пожара продал это место и купил другое, откуда был самый живописный вид на весь город. На вновь купленном месте стояли два обгоревших в 1815 году дома, в виде руин. В одной из означенных руин устроено было кое-как несколько комнат для приезда — и так это и осталось до смерти Страхова. Один из означенных обгорелых домов находился не в дальнем расстоянии от помещения дворянского собрания, и во время приезда наследника Александра Николаевича, в 1837 году[1], в этом обгорелом доме устроена была обширная зала, для чего дом дворянского собрания был соединен с ним длинной, висячей деревянной крытой галереей, убранной внутри в виде сада. Между тем ежегодно выписывались из Петербурга и из-за границы разные принадлежности для двух предполагаемых к постройке домов. Я помню, как Страхов показывал нашим родителям великолепные бронзовые замки для дверей и такие же шпингалеты во всю величину окон,— что было тогда невидалью,— огромные зеркальные для окон стекла и много других предметов; выставлен был кирпич, который ко времени раздела

представлял уже наполовину груду мусора, поросшего во многих местах травой; домашние столяры заготовляли двери, окна и паркет; для хранения всех этих вещей выстроен был в деревне, поодаль от жилья, каменный большой сарай, крытый железом, в предотвращение от пожара. Наконец, в деревне, в саду, была выстроена такой величины каменная оранжерея, какой я после того нигде не встречал. Оранжерея занимала до ста сажен длины, с рядом зал во втором этаже во всю длину оранжереи, которые не были, конечно, отделаны, но предназначались в будущем для музыкальных концертов и других представлений. Несмотря на все это, постройка домов не начиналась и, конечно, никогда и не началась бы, ибо подготовления и сборы длились более двадцати пяти лет, то есть почти столько же, сколько длились сборы к поездке в Петербург.

Первый раз я увидел деда, когда мне был только девятый год, но, несмотря на это, я живо помню наш первый к нему приезд.

Он жил верстах в ста двадцати от нас. Родители наши поехали к нему на праздник Рождества и взяли с собой четырех своих сыновей, в том числе и меня ⟨...⟩

В этот приезд мы пробыли у деда дня четыре ⟨...⟩ Музыка играла каждый вечер, а поутру выводились напоказ неистовые жеребцы, стоявшие в конюшнях, но ни в какую езду, как мы узнали после, не употреблявшиеся.

В день отъезда мы собрались ехать с утра, но, как водится, без обеда отпущены не были. По этому случаю обед был назначен ранее обыкновенного. После обеда дед, вопреки обыкновению, ушел тотчас же в свой кабинет, куда, через несколько минут, и позвал нас, детей. При прощании он дал нам каждому по пять золотых, блестящих, как солнце. Можно себе представить наш восторг! Мы выросли в собственных глазах, считая себя уже совершенно большими людьми. По тогдашнему времени пять империалов должны были казаться для детей источником неисчерпаемым.

Замечу здесь, что первым расходом из этих денег, по возвращении нашем домой, была покупка нами всеми книг у разъезжавшего по деревням разносчика, возившего с собою разные продукты, а также и книги. Помню, что старший брат купил роман «Гусситы»[2], второй — повесть «Граубиндец»[3], из истории борьбы Швейцарии за независимость, третий — историческую повесть «Битва при Наварине»[4], я же купил какую-то повесть из времен борьбы Малороссии с Польшей, но названия ее не помню ⟨...⟩

День деда, во время его жизни в деревне, по крайней мере в последние годы, был расположен следующим образом.

Вставал он не рано и, помолившись богу, из спальни проходил через несколько задних комнат в свой кабинет. Подле его спальни была молельня с иконостасом сверху донизу, как в церкви. В самой спальне был большой полукруглый альков, в котором пол был на две ступени выше остального. Альков этот отделялся балюстрадой. В потолке его было вделано круглое зеркало, от краев которого спускались до полу кисейные занавеси, закидывавшиеся за мягкий диван, устроенный вокруг всего алькова; внутренность алькова изображала собою палатку с диваном кругом. Диван был устроен так, что на ночь свободное пространство задвигалось и покрывалось особым матрасом, отчего образовывалась постель в виде полукруга во весь альков.

Перейдя в кабинет, дед пил чай и оставался там почти до обеда. В это время он принимал доклад главного управляющего и дворецкого, отдавал им приказания и принимал посетителей. Редко было так, чтобы у него не гостил кто-нибудь из родных или знакомых; за отсутствием же гостей дальних, у него всегда обедал кто-нибудь из городских: или доктор, или исправник, или судья.

Почти каждый день после обеда играла музыка. Затем, после вечернего чая, дед отправлялся в кабинет и запирал за собою дверь на ключ. Тут он оставался до поздней ночи, иногда часов до двух, и неизвестно, чем он занимался в это время. Уже после его смерти кто-то говорил, что дед занимался в это время чисткою щеточкой золотых. Если принять во внимание, что исходившие из его рук золотые блестели, как солнце, что они хранились у него в ящиках его бюро в столбиках, наполнявших ящики до самого верха, и что капитал до ста тысяч, найденный после его смерти в доме, состоял весь из золотых, то невольно приходится доверять рассказу о чистке по ночам золотых, хотя все остальные черты характера деда не обнаруживали в нем ничего подобного: он не только не был скаредом или скупцом, но, напротив, был человеком тороватым и широким в жизни ⟨...⟩

Другого сорта был брат деда Александра Васильевича, Иван Васильевич Страхов, которого, однако, я никогда не видал, но о котором сохранились у меня в памяти некоторые рассказы.

Иван Васильевич был тоже старый холостяк и отличался таким скаредством, что портрет Плюшкина, когда появились «Мертвые души»[5], показался нам, слыхавшим о скаредности Ивана Васильевича Страхова, снимком с него.

Задолго до появления «Мертвых душ» отец рассказывал о том, что Иван Васильевич сам прятал остатки кушаний в кладовую, сам сбирал остатки варенья и складывал обратно в банки, и о других проявлениях его скаредства. Он жил верстах в тридцати от своего брата, на луговой стороне Волги, в деревне Танкеевке* ⟨...⟩

В памяти моей остался еще один оригинальный эпизод, переданный нам отцом. Когда отец мой и брат его Иван (отец литератора Ивана Ивановича) были произведены в офицеры и оба приехали из Петербурга в отпуск, то поехали, конечно, навестить дядю Ивана Васильевича, который подарил им пять тысяч рублей ассигнациями. Такое неожиданное проявление щедрости поразило их до такой степени, что они подумали, что дядя их рехнулся. В минуту получения ими этих денег ни отец, ни брат его не знали, что подаренные ассигнации были старого образца и что срок на их обмен был уже пропущен, они узнали об этом лишь по приезде из деревни в Казань. Между тем они попробовали похлопотать об обмене, и, по знакомству и связям, деньги эти были приняты от них в казну, вероятно потому, что пропущенный срок не был еще очень велик. Когда Иван Васильевич узнал об этом, то, сделав вид, что он давал деньги только для обмена, потребовал их назад, что, конечно, и было исполнено. Отец говорил тоже, что лица, сделавшие снисхождение им, молодым людям, очень досадовали, что деньгами воспользовался старый скаред, для которого они, конечно, никогда не сделали бы снисхождения.

Возвращаюсь теперь к рассказу о времени пребывания нашего в Нармонке, на разделе, летом 1839 года.

Я сказал уже выше, что в Нармонку должны были съехаться наследники или их поверенные для раздела движимого и недвижимого имущества покойного А. В. Страхова. Я упомянул тоже, что всего было восемь наследников: три из рода Синельниковых и пять — из рода

* Эта деревня досталась моему двоюродному брату Ивану Ивановичу Панаеву, писателю и бывшему издателю и редактору «Современника». Деревня эта была им продана для того, чтобы на вырученные за продажу ее деньги основать «Современник». (*Примеч. В. А. Панаева.)*

Панаевых. Наследники Синельниковы и Панаевы были дети и внуки от двух сестер Страхова, бывших замужем, одна — за Синельниковым, екатеринославским генерал-губернатором при Екатерине, а другая — за моим прямым дедом, Иваном Ивановичем Панаевым, который был известен как основатель и командор масонской ложи в Перми. Аббат Охотский, который по своим политическим воззрениям был сослан при Екатерине в Сибирь, в Туринск, и потом возвращен, в своих обширных мемуарах уделил несколько теплых страниц воспоминанию о прадеде моем, Иване Андреевиче Панаеве, и деде моем, Иване Ивановиче, с семейством. Иван Андреевич Панаев был туринским воеводой и основателем первой писчебумажной фабрики в сибирских дебрях. Он отнесся самым задушевным образом к Охотскому, и последний был приглашен учить детей Ивана Ивановича, в числе коих был и мой отец, французскому и английскому языкам. И это было в конце прошедшего столетия, в глуши Сибири. Старшая сестра моего отца Татьяна успела выучиться не только французскому языку, но отлично знала и английский, что немало удивляло всех и возбуждало к ней зависть. Она была необыкновенно развита и умерла в цвете лет девушкой.

Синельников имел трех сыновей: Николая, Василия и Виктора Ивановичей. В это время Николая Ивановича не было уже в живых, но наследником являлся сын его, Евдоким Николаевич, который был женат и имел уже десятилетнего сына. Со стороны Синельниковых лично прибыли к разделу из Воронежской губернии Виктор Иванович и Евдоким Николаевич с женою и сыном. Василий же Иванович, обладатель обширных имений по обоим берегам Днепра, начиная от Екатеринославля до Ненисситинских порогов включительно, проживал там и прислал поверенного, какого-то мелкопоместного помещика, крючка-повытчика.

У деда Ивана Ивановича Панаева было пять сыновей: Николай, Иван, Александр*, Владимир и Петр. Одного из них, Ивана, не было уже в живых, но наследником был сын его, Иван Иванович, известный беллетрист и бывший редактор и издатель «Современника». К разделу лично приехал только Петр Иванович с семейством, остальные наследники Панаевы действовали через поверенных: от

* Николай, Иван и Александр были товарищами по университету Сергею Тимофеевичу Аксакову. Об Иване и в особенности об Александре, моем отце, как университетском друге Аксакова, много говорится в его семейной хронике[6].

Николая Ивановича — тетюшский доктор Крамер; от отца моего — матушка, имевшая тоже доверенность и от Ивана Ивановича Панаева; от Владимира Ивановича, который был на службе в Петербурге,— отставной тетюшский судья Дреер.

В средине лета приехал Иван Иванович с молодою семнадцатилетнею женою и Николай Иванович, а к концу раздела приехал на несколько дней и мой отец.

Сделаю очерк некоторых личностей, присутствовавших при разделе.

Самый оригинальный и возбуждавший не только общее неудовольствие, но буквально общее отвращение был Виктор Иванович Синельников.

Виктор Иванович был старый холостяк, лет семидесяти. Всю свою жизнь он прожил в деревне, никогда нигде не служил и только в 12-м году был зачислен в милицию, почему с тех пор и носил постоянно милицейский форменный сюртук. Этот сюртук, вследствие скаредства старика, шился не из сукна, а из шерстяной материи травяного цвета, называвшейся тогда камлотом. Воротник сюртука и выпушки были желтого цвета.

Скаредство Виктора Ивановича могло быть сравнено лишь со скаредством дяди его — Ивана Васильевича Страхова, о котором я уже упоминал. Между тем Виктор Иванович Синельников был вдвое богаче Ивана Васильевича, он был обладателем более двух тысяч пятисот душ в Воронежской губернии, сосредоточенных в одном месте. Большое его имение Волоконовка довольно известно в Бирюченском уезде. Жил он в своей деревне, как турецкий султан, имея громадный гарем, занимавший особое помещение. В конце концов, спустя несколько лет после того, как я видел его на разделе в 1839 году, имение Виктора Ивановича Синельникова, за безобразные поступки вопиюще безнравственного характера, было взято по инициативе местных властей в опеку, и сам он был удален из имения. Вследствие этого он приехал в Петербург, где и умер вскоре очень оригинально, в бане, причем найден был кожаный мешок вроде пояса, вероятно им на себе носимого, наполненный золотою монетою ⟨...⟩

Общая антипатия к В. И. Синельникову, предварительно установившаяся, усиливалась еще между всеми потому, что он был главною причиною замедления раздела движимого имущества и таких при этом явлений, которые

для не видавших их воочию могут показаться баснею, между тем есть еще живые лица, которые, как очевидцы, могут засвидетельствовать вместе со мною действительность этих явлений.

Обыкновенно, приступая к разделу какого-либо рода предметов, приносили в залу сундуки, заключавшие эти предметы.

Осмотревши целость печатей на сундуках, их по очереди вскрывали, выбирали из них вещи, осматривали их и переписывали. Эта процедура не всегда могла быть окончена в один день, и случалось, что она длилась дня три. Когда все было рассмотрено и переписано, тогда принимались за раскладывание предметов на две половины. Замечу здесь, что главное затруднение было в разделе на две половины. Что же касается до раздела между наследниками Панаевыми, то это совершалось очень быстро. При разделе же движимого имущества между Синельниковыми я не присутствовал, так как это делалось на особой половине. Надо сказать здесь, что я постоянно присутствовал при разделе потому, что матушка не любила бывать при этой операции и заявила раз навсегда, что она уполномачивает меня изъявлять согласие за нее.

Таким образом, несмотря на то что мне было только пятнадцать лет, я являлся официальным представителем наследства, что не могло не льстить моему самолюбию, тем более что все остальные наследники не могли уже относиться ко мне как к ребенку.

В то время, когда вещи раскладывались на две половины, Виктор Иванович курил свою сигару и не произносил ни слова. На вопросы, обращаемые к нему во время этой раскладки, он отвечал всегда: «Как знаете, воля ваша». Когда наконец одного и того же рода предметы были разложены окончательно, тогда спрашивали его, находит ли он обе половины уравнительными и согласен ли он приступить к жребию. Я не помню ни одного раза, чтобы он отвечал своим согласием. Обыкновенно, после сделанного ему вопроса о согласии, он вынимал изо рта сигару, затем концами пальцев другой руки проводил попеременно по обоим усам и торжественно объявлял: «Не согласен!» Начиналась вновь перекладка, причем он упорно отказывался давать свои указания. Нередко случалось, что разложенные вещи оставались до другого дня, так что вся процедура раздела одного только рода предметов длилась иногда четыре или пять дней. Бывало также, что наследники, выведенные из терпения, просили Виктора Ивано-

вича распорядиться самому раскладкою вещей, тогда он молча вставал и уезжал домой в город.

Подобным образом он мучил всех около двух месяцев, и в это время не разделили и одной четвертой доли всего имущества. Вследствие этого раздражение большей части наследников дошло до того, что для ускорения раздела решились резать, рвать и разбивать пополам все, что только могло подлежать такому дележу. Не говоря уже о том, что резали пополам каждый кусок полотна, так как Виктор Иванович подозревал возможность обмана в том, что одно полотно несколько потолще, другое потоньше, одно пошире, другое поуже, резали пополам все материи, без исключения ⟨...⟩

Я упомянул уже выше, что со стороны Синельниковых одним из наследников был внук Страхова, Евдоким Николаевич, прибывший на раздел с женою и девятилетним сыном. Сам Евдоким Николаевич не представлял ничего оригинального. Это был человек лет под сорок, послуживший весьма короткое время в кавалерийском армейском полку, чтобы получить второй офицерский чин, выйти штабс-ротмистром в отставку и затем, женившись, поселиться в деревне. Он имел хорошее состояние, жил открыто и был, можно сказать, помещик-джентльмен. Но жена его была женщина довольно оригинальная, представлявшая из себя помесь разных контрастов. Клеопатра Григорьевна, как ее звали, несмотря на весьма скромное свое состояние, получила отличное по тогдашнему времени светское образование в одном из харьковских пансионов. Она говорила отлично на двух иностранных языках и была очень бойкой пианисткой, в доказательство чего покрывала иногда клавиши носовым платком и разыгрывала по ним без фальши разные трудные пьесы. Вышедши замуж за богатого человека, она стала разыгрывать роль grande дамы, что никак не могло совмещаться с ее необыкновенно резким малороссийским жаргоном, с ее скупостью и мелочностью, которые постоянно оскорбляли ее мужа, находившегося, впрочем, как говорится, под ее башмаком ⟨...⟩

Надо сказать, что Клеопатра Григорьевна во время дележа была еще молодою дамой и была беременна. Не знаю почему, вероятно вследствие впечатления, сделанного ею на меня в самом раннем детстве, но мне приятно было видеть ее и проводить время около нее. Подметила ли она это или нет — утверждать не могу, но она обратила меня в своего адъютанта, и это мне нравилось. Всякий раз как она шла гулять, а это совершалось два раза в день, она

звала меня сопровождать ее. Она любила тоже удить рыбу, для чего мы отправлялись на большой пруд, около которого были лавочки. Мы садились на одну из них; она читала в это время какой-нибудь французский роман, а я наблюдал за поплавками удочек и давал ей знать, когда начиналось клевание. Ловили мы рыбу на шарики хлеба, потому что я от насаживания червяков отказался, за что и Клеопатра Григорьевна не замедлила выразить мне свое сочувствие. Наловленную рыбу мы обыкновенно собирали в ведро, но перед уходом домой пускали опять в пруд. Иногда роли менялись, то есть я должен был читать ей, а она наблюдала за поплавками. Не отдавая себе отчета, но, вообще говоря, мне хотелось делать Клеопатре Григорьевне приятное и хотелось нравиться ей 〈...〉

Вскоре случилось, однако, что я сложил с себя обязанности адъютанта Клеопатры Григорьевны. В Нармонку приехал из Петербурга Иван Иванович Панаев*, только что женившийся на прелестной молодой девушке семнадцати с половиной лет, дочери знаменитого актера Брянского.

Надо заметить здесь, что женитьба Ивана Ивановича совершилась с большими препятствиями. Необходимо, хотя вкратце, рассказать условия, при которых он женился, иначе некоторые обстоятельства, о которых будет говориться ниже, покажутся непонятными.

В 1836 году Иван Иванович, начавший уже появляться в литературе, перевел трагедию Шекспира «Отелло» и предложил эту пьесу в бенефис знаменитому В. А. Каратыгину. В. А. Каратыгин, будучи не только истинно талантливый, но истинно гениальный актер**, имел поэтому немало недоброжелателей, и преимущественно в литературном мире. Некоторые из этого мира уговорили Ивана Ивановича дать свою пьесу не Каратыгину, а передать ее на бенефис Брянскому.

В это время старшая дочь Брянского, очень красивая собою, готовилась начать сценическое поприще[7], и Брянский очень обрадовался предоставить своей дочери в ее

---

* Писатель и впоследствии издатель и редактор «Современника». *(Примеч. В. А. Панаева.)*

** Назвав В. А. Каратыгина истинно гениальным актером, я этим налагаю на себя обязанность поговорить о нем в своем месте, уделив для этого несколько страниц, что и исполню с великим удовольствием и как долг мой перед этим великим артистом. *(Примеч. В. А. Панаева.)*

первый дебют роль Дездемоны. В то же время Иван Иванович познакомился и с А. А. Краевским, начавшим уже свое издательское и редакторское поприще «Литературными прибавлениями к «Русскому инвалиду». Иван Иванович и А. А. Краевский стали посещать Брянского по поводу постановки «Отелло»[8]. А. А. Краевский заинтересовался будущей прелестной Дездемоной, а Иван Иванович влюбился во вторую дочь Брянского. Красота этой девушки была очень оригинальна. При весьма красивых чертах лица, она отличалась чрезвычайно оригинальным цветом, редко встречающимся: смуглость, побеждаемая нежным в меру румянцем, но не лоснящимся, как это обыкновенно бывает у южных жителей и что не особенно красиво, но румянцем матовым. Я остановился на этом характеристичном цвете лица потому, что он, при взгляде на него, первый бросался в глаза, и точно такого мне не случалось уже встретить другой раз.

Мать Ивана Ивановича не хотела и слышать о женитьбе сына на дочери актера. Два с половиною года Иван Иванович разными путями и всевозможными способами добывал согласие матери, но безуспешно, наконец, он решился обвенчаться тихонько, без согласия матери, и, обвенчавшись, прямо из церкви сел в экипаж, покатил с молодой женой в Казань и прибыл в Нармонку в половине лета. Мать, узнавши, разумеется, в тот же день о случившемся, послала Ивану Ивановичу в Казань письмо с проклятием.

Все родственники Ивана Ивановича, за исключением одного нашего семейства, не жаловали его по весьма простой причине: он был молод, отлично образован и жил в свете в Петербурге.

Вследствие этого все, за исключением нашего семейства, взглянули на женитьбу Ивана Ивановича с злорадством, которое и обрушивалось при всяком удобном случае в отсутствие Ивана Ивановича на его молодую жену.

Мать моя встретила Ивана Ивановича и жену его с искренно распростертыми объятиями, и я был в полном восторге от их приезда. Молодая жена Ивана Ивановича, встретив теплое, приветливое отношение со стороны моей матери, полюбила ее, как можно любить только родную мать, и мы все сделались в короткое время друзьями. Весьма естественно, что я, вследствие малой разницы лет, сдружился всего ближе с молодою женою Ивана Ивановича, которая хотя и была на два с половиной года старше меня, но в полном смысле слова была по воззрениям своим

дитя моложе меня. Кроме того, что она никогда не была в деревне, но вообще она и в Петербурге жила, как говорится, взаперти, под самым строгим режимом*. А потому, вырвавшись на волю, она похожа была на птичку, выпущенную из клетки, и резвилась, как резвятся маленькие дети. Таким образом, с приездом Ивана Ивановича я бросил свое прежнее адъютантствование и привязался к новой молодой и прелестной кузине-ребенку, за что не раз получал сначала саркастические замечания от Клеопатры Григорьевны, вроде того, что она не смеет уже приглашать меня гулять с нею потому, что где ж ей, провинциалке, тягаться с петербургскими гостями.

С новой кузиной мне было и весело, и легко; мы играли, резвились и бегали, как дети, и едва ли дело не доходило до лошадок. Чаще всего мы отправлялись в сад, где была уже упомянутая мною громадная оранжерея. В оранжерее росли персики, абрикосы и сливы. Я никогда не позволял себе пользоваться ими по той причине, что они принадлежали всем наследникам, а не нам. Но когда приехала молодая кузина и когда мы бегали с нею по саду, то я нарушал свой принцип и чуть ли не всякий раз приносил ей фрукты.

С приездом в Нармонку Ивана Ивановича тамошняя жизнь, начинавшая делаться монотонной и тоскливой, внезапно оживилась. Оживило ее не только появление двух новых молодых лиц, и притом из Петербурга, но и то, что всем не хотелось ударить себя лицом в грязь перед Иваном Ивановичем, возникающим талантливым литератором и человеком, живущим в свете. Поэтому все стали повзыскательнее к своим костюмам и повнимательнее к образу жизни вообще. Всем чувствовалось присутствие гостя, от которого не ускользнет смешная или дурная сторона жизни, и все, как говорится, подтянулись, насколько это было возможно**.

Иван Иванович привез с собою много принадлежавших разным авторам рукописных стихов, которые не были еще напечатаны. В числе их у меня остались в памяти стихи на

* О детстве ее, более или менее, можно судить по повести «Семейство Тальниковых»[9], подписанной Станицким (псевдоним Авдотьи Яковлевны Панаевой, жены Ивана Ивановича). *(Примеч. В. А. Панаева.)*

** Не менее того, присутствие Ивана Ивановича на разделе не прошло бесследно. Тотчас по возвращении в Петербург он написал повесть под названием «Раздел имения». В ней он обрисовал некоторые виденные им типы, пощадив, однако, остальных, и ввел лишь одно вымышленное лицо, существенного значения не имеющее[10].

смерть Пушкина и разные переводные стихотворения Павловой. Стихи эти Иван Иванович не раз нам перечитывал. Замечу здесь, что он был хороший чтец и декламатор. Рассказам о его петербургской жизни, о литераторах, о театре и проч. не было конца, и, таким образом, прежняя односторонняя жизнь в Нармонке исчезла, в особенности для меня.

К концу раздела приехали мой отец и дядя Николай Иванович с племянником, двоюродным моим братом, Р-ским, молодым человеком, только что кончившим курс в университете, но заболевшим необъяснимою странною болезнию 〈...〉

Праздники Рождества для нас, детей, были самыми веселыми, самыми приятными, оставившими неизгладимые впечатления на всю жизнь. Веселье это обусловливалось тем, что на эти праздники, дней на пять, на шесть, приезжала к нам одна помещица, Анна Александровна Наумова, с шестью музыкантами, с своими воспитанницами и не менее как с шестью или восьмью сенными девушками. Эти девушки привозились для танцев и для маскированных забав.

Прежде нежели опишу, как проводились рождественские праздники во время пребывания у нас А. А. Наумовой, небезынтересно рассказать, что был за субъект эта особа.

В то время, к которому относятся мои воспоминания, А. А. Наумова была пожилой девой, лет пятидесяти. Она была глухая и кривая. Быть может, в молодости она и была недурна, но в означенное время судить об этом было трудно.

А. А. Наумова была чрезвычайно добрая, умная, живая и веселая особа и была богата. Если она в означенные годы являлась необыкновенно живой и восторженной, то какова же она должна была быть, когда была молода? В молодости она до страсти любила верховую езду. Однажды, когда она мчалась вихрем на коне, ее лошадь, испугавшись чего-то, бросилась неожиданно в сторону, и Анна Александровна свалилась и так ушиблась, что с тех пор потеряла один глаз и слух. Это ли обстоятельство помешало ей выйти замуж, или она сама желала остаться девицей, этого я не знаю.

Оставшись девицей и будучи богата, она посвятила всю свою жизнь весьма доброму делу. Она брала на воспитание

бедных девочек-сирот, преимущественно из дворянского звания, дав им известное образование, выдавала замуж и снабжала приданым. В конце концов, она истратила на это все свое состояние и умерла в крайности.

Но главною ее страстью была муза. Она писала много стихов, сотрудничала в журнале «Благонамеренный», издававшемся Измайловым, в котором принимали тоже участие мои дяди — Иван Иванович Панаев (отец известного литератора Ивана Ивановича Панаева), Владимир Иванович (идиллист), мои тетки, сестры моего отца, и, отчасти, мой отец.

Впоследствии А. А. Наумова издала чрезвычайно толстую книгу стихотворений под заглавием «Закамская муза»[11].

Жила она в селе Зюзине, верстах в восьми от села Емельяновки, где жила моя бабка, Панаева (племянница Державина), с детьми, из которых некоторые и поименованы пред сим.

Вообще, в этом закамском уголке любовь к литературе была в большом ходу. Мои дяди и мой отец во время их студенчества издавали рукописный журнал с картинками, в котором принимал участие и товарищ их Сергей Тимофеевич Аксаков. Картинки в этом журнале рисовал по преимуществу мой отец.

Страсть к стихотворству у А. А. Наумовой была так сильна, что когда отец приезжал в отпуск и когда потом он вышел в отставку и поселился в 1819 году в деревне, она затеяла с ним переписку в стихах. Чтобы вызвать отца на ответы, она стала задирать его шуточными, насмешливыми посланиями насчет воинов 1812 года, насчет кавалеристов, гусар и проч. Отец же мой делал кампанию 12-го года в лейб-уланах и потом в гусарах. Надо заметить здесь, что Анна Александровна в молодости была неравнодушна к моему отцу. Отец мой поднял брошенную ему перчатку и принялся отвечать Анне Александровне тоже шуточными посланиями, очень объемистыми, которые написаны весьма гладкими стихами и не лишены остроумия для данных обстоятельств ⟨...⟩

А. А. Наумова была вообще восторженная патриотка и свой патриотизм распространяла и на обитаемый ею край. У нее в девичьей сидело до тридцати девушек, которые плели великолепные кружева, производили разного рода вышивания, ткали ковры и вообще занимались изящными рукоделиями. Однажды она вздумала воспользоваться крапивой, которая росла в то время в Казанской

губернии в страшном изобилии потому, что тогда поземом не дорожили и разбрасывали его куда ни попало. Крапива достигала более двух аршин высоты, и из нее Анна Александровна приказала выделывать волокна, как из пеньки, затем пряли, ткали полотна и даже платки, не уступающие по тонкости своей батисту. Эти-то изделия, а равно изящные рукоделия своих сенных девушек, Анна Александровна поднесла государю Николаю Павловичу во время приезда его в Казань[12], а потом и государю-наследнику Александру Николаевичу в 1837 г., во время его путешествия по России.

В то время, когда мы, дети, знали Анну Александровну, у нее было две молоденькие воспитанницы, сестры Анюта и Маша Есиповы. Они были очень хорошенькие. Кроме них были и другие, взрослые, которых она не успела еще выдать замуж. Анюту и Машу Анна Александровна любила до страсти, и, по слухам, она, ни прежде, ни после, никого из своих воспитанниц не любила так, как этих девочек. Вероятно, эта исключительная любовь происходила от того, что они были хороши собой и взяты из хорошего семейства.

Казанские танцмейстеры обучили этих девочек русской пляске в совершенстве, и они исполняли этот танец, со всевозможными вариациями, необыкновенно грациозно. Слава о танцах этих девочек гремела по Казани, и они в великолепных русских костюмах исполняли русский танец на балу дворянского собрания при государе Николае Павловиче и государе-наследнике Александре Николаевиче.

Вот с этими-то девочками и приезжала к нам Анна Александровна на рождественские праздники.

Мы, четыре брата, понятно, были влюблены в этих девочек, пятый брат был еще мал. Анна Александровна конечно подметила это и играла с нами на эту удочку. Утром к чаю девочки выходили в простеньких платьях, после чая их переодевали в другие, а к обеду в третьи. После обеда вновь переодевали их два раза.

С приездом Анны Александровны все в доме приходило в необычайное движение. С утра до ночи она ни об чем другом не думала, как о том, чтобы веселить всех: и детей, и больших. Придумывала всякого рода игры, сочиняла сюрпризы, сама во всем принимала участие и играла с нами, как молоденькая девочка. Каждый день, еще до обеда, наряжалась сама, наряжала своих воспитанниц, нас и сенных девушек и всякому такому появлению придава-

ла смысл, по большей части юмористической, соответствующий данной минуте. Разным гаданиям не было конца ⟨...⟩

Но каждый вечер оканчивался непременно танцами под оркестр из шести музыкантов, привозимых Анной Александровной. На эти танцы одни оставались в своих костюмах, другие же переодевались. Кроме обыкновенных танцев — кадрили, вальса и мазурки — танцевали экосез, гросфатер, попурри, котильон и еще два танца, которых с тех пор мне никогда не случалось видеть, а именно: манемаск и русский экосез. Кроме нас, четырех братьев-кавалеристов, бывали всегда два или три посторонних мальчика. Но Анна Александровна втягивала в танцы и больших, из числа приезжавших к нам соседей.

К вечеру Анна Александровна выводила своих сенных девушек, которые были отлично обучены всем танцам. Все они были одеваемы одинаково: в белых коленкоровых или кисейных платьях с красными кушаками. Перед началом танцев Анна Александровна подходила ко всем, к большому и малому, и говорила: «Брось гордость, брось дворянскую спесь, танцуй с крестьянкой»,— затем выбирала девушку и подводила ее к кавалеру. Таким образом, для танцев образовывалось до двенадцати пар и более, если приезжали какие-нибудь ближайшие соседи.

В один из промежутков между танцами каждый день девочки нашего сердца исчезали и вскоре появлялись в сарафанах и восхитительно исполняли русский танец, а иногда появлялись маркизами и танцевали менуэт. Этих появлений и мы и большие ожидали всегда с великим нетерпением.

Однажды кто-то сообщил Анне Александровне, что я умею плясать вприсядку и выкидывать коленца в русской пляске. Я никогда не учился русской пляске, а насмотрелся в деревне на пляшущих парней и действительно исполнял пляску вприсядку довольно живо. Анна Александровна подходит ко мне и говорит: «Ступай, пляши русскую с Машей!» Я стал кричать ей во все горло в ухо, что не умею. Она ничего не хотела знать и настойчиво требовала, чтобы я плясал, я же упорно отказывался, хотя, в сущности, хотелось поплясать с Машей. Я боялся осрамиться. Маша была ученая танцовщица, известна этим всей Казани и танцевала перед царем, и вдруг я, неученый, пущусь плясать с нею, детское самолюбие противилось этому.

Но Анна Александровна не унималась, пошла к отцу и потребовала, чтобы он приказал мне плясать. Хотя мы всегда исполняли слово отца, но на этот раз я отказался. «Не хочешь плясать,— сказал отец,— так ступай в детскую и не выходи оттуда». Большего огорчения, конечно, не могло быть для меня. Я заплакал и сказал: «Буду плясать». Меня тотчас же увели, надели на меня красную рубашку, и я, еще сквозь слезы с отчаяния, пустился кружиться вприсядку около Маши, выступающей павой. Посыпались неумолкаемые аплодисменты, и я ободрился. Я почувствовал сам, что дело идет хорошо, и не понимал одного — откуда что взялось, ибо прежде я ничего такого не выделывал.

Забавы, костюмировки, игры, танцы, гаданья и проч., конечно, ужасно веселили нас, но главным центром веселья были Анюта и Маша. Когда они уезжали, то несколько дней чувствовалась ужасная тоска. Старший мой брат, Лиодор, не на шутку врезался в Анюту. Она была хорошего роста, стройная, тоненькая, воздушная. Однажды после ее отъезда Лиодор был очень скучен; мы понимали причину и жалели его. Между тем раз утром, при вставаньи, мы заметили, что он возится с своей рукой, стараясь скрыть что-то от нас. Но мы успели поднять рукав его рубашки и увидели на руке имя «Анюта». Вытравил ли он эти буквы крепкой водкой и купоросом или чем другим, мы не знали, но я помню, что края каждой буквы были еще красны от воспалительного состояния кожи. Эта надпись оставалась у него на руке более года.

Описанные мною рождественские праздники глубоко врезались в память у меня и у всех моих братьев. Конечно, во всю остальную жизнь не случилось уже веселиться в эти дни так восторженно, так искренно.

Если я остановился несколько долго на описании означенных праздников, то, главным образом, для того, чтобы очертить тип А. А. Наумовой. Всю жизнь она совершала воспитанием бедных сирот добро, не заботясь о своей будущности, и умерла, как я уже сказал выше, в крайности. Помянуть эту женщину я счел своею обязанностью.

Возвращусь теперь к нити прерванного мною выше повествования.

Вскоре по приезде отца в Нармонку произведен был раздел недвижимого имущества, который совершен был

очень быстро потому, что оставалось несколько дней до истечения законного срока для добровольного раздела.

После этого мы вместе с Иваном Ивановичем Панаевым и его женою отправились в нашу деревню Городок ⟨...⟩

Так как Иван Иванович намеревался ехать скоро обратно в Петербург, то решено было, чтобы я ехал с ним, ибо я должен был держать весной экзамен в Институт путей сообщения, куда я был уже за три года перед тем записан кандидатом ⟨...⟩ было решено тоже, что вместе с Иваном Ивановичем поедет и сын тетки, только что поступивший в морской кадетский корпус, двоюродный мой брат Иван Федорович Лихачев, находившийся на лето в отпуску, бывший впоследствии командиром броненосного флота и затем агентом морского ведомства в Лондоне и Париже.

Не помню, сколько именно времени мы пробыли в Городке до отъезда в Петербург, но время это оставило во мне очень приятное воспоминание. Во-первых, после напряженной в течение нескольких месяцев жизни в Нармонке среди посторонних людей дома стало легко, и, во-вторых, нам было очень весело с нашими молодыми гостями.

Ежедневно за вечерним чаем завязывался между отцом и Иваном Ивановичем оживленный спор о достоинствах прежних и новых литераторов. В это время имя Гоголя уже начинало греметь, хотя «Мертвые души» еще не появились. Лермонтов тоже возникал, а между тем в провинции еще не все примирились с Пушкиным и продолжали восторгаться повестями Марлинского, хотя мой отец и не был из числа последних. В то время Иван Иванович признавал еще за Кукольником большие таланты; отец же мой ужасно восставал против него. Но, с другой стороны, он, ценя высокий талант Пушкина, не ставил его наряду с Державиным и не признавал высоких достоинств за «Борисом Годуновым» Пушкина[13]. Это-то разномыслие относительно «Бориса Годунова» и было поводом самых жарких споров.

Вследствие этого чтение этого произведения после вечернего чая продолжалось если не целую неделю, то по крайней мере четыре или пять дней.

Наконец пришло время, и надо было отправляться в Петербург.

По предварительной переписке с одним профессором математики в Институте путей сообщения, полковником А. В. Полонским, о котором я сочту своим долгом погово-

рить в своем месте, я должен был поступить сначала к нему. Отец дал мне письмо к дяде Владимиру Ивановичу, бывшему тогда директором канцелярии министерства двора, который и должен был водворить меня у означенного профессора. Все деньги за приготовление меня, тысяча четыреста рублей ассигнациями, вручены были мне в особой сумочке, которую зашили и надели мне на шею под одежду. Эти деньги я должен был передать дяде вместе с письмом. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно обусловило без моей воли весьма горькие для меня последствия, о которых будет сказано ниже. Кроме того, я должен упомянуть здесь и о том, что я по приезде в Петербург должен был остановиться до поступления к профессору у другого дяди, Ивана Матвеевича Лалаева, брата моей матери.

Из Казани мы поехали в двух экипажах, в одном Иван Иванович с женою, а в другом я с Лихачевым. Погода во все время переезда до Москвы была отличная, и вообще дорогою нам было очень весело 〈...〉

В Москве мы остановились на Тверской площади, в гостинице «Дрезден», которая и посейчас существует. Иван Иванович предполагал пробыть в Москве недолго, но вышло иначе.

Дело в том, что Иван Иванович, принявший живое участие в начавшем издаваться в этом году журнале «Отечественные записки», стал убеждать Краевского пригласить в сотрудники Белинского, с которым Иван Иванович был уже в переписке[14]. По приезде своем в Москву, еще до поездки в Казань, он успел уже устроить соглашение Краевского с Белинским и перед отъездом в Казань условился с последним ехать в Петербург вместе, по возвращении из Казани. Белинскому почему-то нельзя было немедленно выехать из Москвы, но главною причиною замедления выезда Ивана Ивановича из Москвы было то, что ему было там очень весело. Его и его молодую жену баловали и носили в то время в Москве, можно сказать, на руках. Еще ехавши в Казань, Иван Иванович сошелся с семейством Аксаковых, чему способствовало то обстоятельство, что Сергей Тимофеевич был товарищ по Казанскому университету отцу Ивана Ивановича и друг в юности моего отца.

Сближение с Аксаковыми и с Белинским сблизило Ивана Ивановича со всею тогдашнею московскою интеллигенциею, что не могло, конечно, не интересовать живо Ивана Ивановича. Через Аксаковых Иван Иванович по-

знакомился с Щепкиным и с Загоскиным, известным романистом и в то время директором московских театров. Тотчас по приезде Ивана Ивановича в Москву Загоскин приказал поставить «Отелло», чтобы показать в этой роли игру Мочалова, так как во время представления этой трагедии, данного до отъезда Ивана Ивановича в Казань, Мочалов был не в ударе. На этом втором представлении присутствовал и я. О впечатлении, произведенном на меня игрою Мочалова, я выскажусь тогда, когда буду говорить о Каратыгине. Помню, однако, что все говорили, что на этот раз Мочалов не выказал вполне своего таланта.

Во время пребывания моего в Москве раза два Иван Иванович возил меня обедать к Аксаковым. Сергей Тимофеевич очень меня обласкал, много вспоминал о моем отце и расспрашивал о нем. Из детей Сергея Тимофеевича у меня остался в памяти только Константин Сергеевич, другие дети в то время, должно быть, были в отсутствии. В числе посторонних лиц, обедавших у Аксакова, были тогда: Белинский, Щепкин и Загоскин. Впрочем, Белинского я уже не считал посторонним человеком, потому что он каждый день бывал у Ивана Ивановича.

Надо сказать, что Иван Иванович имел несомненную способность обрисовывать людей и знакомить с ними заочно. Еще в Казани, до приезда в Москву, Иван Иванович столько говорил о Белинском, что я приготовлен был видеть в этом человеке нечто необыкновенное. Первое наружное впечатление при встрече с Белинским было не совсем в его пользу. Белинский был скорее дурен, чем хорош собою; но в самое короткое время не только не замечалась его некрасота, но добрые приветливые его глаза делали лицо его привлекательным.

Вскоре сделалось очевидным, что Иван Иванович заживется в Москве довольно долго, а между тем мне и Лихачеву надо было ехать в Петербург. Тогда решено было, что мы поедем в дилижансе одни. В это время Иван Иванович получил от своей матери письмо, в котором она выражала желание примириться с сыном и приглашала его по приезде в Петербург возвратиться к ней в дом с молодою женою и, зная по письмам из Казани, что я еду с ним, упоминала о том, чтобы и я непременно остановился у ней.

Само собою разумеется, что Иван Иванович был очень рад примирению и по этому случаю настоятельно просил меня не останавливаться в Петербурге у других родных, а ехать прямо к его матери. С своей стороны я был тоже

рад этому предложению, потому что, во-первых, мы в бытность нашу в 1836 году в Петербурге жили уже у матери Ивана Ивановича; во-вторых, брат мой Ипполит жил у ней перед этим два года, и, в-третьих, она любила жить весело, а следовательно, и мне могло быть у нее веселее, чем у других родных.

Кроме того, мне представлялось неловким отказать Ивану Ивановичу в его настоятельной просьбе, так как мне показалось, что он желал, чтобы я успел расположить его мать к молодой его жене, которую мы все очень полюбили.

Таким образом, я решился отступить от назначения, данного мне из дому — остановиться у дяди Ивана Матвеевича Лалаева, и дал слово Ивану Ивановичу, что поеду прямо к его матери.

Переезд мой с Лихачевым в дилижансе от Москвы до Петербурга сопровождался несколькими комическими эпизодами, обусловившимися, конечно, нашей молодостью и неопытностью, но о них упоминать не стоит.

Между прочим, помню, что в дилижансе в переднем открытом его помещении ехал молодой армянский дьячок. Этот господин был крайне веселого нрава и очень забавлял нас на станциях. Одну ночь сделалось так холодно, что он попросил взять его в карету. Хотя наше отделение было двухместное, но мы решились приютить этого господина, предложив ему сесть в ноги. В благодарность за это он пустил в ход всю силу своего остроумия и потешал нас всю ночь как рассказами, так и песнями, повторяя то же самое и в следующие ночи 〈...〉

Помню, что мы приехали в Петербург часов в двенадцать ночи, и я отправился прямо к Марье Екимовне, матери Ивана Ивановича, которая была уже предупреждена письмом, что я остановлюсь у ней. Она жила тогда на Грязной (ныне Николаевской) улице, занимая отдельный дом Димерта.

Нечего говорить о том, что я был принят чрезвычайно радушно как Марьей Екимовной, так и девицею, у нее проживавшею. Эта-то девица и послужила Ивану Ивановичу мотивом к изображению в своих повестях типа, пущенного им в ход под кличкою «приживалка», каковая кличка и получила право гражданства, подобно другим кличкам, пущенным им же своими повестями в ход, как, например, хлыщ и др.

На другой день утром пришел в отпуск мой брат Ипполит, который был уже в Институте путей сообщения.

Мы не виделись с братом с лишком три года, и радость встречи была великая тем более, что мы были с ним ближе всего по возрасту. Вообще говоря, любовь между всеми нами, братьями, была всегда очень сильна и остается и по сей час.

Когда пришел брат, я не был еще одет и затем, начав одеваться, затруднился, куда девать находившуюся на мне сумочку с деньгами. Если бы оставить ее на себе, хотя бы и под бельем, то на груди являлось нечто вроде горба. Брат сказал мне, что так как я в этот день не пойду еще к дяде Владимиру Ивановичу, которому надлежало передать деньги, то всего лучше отдать спрятать сумочку тетке. Я, конечно, послушал его, но когда отдавал сумочку тетке до завтрашнего дня, у меня екнуло что-то в сердце. Мне казалось, что я поступаю неправильно, что я отступил уже от одного распоряжения, сделанного моими родителями, то есть остановился не там, где было сказано, и затем передаю деньги не непосредственно дяде, а другому лицу, хотя бы и для того только, чтобы спрятать их. И действительно, неопределенное мое сомнение не замедлило оправдаться.

На другой день тетка сказала мне, что ей очень нужно сейчас же рублей триста или четыреста, чтобы я позволил ей взять из тех денег, которые я дал ей на хранение, что завтра она пополнит их и что нет никакой особенной надобности идти мне к дяде Владимиру Ивановичу сегодня.

Хотя я тотчас же почувствовал, что дело мое плохо, но не было никакой возможности быть настолько неделикатным и грубым с моей стороны, то есть со стороны молоденького мальчика, который пользуется гостеприимством тетки. Я, конечно, скрепя сердце, дал свое согласие. Тотчас же тетушка вместе со своею приживалкою поехали со двора и, вернувшись к обеду, привезли целую груду покупок, относящихся преимущественно до туалета, так что я, как ни мало был знаком с ценами привезенных ими предметов, но сообразил, что тут находится их не на триста и четыреста рублей ассигнациями, а на все привезенные мною деньги.

На следующий день тетка извинилась, что управляющий ее имением, находившимся под Петербургом по Неве, не привез еще ее денег, и чтобы я подождал идти к дяде Владимиру Ивановичу. Так прошло несколько дней, и я ни к кому из других родных не шел. Наконец, я решился идти сперва к Ивану Матвеевичу Лалаеву, то есть к тому дяде,

у которого я должен был остановиться, чтобы поделиться с ним моим горем.

Хотя этот дядя очень любил меня, но весьма натурально, что он крепко пожурил меня за то, что я не приехал к нему, как то было назначено и ему о том писано.

Прошла целая томительная неделя; денег я не получил и к Владимиру Ивановичу идти не мог. В воскресенье пришел брат, и мы вместе решили напомнить тетке. Она стала, конечно, извиняться, жаловаться на своего управляющего и обещала достать непременно деньги на днях. Но ожидания мои были тщетны, и я отправился с повинною головою к Владимиру Ивановичу, который не мог не знать чрез Лихачева, что я уже приехал в Петербург. Само собою разумеется, что я получил строгий выговор за то, что не передал прямо деньги ему. «А потому,— сказал дядя,— пеняй сам на себя».

Положение мое было поистине мучительно. Во-первых, дядя мог думать, что я сам издержал деньги, и, во-вторых, для меня дорог был каждый день.

Мне оставалось для приготовления в Институт всего шесть месяцев, а между тем я должен был держать экзамен в таком объеме, какой требовался для поступления в университет, ибо я хотел поступить в тот класс, в который должен был перейти к весне брат мой Ипполит. Я дал в этом отцу слово и должен был сдержать его, тем более что мы воспитывались на свой счет.

Просить дядей вывести меня скорее из затруднительного положения я не имел духа, так как считал себя перед ними виноватым; писать домой в деревню было немыслимо, тем более что ответ по тогдашним сообщениям мог прийти не ранее шести недель, а между тем я ждал возвращения мне денег со дня на день. Оставалась надежда на Ивана Ивановича, который должен был вскоре прибыть из Москвы. Наконец, он прибыл, но у него не оказалось достаточно денег для того, чтобы возвратить мне деньги, взятые его матерью. Таким образом, мне пришлось ждать около трех месяцев, и это время я прожил у Ивана Ивановича в одной комнате с Белинским.

Расскажу теперь то, что касается до Белинского в данное время.

Когда Иван Иванович Панаев пригласил, еще в Москве, Белинского остановиться у него в доме, он рассчитывал, что может дать Белинскому не менее двух комнат внизу. Между тем в его отсутствие мать распорядилась нижними комнатами занимаемого ею дома, поместив там в двух

комнатах одну из своих любимых приживалок (другая помещалась вверху), и отвела еще две комнаты для домашнего доктора, приезжавшего два раза в неделю из Павловска в Петербург. Затем оставалась одна свободная комната, в которую поместили меня. Иван Иванович Панаев ужасно рассердился, и в первый же час приезда вышла домашняя сцена; но делать было нечего — Белинского поместили в той комнате, в которой помещался и я.

Через несколько дней по приезде Белинский принялся за работу, и комната его наполнилась журналами, книгами, лежавшими и на стульях, и на столах, и на диване, и на полу. Днем я старался не ходить часто в эту комнату, чтобы не мешать Белинскому; но, когда приходило время спать, а равно и утром, он много со мною разговаривал и очень полюбил меня. В это время он подарил мне свою грамматику, сделав на ней надпись*[15].

Хотя Белинский занимался и днем, но, видимо, работы его подвигались главным образом по ночам. Днем Белинский часто засиживался наверху у Ивана Ивановича Панаева, которого очень многие посещали, и, кроме того, Белинский в это-то время любил поболтать с молодою женою Ивана Ивановича и поддразнивать ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности.

В этот период времени Иван Иванович вел более домашнюю жизнь. По вечерам приходили к нему близкие знакомые, и Белинский большею частью присутствовал тут и сосредоточивал на себе общее внимание не только потому, что на него смотрели в этом кружке с особенным уважением, но по манере своей говорить. Белинский всегда говорил с искренним жаром, с убеждением, без уклонений и уверток; срединных мнений он не терпел, рубил сплеча и чем дальше подвигался с изложением своего мнения, тем более разгорячался; видимо, он принимал все к сердцу; говорил не для того, чтобы поговорить или блеснуть своим мнением, нет,— он говорил потому, что завязался разговор, потому что что-нибудь задело его за живое. Предметом его речи преимущественно были или бес-

---

* Эта книга хранилась у меня до 1878 г., но один из бывших петербургских редакторов, г. П-ч, выпросил ее у меня на несколько дней, чтобы просмотреть эту библиографическую редкость. Вскоре после этого сей господин очутился за границей. Я обращался к нему письмами за границу, умоляя возвратить мне дорогое для меня воспоминание и обещая простить ему денежный его мне долг в несколько сот рублей, но письма мои остались без ответа. Поневоле приходится подозревать, что моя книга продана бывшим редактором какому-нибудь библиографу[16]. *(Примеч. А. В. Панаева.)*

пощадная казнь, или восторженное, искреннее восхваление какого-либо литературного произведения, общественного факта, литератора или общественного деятеля.

Было чего наслушаться мне, юноше в пятнадцать лет, приехавшему из провинции. Это время имело огромное влияние на всю мою жизнь. Но я по совести скажу, что, будучи развит далеко не по летам, вследствие условий жизни, изложенных в воспоминаниях моего детства, я никогда, и даже в описанное мною время, не относился ни к чьим мнениям раболепно, и, как ни ограничен был в то время мой личный критериум, я, однако, пропускал чужие мнения чрез собственную критику.

Из числа литераторов я помню, что видел раз Полевого, Сахарова, Воейкова и много раз Кольцова, стихами которого я наслаждался тогда больше, нежели какими-либо другими, и личность самого Кольцова производила тоже чрезвычайно приятное впечатление. Бывал также у Ивана Ивановича довольно часто Даль, человек очень умный, весьма натуральный, на ходули не становившийся и приятный, живой собеседник, обладавший немалой дозой желчи. Помню также посещавшего тоже Ивана Ивановича Владиславлева, жандармского штаб-офицера, занимавшегося литературой и издававшего ежегодно изящные альбомы с прекрасными картинками и портретами.

Я имел, конечно, столько такта, чтобы не вмешиваться в разговоры людей взрослых, пользующихся или начинавших пользоваться известностью, но постоянно присутствовал на этих вечерах и с великим удовольствием слушал толки и споры. Эти толки и споры подымали во мне мысли, побуждали меня обдумывать многое самому и, в особенности, читать. Никогда, кажется, я не читал так много, как в это время, тем более что не было никакого другого дела.

Когда, по вечерам, никого не было, тогда Иван Иванович читал громко молодой своей жене преимущественно романы Вальтера Скотта и Купера; и я, конечно, упивался ими.

Всего более врезались в мою память ночи. Белинский, как я уже упомянул, работал много по ночам, часов до четырех, а иногда и долее. Я, бывало, долго лежал и смотрел на Белинского во время его писания. Меня интересовало наблюдать за ним, потому что занятие его казалось для меня некоторым образом каким-то священнодействием. Видимо было, что он жил в эти минуты — то радовался, то страдал. Его писание было плодом искренно прочувство-

ванным; оттого-то оно и оставило по себе глубокие, неизгладимые следы. Часто случалось, что он с видимым негодованием и с какою-то душевною болью отбрасывал от себя ту или другую книгу. Вероятно, это было тогда, когда ему приходилось писать библиографию. Занятия его прерывались время от времени курением. Тогда он накладывал себе трубку и курил ходя, видимо обдумывая что-то.

Так как в это время ему приходилось подходить близко к дивану, на котором я спал, то я, конечно, закрывал глаза и притворялся спящим.

В течение ночи мне приходилось просыпаться не один раз и все видеть Белинского работающим, который часто кашлял таким особым звуком, который указывал на забирающуюся уже в его грудь змею.

Тогда еще у меня сжималось сердце от мысли, каким тяжелым трудом добывает себе этот человек, которого я уже сильно полюбил, кусок хлеба. Тогда еще, несмотря на мою юность и неопытный взгляд на жизнь, мне казалось ничтожным назначенное ему издателем «Отечественных записок» вознаграждение[17]. Я говорю об этом здесь потому, что именно во время сказанного мною бодрствования в постели эти мысли приходили мне в голову всякий раз, как Белинский закашляется.

Как ни интересно было мне тогда наблюдать за Белинским и удовлетворяться этим наблюдением, но, конечно, это побуждение неминуемо должно было бы скоро притупиться и не поддерживать долее моей бессонницы; но в этом играло еще роль мое личное положение. Неизбежно мне приходили в голову тревожные мысли о том, когда же разрешится мой вопрос, когда же поступлю я к профессору, когда же я начну готовиться в Институт; что родители мои ничего не знают о моем положении, они думают, что я давно принялся за приготовление,— и я не могу оправдывать себя ни перед собой, ни перед другими за свою оплошность. Все эти мысли волновали меня в такой мере, что я чем далее, тем более утрачивал сон. Да, ночи эти мне памятны, они стоят передо мною, как будто бы это дело было вчера.

Из этого-то ужасного положения вывел меня Белинский и спас меня.

Прожив в доме три месяца, Белинский, конечно, понял домашние отношения и узнал благородный, честный, но слабый характер Ивана Ивановича. Несколько раз Белинский спрашивал меня, отчего я не учусь и не поступаю в заведение. Я уклонялся от ответа, так как дело касалось

неблаговидного поступка моей тетки, считавшейся хозяйкой дома, в котором мы оба жили. Но наконец он настоятельно пожелал знать причину, и я рассказал ему все откровенно.

— Почему же вы не обратились к Ивану Ивановичу? — сказал он.

— Я уже не раз говорил ему, и не раз он говорил матери, и по этому случаю были уже домашние сцены; но я все-таки денег не получаю,— ответил я.

— Так Иван Иванович знает все?

— Да, знает.

Белинский вспыхнул и сказал:

— Пойдемте со мною наверх.

Когда Белинский бывал чем-нибудь взволнован, то ходил из угла в угол.

Придя к Ивану Ивановичу вместе со мною, он стал быстро ходить по комнате в продолжение минуты или более. Затем остановился и, обратясь к Ивану Ивановичу, сказал резко, указывая на меня:

— Что вы делаете с ним?

Иван Иванович догадался, конечно, в чем дело, и, сконфузившись, ответил:

— Я уже несколько раз говорил матери, она обещала отдать деньги скоро, но говорит, что не могла до сих пор справиться. Если бы у меня были деньги, я, конечно, сейчас дал бы их.

— Ваша мать не только обобрала его, но она крадет его будущность. Как вам не стыдно, что ваша слабость доходит до таких пределов. Вы обязаны сейчас же достать деньги; займите где хотите, за какие бы то ни было проценты, но отдайте ему скорее, неотложно.

Белинский говорил так авторитетно и так горячо, что слова эти сильно подействовали на Ивана Ивановича, и он тут же написал записку с приказом управляющему его дачей, близ Стеклянного завода, немедленно явиться к нему.

Управляющий дачей был прежде крепостным, но в это время был уже отпущен на волю. Он был очень красив, молод и одевался щегольски; я всегда видел его в кафтанчике из настоящего бархата с большой золотой цепочкой и в лакированных сапогах. Звали его Василием; он был в большом почете, имел для разъездов свою лошадь с прекрасной упряжкой и был большой плут, зажиревший от барского добра. Так как этот Василий уже несколько раз говорил мне: «Подождите, подождите, барин, немножко,

скоро будут деньги», — то я не должен бы был надеяться на хороший результат; но на этот раз мне чувствовалось, что теперь настала решительная минута, и потому я ждал Василия с большим нетерпением и частенько посматривал в окошко. Наконец, часу в седьмом подкатил Василий на своей щегольской лошади.

Иваном Ивановичем было отдано приказание камердинеру, чтобы по приезде Василия его в ту же минуту, не допуская никуда, провели прямо на его, Ивана Ивановича, половину. Когда Василий прошел в кабинет, я остался в соседней комнате. Иван Иванович был очень доброго сердца, но был горяч. В кабинете разразилась такая буря, что, как говорится, стекла дрожали от крика Ивана Ивановича, и ничего нельзя было разобрать. Наконец я услышал: «Ты обманщик, врун, вор, не чрез неделю, не чрез день, а чтобы сегодня, сейчас были деньги, иначе я тебя отправлю к черту!» Затем отворилась дверь, и Василий, красный как рак, вылетел оттуда, вытолкнутый взашей.

Подбежав ко мне, Василий сказал: «Поедемте, барин, сейчас со мною». Вероятно, он побоялся приехать с деньгами обратно в дом, чтобы их не перехватили от него на другой половине.

Я обрадовался, и мы покатили с Васильем на его лошади в Никольский рынок. Там мы вошли в большую мясную лавку. Оказалось, что хозяин был арендатором каких-то угодий на даче. Василий потребовал уплаты денег; купец стал мяться и говорить, что отдаст после праздников, но Василий — подобно тому как Иван Иванович был возбужден твердым и сильным словом Белинского, был возбужден только что бывшей с ним передрягой, — настоятельно потребовал деньги сейчас же. Делать было нечего, купец открыл ящик и стал выкладывать целковые. Когда отсчитали четыреста целковых и положили их в мешок, Василий передал его мне. Я не поехал домой и, хотя было уже девять часов, попросил Василия свезти меня прямо к профессору Полонскому, к которому я должен был поступить для приготовления в Институт путей сообщения.

Приехав к Полонскому, я отдал ему деньги, объяснив причину, почему я не явился к нему раньше, и сказал, что завтра перееду к нему. Но дело было перед праздником Рождества, и потому Полонский велел явиться к нему не ранее 7-го января.

Так-то я вышел из мучительного, отчаянного положения благодаря благородной энергии Белинского и тому

могучему влиянию, которое он имел на окружающих людей. Не спаси меня Белинский в самый крайний момент, вся моя будущность могла бы быть очень плачевна. Всю жизнь я не забывал этого и теперь вспоминаю о том с великою благодарностью, любовью и уважением к этому человеку.

Таким образом, я поступил к профессору, полковнику Полонскому только в начале января 1840 г. для приготовления в Институт путей сообщения. До экзамена оставалось всего три с половиной месяца, а надо было держать такой экзамен, какой требовался для поступления в университет, за исключением латыни и с тою разницею, что экзамен из математики был особенно строг.

В то время Институт был закрытым заведением, имея четыре класса, а затем два офицерских класса. Брат мой Ипполит находился уже в Институте и весною должен был перейти в предпоследний класс, а я к тому времени должен был выдержать экзамен в тот же класс, чтобы идти одновременно с ним. Отец мой условился об этом перепиской с Полонским, и последний согласился на это, рассчитывая, конечно, что я поступлю к нему в начале учебного сезона. В этих-то соображениях меня и отправили в Петербург, и так как я должен был поступить на свой счет, то, не попади я в назначенный класс, отцу пришлось бы платить за лишний год, а это было для него чувствительно.

В Казани я подготовлялся из математики у молодого адъюнкт-профессора А. Попова, который впоследствии сделался весьма известным профессором. Он находил, что я вполне готов для требуемого экзамена, считал меня лучшим своим учеником из сорока человек пансиона, а потому я и сам получил в том уверенность и полагал, что мне предстоит лишь освежить все пройденное с Поповым.

Как ошибался Попов, а вместе с ним и я, это обнаружилось с первого же шага поступления моего к Полонскому. Между способами преподавания математики в гимназиях и в Институте путей сообщения лежала целая пропасть. На поверку оказалось, что я что-то такое заучил, как попугай, а существа дела не знал.

Когда я явился к Полонскому, то между мною и им возбудился следующий разговор, который твердо помню до сих пор.

— Милый мой,— сказал Полонский,— я обещал вашему отцу приготовить вас в 4-й класс (предпоследний перед выпуском в офицеры), если только вы будете заниматься так же хорошо, как занимался у меня ваш брат, но вы явились так поздно, что об этом и думать нельзя. Я буду готовить вас в 5-й класс и уведомлю о том вашего отца.

Сердце мое сжалось, и я сказал ему:

— Я приготовил все, что нужно для поступления в 4-й класс; мне остается только освежить пройденное.

— Это говорят мне все, которые поступают ко мне, но у нас другие требования. У кого вы готовились?

— У адъюнкт-профессора Попова в Казани.

— Арифметику вы проходили с доказательствами?

Я молчал, потому что впервые услыхал слово «арифметика с доказательствами».

Полонский повторил свой вопрос, и я в недоумении продолжал молчать.

— Покажите мне то руководство, которое было у вас для арифметики.

Я показал ему ту арифметику, которая была принята во всех гимназиях. Увидев ее, Полонский улыбнулся и затем сказал:

— У нас принята в руководство арифметика Бурдона на буквах с доказательствами[18].

Я опять вытаращил глаза, услыхав, что арифметика преподается на буквах.

— Теперь,— продолжал Полонский,— я вижу, что не могу приготовить вас и в 5-й класс и разве с трудом приготовлю в 6-й.

Выходило, что я поступил бы на два класса ниже того, на который рассчитывали я и отец мой: я обомлел, слезы ручьем полились из глаз, но я не шевелился и стоял перед Полонским как бы преступник, приговоренный к смерти.

Когда он увидел безмолвно текущие слезы, то потрепал меня по плечу и сказал:

— Успокойтесь, успокойтесь, мой милый, если сильно поработаете, то, может быть, я и приготовлю вас в 5-й класс.

Но вот что сделал для меня этот благороднейший, наисердечнейший человек и замечательный педагог.

Надо сказать, что в пансионе у Полонского готовилось всего десять человек. Для этих десяти человек было три лектора для математики. Один, Быков (довольно известный впоследствии практический инженер), готовил в 6-й класс. Другой, Липин (известный своей памятной книгой

и таблицами, им самим составленными по математике, физике и проч., и впоследствии директор департамента железных дорог), готовил в 5-й класс, и, наконец, сам Полонский готовил в 4-й класс. Это показывает, как добросовестно и серьезно относились тогда частные подготовители к своему долгу. По всем прочим предметам были вообще прекрасные преподаватели и был даже гувернер, Старчевский, впоследствии издатель «Сына отечества».

Недели через две после моего поступления Полонский сказал мне:

— Вы, верно, мечтаете о 4-м классе?

— Мечтаю, но что же делать, если это невозможно.

— Я подумал об этом; ничего вам не обещаю, но могу устроить так, чтобы дать вам к тому возможность; остальное будет зависеть от вас самих. Я распределю уроки так, чтобы они не совпадали, и вы будете иметь возможность посещать Быкова и Липина, а затем после обеда будете слушать меня. Вам придется выслушивать в день по три лекции из математики. Если осилите, то вам и книги в руки; но, повторяю, что вы не должны думать, что я берусь приготовить вас в 4-й класс. Из того, что я мог уже заметить и по отзыву Липина, вы можете рассчитывать на 5-й класс.

Я обрадовался вдвойне, во-первых, тому, что представилась возможность приготовиться в 4-й класс, и, во-вторых, тому, что я осознал, что нахожусь в руках сердечного человека, который для одного юноши изменяет часы уроков, конечно, без всякого ущерба для кого бы ни было.

Можно ли встретить что-либо подобное в настоящее время? При этом замечу, что, несмотря на сердечность этого человека, весь режим его пансиона был особенно строг и все сильно боялись его. Но это после сделанного им для меня блага не мешало мне возлюбить Александра Викентьевича Полонского, как отца.

Таким образом, я посещал в день три лекции только из одной математики. Дело пошло на лад; у Быкова и Липина я почти постоянно получал полные баллы; но Полонский меня не спрашивал: он как бы игнорировал меня на своих лекциях, и так продолжалось более двух месяцев. Это ужасно огорчало меня; но, вероятно, он не хотел питать меня надеждой, в которой я мог обмануться, и в то же время, как это выяснилось для меня впоследствии, у него был педагогический расчет. Будучи ежедневно в ожидании, что он спросит меня, и понимая, что от моего ответа будет зависеть его решение и моя участь, я был всегда на-

готове из всего пройденного, что вынуждало и приучило меня к сосредоточению, и это отразилось впоследствии благодетельно для меня при слушании курса высшей математики. Наконец за месяц или менее до экзамена, когда один из учеников городил по какому-то вопросу околесицу, Полонский вызвал меня и сказал: «Не можете ли вы ответить мне?» Я ответил ему отлично и заметил, что лицо его просияло. На другой день он объявил мне, что кроме общих уроков будет заниматься еще со мною одним. Он так хорошо подготовил меня, что я выдержал экзамен в 4-й класс первым из шестидесяти человек, выдержавших экзамен в этот класс.

Экзамены в то время производились вообще с особенно строгою обстановкою и торжественностью. Экзаменаторов по каждому главному предмету было не менее трех человек, кроме членов экзаменной комиссии, состоящей из многих компетентных лиц, которые тоже нередко задавали вопросы. Экзаменаторами были непременно профессора высших классов, к которым должны были поступать экзаменующиеся юноши, следовательно, первые были заинтересованы, чтобы эти юноши были хорошо подготовлены для слушания в будущем их лекций. Экзамены производились открыто, в больших залах, в присутствии всех прочих экзаменующихся, и баллы объявлялись тотчас же, как экзаменующийся отойдет от доски или стола. При таком порядке немыслимы были самомалейшие фаворитства или, обратно, незаслуженные обиды.

Я остановился немного долго на предмете по-видимому мало интересном, то есть на моем приготовлении в Институт, но я считал долгом характеризовать те небольшие частные заведения того времени, которые были оклеветаны, на которые нападали с какою-то яростью и которые были уничтожены, тогда как они были в большей части случаев благодетельны для родителей. Юноша в маленьком закрытом заведении может быть приготовлен и лучше, и скорее, за ним есть надзор во всех отношениях и его подготовляют к той дисциплине, которой он должен неуклонно подчиняться в казенном заведении, и между тем юноша чувствует, что он еще окружен пока попечением, имеющим некоторое подобие попечения родительского.

На эти частные небольшие заведения напали в предположении, что содержатели их, имея связи с теми казенными заведениями, в которые готовят юношей, по фаворитству с другими учителями могут помещать туда таких своих воспитанников, которые не заслуживают того.

С самым глубоким убеждением утверждаю, что ничего подобного не существовало в то время в Институте путей сообщения. Были ли подобные злоупотребления по другим заведениям, этого я не знаю. Надо обратить внимание на самый характер заведения, где преимущественно требовались математические познания. Оценка других отраслей знания, где требуется лишь память, конечно, представляет большую эластичность. Всегда есть такие вопросы, которые не могут не удерживаться в памяти, и наоборот, есть такие, которые вообще трудно сохраняются в голове. Стоит лишь задать тот или другой вопрос, чтобы быть почти уверенным, что последует хороший ответ, или — наоборот. При оценке же математических познаний подобная эластичность далеко не так удобна. Математика требует не памяти, а соображений и логичности. Какой бы вопрос ни задать, юноша должен оправдать и то и другое. Из математики можно срезать, но фаворизировать гласно, в присутствии сотни людей, невозможно.

По поводу моего приготовления в Институт я вспомнил одно курьезное обстоятельство, немало способствовавшее моему успешному учению у Полонского.

У нас, воспитанников, не было обыкновенных кроватей, а были деревянные шкафы, из которых выкидывалась кровать на ночь, а днем убиралась в шкаф. В этих шкафах кишели мириады клопов. Никакими мерами не было возможности истребить их. Первую ночь я провел напролет без сна, товарищи же, должно быть, попривыкли и спали как нельзя лучше. Не только одно кусанье клопов, но эти гады действуют на меня нравственно. Я не имел духу лечь на другой день в постель и придумал следующее: я поставил три табурета к столу, положил на стол подушку и расположился спать в халате на этих табуретах, но на такой мягкой постели долго не проспать, и в пять часов или ранее я проснулся и поневоле стал заниматься. Таким образом, я решился продолжать эту систему, и в течение всего времени моего пребывания у Полонского, то есть в течение трех с половиной месяцев, я спал на табуретках, просыпаясь не позже пяти часов, и моментально принимался за занятие. К тому времени, когда товарищи вставали, я был уже готов к трем предстоящим каждый день урокам из математики. Нельзя отрицать, что рассказанное сейчас курьезное обстоятельство немало способствовало моим успешным занятиям у Полонского.

В самом начале мая 1840 года я кончил экзамен, а явиться в Институт должен был только в начале сентября. Небезынтересен эпизод, касающийся этого промежутка времени.

В тот день, когда экзаменовавшихся собрали, чтобы объявить о приеме выдержавших экзамен, и когда я находился еще в зале Института, мне подали письмо, сказав, что человек ожидает ответа. Содержание письма было следующее:

«Многоуважаемый
Валериан Александрович!

Я очень дружен с вашим дядюшкой Владимиром Ивановичем. От сына моего Феди, который готовился с вами, я узнал, что вы блестящим образом выдержали экзамен, и мне было бы приятно познакомиться с вами. Не сделаете ли мне честь пожаловать ко мне сегодня откушать к четырем часам? Экипаж к вашим услугам и будет ждать у подъезда вашего распоряжения.

С уважением и проч.

Дмитрий Казин».

Мальчику, которому не было еще шестнадцати лет, и получить такое письмо от неизвестного и почтенного человека, не могло не быть лестно, тем не менее я был в нерешительности, что отвечать. Сын Казина, не выдержавший экзамена, был тут же в зале. Я показал ему письмо. Тогда он сказал, что отец предупредил его, что напишет мне письмо, и чтобы он с своей стороны, как товарищ, пригласил меня приехать к нему. К четырем часам мы приехали к его отцу. Есть, вероятно, еще немало в живых людей, которые знали Дмитрия Ниловича Казина, бывшего тогда директором бумажной фабрики дворцового ведомства в Петергофе, управлявшего этою фабрикою на коммерческих основаниях. Это был бесспорно чрезвычайно умный и чрезвычайно способный человек ⟨...⟩

Казин имел на Сергиевской улице небольшой собственный дом, а жил в Петергофе. Он принял меня с распростертыми объятиями и относился ко мне как к взрослому человеку. Впервые в жизни я был в незнакомом доме, но, несмотря на это, мне казалось, что я давно знаком с хозяином.

За обедом Казин завел следующий разговор:

— Где вы думаете провести лето?

— У меня здесь много родных — частью у одних, частью у других.

— А что, кто-нибудь из ваших родных не будет ли проводить лето в Петергофе?

— Нет.

— А вы знаете Петергоф?

— Я не был еще нигде в окрестностях Петербурга.

— Петергоф, любезнейший Валериан Александрович, рай земной, приезжайте на лето жить к нам.

Такое неожиданное предложение смутило меня и показалось сначала шуткой. Помолчав немного, я сказал, что не могу решить этого вопроса и мне надо переговорить прежде того с родными.

— Не беспокойтесь,— сказал Казин,— я переговорил уже с вашим дядюшкой, спросите его, и он вас благословит.

— У меня есть другие родные.

— Есть-то есть, я знаю, да Петергофа-то они вам дать не могут.

Я молчал.

Чрез несколько минут Казин возобновил разговор на ту же тему, обрисовывая фонтаны, парк, море,— словом, всячески соблазнял меня. Затем сказал:

— Да вот что: чрез пять дней я праздную с своей старухой серебряную свадьбу. Приезжайте к нам; понравится — ладно, не понравится — что же делать. Тогда и дадите ваш ответ. В день праздника я пришлю вам в девять часов утра коляску.

В назначенный день коляска явилась, и я отправился в Петергоф.

По приезде к дому, проходя прилегающим к дому садом, я встретил красавицу, девушку лет семнадцати в белом воздушном платье и с роскошными волосами. Девушка эта остановилась, оглядела меня и затем сказала:

— Это вы Валерушка?

— Я,— и я конечно покраснел до ушей.

— А я Сашенька; мы вас ждали, папа говорил, что вы молодец. Пойдемте, я покажу вам комнату, ведь вы будете жить у нас, не правда ли?

Комната была близко, в нижнем этаже, окнами в сад.

— Хорошо ли вам будет тут?

— Отлично,— ответил я.

Эта прелестная девушка поцеловала меня в лоб и улетела; она была вторая дочь Д. Н. Казина.

Я был обворожен, поражен, все мне казалось чем-то волшебным, сказочным, я сразу пленился, сразу врезался и моментально предрешил уже мысленно отнюдь не отказываться провести лето у Казиных, если только последует вторичное приглашение.

Праздник у Казина был на славу. В саду была устроена огромная палатка, в которой был накрыт стол на двести пятьдесят человек. В два приема пароход придворного ведомства привез из Петербурга массу гостей ⟨...⟩

После спектакля открылся блестящий бал, подобного которому мне не случалось еще видеть. Затем ужин и опять танцы до восьми часов утра, и тогда только начали отъезжать гости в Петербург на том же пароходе.

Утомленный и очарованный всем виденным мною в Петергофе, я заснул мертвым сном. Когда я встал, Казин позвал меня в кабинет.

— Ну что, понравилось вам у нас?

— Конечно, понравилось,— сказал я.

— Ну так с богом, по рукам.

— Я не могу,— ответил я,— у меня есть родной брат, с которым я желаю непременно провести все лето.

— Так что же, тем лучше: вместе, вместе пожалуйте к нам; я слышал тоже о вашем брате от Владимира Ивановича; ведь ваш брат товарищ Нилушке (другой сын Казина). Отлично, отлично, поезжайте за вашим братом и скорее к нам, видите, какой у нас простор, не будет никому тесно.

Через несколько дней мы приехали с братом к Казиным и провели у них все лето. Это время составляет одно из весьма приятных воспоминаний моей юности.

Лето было жаркое, а в такое лето Петергоф восхитителен с своими фонтанами. Содержался он в то время наилучшим образом, потому что государь Николай Павлович жил там все лето, а известно, как он любил это загородное место.

Дом Казиных был постоянно открытым домом. Каждый день накрывалось на стол приборов десять лишних. Все знакомые холостые являлись к обеду, к чаю без зова, особенно офицеры конно-гренадерского полка, квартировавшего и по сие время квартирующего в Петергофе.

Каждый день придумывались разные развлечения: катанья, partie-de-plaisir* с провизией и самоваром, прогулки пешком то в Сергиевскую пустынь, то в Стрельну, то

---

* увеселительная прогулка *(фр.)*.

в Ораниенбаум[19] и проч. Но для меня главным attraction* была все-таки Сашенька. Я скучал, если ее не было, я ревновал, когда она болтала с молодежью: большими кадетами, двоюродными или троюродными братцами и проч., во множестве посещавшими дом. При моих годах, неполных шестнадцати лет, моя привязанность к Сашеньке была, как говорится, самого платонического характера: было весело на душе, когда я ее видел, было отрадно, когда она болтала со мною. В это время какой-то художник рисовал с нее портрет в настоящую величину. Художник был, должно быть, не из важных: рисование этого портрета продолжалось месяца два, и художник держал Сашеньку часа по два в бальном платье с цветами и проч. Несмотря на все его старания, портрет вышел плоховат. Часто во время этого рисования Сашенька звала меня сидеть с нею для болтовни или для чтения; это было верхом удовольствия для меня, тем более что она была всегда весела и от природы очень остроумна.

В скором времени после нашего приезда в Петергоф брат мой и я сделались друзьями Сашеньки. Она интересовалась в то время одним молодым офицером конно-гренадерского полка, г. Ю., и тот тоже интересовался ею, но предложения еще не делал. Мы, то есть я и брат мой, были ее конфидентами и в тот день, когда его не было или он опаздывал прийти, мы, исполняя ее желание, бегали под каким-нибудь предлогом к этому офицеру и сообщали Сашеньке о том, что он делает. Ревности у меня к г. Ю. не было, напротив, я очень сочувствовал тому, чтобы он сделался женихом Сашеньки, потому что за нею сильно ухаживал полковой командир того же полка генерал-майор барон К., человек с лишком пятидесяти лет, который делал уже предложение, но которому ответили деликатно, что надо-де выждать. Мне казалось ужасным, если Сашенька выйдет за этого генерала. К концу лета Ю. посватался, Сашенька была объявлена невестой, вскоре вышла замуж и была очень счастлива.

Наступил сентябрь, и мне нужно было явиться в Институт путей сообщения.

Невольно возбуждается вопрос: что могло побуждать Казина отнестись так внимательно, можно сказать сердечно, к нам, то есть двум юношам, никогда прежде его не знавшим. Хотя он ни разу не обнаруживал своей задней мысли, но в конце концов мы поняли, что он желал, чтобы

* притягательная сила *(фр.)*.

его два сына, порядочные лентяи, провели лето с товарищами, которые могли бы некоторым образом повлиять на его сыновей.

С отъездом нашим из Петергофа знакомство наше с семейством Казиных хотя и не прекратилось, но мы могли бывать у них лишь раз или два в год, когда они приезжали на несколько дней из Петергофа в Петербург. Но когда мы вышли на действительную службу на постройку Николаевской железной дороги, то случилось, что местожительство наше находилось в трех верстах от имения Казиных, куда они в это время приезжали проводить лето, а потому мы очень сблизились с этим семейством и сделались как бы своими в их доме ⟨...⟩

Ко времени моего экзамена для поступления в Институт путей сообщения относится также первая моя встреча с Некрасовым. К экзамену надо было представить какой-нибудь рисунок для соблюдения лишь одной формальности. В искусстве рисования я не был силен и потому обратился к одному знакомому, некоему Даненбергу, которого я знал уже три года в то время, когда он был студентом в Казани. Это был человек поистине с артистической натурой: он играл отлично на скрипке, на кларнете, на гитаре, пел и превосходно рисовал. В Казани он жил вместе с Р-ским, когда они оба были студентами ⟨...⟩ Когда Р-ский был еще здоров, то Даненберг, живя с ним, собрал из товарищей оркестр и дирижировал им. Весною по вечерам этот оркестр собирался, между прочим, на дворе у Р-ских. Двор их дома подходил к самому городскому публичному саду, называвшемуся «Черное озеро», и находился на горе. Музыка со двора Р-ских очень хорошо могла разноситься по саду, а так как в саду никакой музыки не бывало, то означенный студенческий оркестр привлекал в сад массу публики. Вообще Даненберга все любили, и это был веселый, добрый и задушевный человек.

В то время, к которому относится настоящий мой рассказ, Даненберг был в Петербурге и готовился держать экзамен в Академии художеств на права архитектора.

Когда мне понадобился рисунок к моему экзамену, я и отправился к Даненбергу. Перед этим, за недостатком времени, я не был у него несколько месяцев. Он жил на Васильевском острове в четвертой линии, занимая одну комнату во втором этаже окнами на улицу. Тотчас по моем приходе Даненберг взял большой лист рябой бумаги и на-

чал рисовать голову толстейшим, мягким карандашом. В комнате стояли ширмы, и я слышал, что за ширмами есть живое существо.

Менее чем в час рисунок подходил уже к концу, и я беспрерывно просил, чтобы Даненберг делал его похуже, дабы могло быть вероятие, что я сам исполнил рисунок; но, несмотря на это, он вышел замечательно хорош, так что когда я подал его потом профессору рисования, то он расхохотался и сказал: «Этот рисунок сделан не вами, а каким-нибудь художником». Я, конечно, смолчал, но формальность представления рисунка была исполнена.

Во время рисования Даненберга вышел из-за ширмы человек в татарском засаленном халате, волоча ноги и хлопая туфлями, подошел медленно к окошку и, уткнув палец в притолку окна, сказал: «Три часа, пора поесть».

Когда этот незнакомец скрылся опять за ширмами, я тихонько спросил Даненберга о том, что значило указание пальцем на притолку окна. Даненберг засмеялся и сказал: «Это наши часы; на притолке отмечены чертами тени от переплета окна для солнечных часов».

Не окончив еще рисунка, Даненберг вышел в сени, и вслед за тем принесены были щи; они оказались очень хороши, и мы с аппетитом поели их втроем. «Извините,— сказал Даненберг,— у нас второго блюда нет».

Поевши щей, незнакомец сказал Даненбергу, что ему надо сходить со двора. Даненберг тотчас же ушел за ширму, и я заметил, что он вышел оттуда в туфлях. Затем вышел незнакомец, уже одетый, и спросил Даненберга: «Что, сегодня свежо?» — «Да, свежо»,— ответил Даненберг. «Так я надену плащик»,— сказал незнакомец. «Пожалуйста»,— ответил Даненберг.

На все это я обратил внимание, и когда, по уходе незнакомца, мы остались вдвоем с Даненбергом, то на мои вопросы он рассказал мне, что несколько месяцев тому назад он случайно познакомился с этим молодым человеком по фамилии Некрасовым, находившимся в крайнем положении, и пригласил его к себе.

По поводу означенной моей встречи у Даненберга с Некрасовым, совершенно безызвестным тогда молодым человеком, я забегу вперед и расскажу эпизод, послуживший сближению моему с Некрасовым и случившийся семь с половиной лет спустя. Ни фамилии, ни наружности встреченного мною один раз у Даненберга незнакомца я, конечно, в памяти не удержал, так что когда в 1846 году я стал встречать Некрасова у Ивана Ивановича Панаева,

еще до основания «Современника», то мне и в голову не приходило, что Некрасов есть тот самый молодой человек, которого я видел у Даненберга только раз, потому что последний после того скоро покинул Петербург навсегда[20].

В конце 1847 года Некрасов жил уже вместе с Иваном Ивановичем Панаевым, и они начали в этом году издавать «Современник»[21]. Я жил тогда в трехстах верстах от Петербурга на Николаевской железной дороге, находившейся еще в постройке. К зиме я приехал в Петербург и по приезде в тот же день отправился к Ивану Ивановичу, и в тот же вечер собралась там компания ехать ужинать в ресторан Дюссо и затем кататься на тройках.

Надо сказать, что до половины сороковых годов дамы из общества никогда, в Петербурге, не ездили в рестораны, но около этого времени был дан толчок из самых высших сфер общества, и посещение ресторанов вошло в моду 〈...〉

В собравшейся нашей компании приняли участие четыре дамы и семь мужчин: жена Ивана Ивановича (ныне Головачева), жена поэта Огарева, жена профессора Кронеберга с сестрой Ковалевской, Некрасов, живописец Воробьев с братом, я с двумя братьями, и седьмого не помню 〈...〉

Когда названная компания поужинала, то все попросили Некрасова рассказать про свое житье-бытье по приезде его юношей из Ярославля в Петербург и о претерпенных им бедствиях.

Рассказывая вкратце эту свою историю, Некрасов, между прочим, передал нам следующий эпизод:

— Когда,— говорил он,— я истратил все деньги и профессор, у которого я жил и готовился в университет, пригласил меня удалиться от него[22], я попал в критическое положение и стал пописывать забавные стишки для гостинодворцев. Некоторое время я кое-как перебивался, но наконец пришлось продать все скудное мое имущество, даже кровать, тюфяк и шинель, и остались у меня только две вещи: коврик и кожаная подушка. Жил я тогда на Васильевском острову, в полуподвальной комнате с окном на улицу. Писал я, лежа на полу; проходящие по тротуару часто останавливались перед окном и глядели на меня. Это меня сердило, и я стал притворять внутренние ставни, так, однако, чтобы оставался свет для писания[23]. Однажды прошло уже три дня, как я питался одним черным хлебом. Хозяйка объявила мне, что потерпит еще два дня, а затем выгонит вон. Лежу я на полу, в приятном расположении духа после приговора хозяйки, и пописываю. Вдруг появ-

ляется на пороге человек, большого роста, очень видный, в светло-сером плаще, и спросил меня: «Здесь ли живет г. N?» Я ответил ему раздраженным тоном, что никакого N тут нет, отвернулся и продолжал писать. Вижу, однако, что господин в плаще не уходит. Подождав немного, я ему сказал:

— Что вам нужно? Небось любуетесь на мою обстановку?

— Признаюсь,— ответил он,— ваша обстановка озадачила меня; хотя я тоже не в завидном положении, но у меня есть в кармане двадцать рублей и довольно хорошая квартира; не пожелаете ли поселиться у меня? Пожалуйте хоть сейчас, я живу очень близко отсюда.

— Мне нужно заплатить хозяйке пять рублей,— сказал я.

— Вот вам пять рублей, заплатите и идемте со мною.

Я тотчас же расстался с хозяйкой, взял под мышку коврик и подушку, и мы отправились вместе с господином в плаще. Фамилия этого человека была Даненберг[24]; мы прожили с ним немалое время; выходили мы со двора поочередно, так как сапоги мои были негодны, и у меня не было шинели, а у него был плащ. (Этот плащ, довольно оригинальный, я видал на Даненберге еще в Казани.)

Тогда я вспомнил нашу встречу с Некрасовым у Даненберга, вспомнили мы с ним и оригинальные солнечные часы, и вкусные щи, и после того много, много Некрасов рассказал еще доброго о Даненберге.

В тот же вечер, после ужина, по просьбе компании я прочел наизусть стихи Некрасова, от которых я был в восторге и которые не были напечатаны; их я списал у Ивана Ивановича Панаева. Это стихотворение называлось «Родина» и появилось в печати лишь через девять лет под заглавием «Старые хоромы», с посвящением их, в первом издании 1856 года, мне. Почему последующие издатели выкинули это посвящение, этого я не знаю[25]. Упомянутый вечер и был первым моим настоящим знакомством с Некрасовым, и с этого же вечера, после декламации мною его стихов, и установились у нас дружеские отношения, не прекращавшиеся до последнего дня его жизни ⟨...⟩

Во время моего пребывания у Полонского я ходил в отпуск по преимуществу к Ивану Ивановичу Панаеву и по-прежнему помещался в одной комнате с Белинским.

В это время я видел раз мельком Бакунина, поразившего меня своею внушительною и выразительною наружностью. Летом Иван Иванович разъехался с своею матерью и поместился на отдельной квартире, одновременно с этим и Белинский нанял себе отдельную квартиру.

Когда я поступил в Институт, то мы с братом тоже всегда по воскресеньям и праздникам бывали у Ивана Ивановича и постоянно видали там Белинского. Я не помню, чтобы в зиму 1840—1841 года мне случалось видеть часто у Ивана Ивановича петербургских литераторов. Тогда еще не появились на горизонте Тургенев, Гончаров, Григорович, Достоевский и Некрасов. Но мне случалось встречать у Ивана Ивановича московских литераторов, в том числе много раз я видел Каткова, который более месяца проживал у Ивана Ивановича. В это время публика очень интересовалась романами американского писателя Купера. И конечно этот автор заслуживает особенного внимания. По моим понятиям, произведения Купера можно признать образцовыми в воспитательном значении для юношества. Никто так не способствует поднятию и облагораживанию духа начинающего знакомиться с изящной литературой, причем он не проводит никаких предвзятых тенденций. Иван Иванович Панаев имел бесспорно большое чутье ко всему изящному и тотчас по появлении в Петербурге романа Купера «Озеро-Море, или Патфиндер» (имя героя), этого, можно сказать, перла всех романов Купера, где его герой, действующий в целой серии романов, является во всем блеске величия духа, принялся за перевод означенного романа [26]. Случилось так, что в это время Катков, кончивший уже курс в Московском университете, намеревался отправиться за границу и проездом через Петербург остановился у Ивана Ивановича Панаева. Иван Иванович Панаев, пользуясь этим обстоятельством, предложил Каткову помочь ему, Панаеву, ускорить перевод романа, что, впрочем, совершенно совпадало с материальными интересами Каткова ради поездки за границу. Катков очень охотно принял это предложение и потому прожил у Ивана Ивановича более месяца. В это-то время я и видел у него Каткова.

Катков носил тогда волосы длиною до плеч, был худоват, бледноват и с неопределенным, светлым, чтобы не сказать водянистым, цветом глаз. Длинные волосы страшно мешали ему работать, и он, занимаясь переводом, беспрерывно откидывал их назад рукою. Но такова была

тогда мода среди молодых людей, желавших выражать длиною волос свой либерализм, к тому же Катков собирался ехать за границу, а в это время все, побывавшие в чужих краях, возвращались оттуда с волосами по плечи. Конечно, подобные шевелюры по редкости бросались всем в глаза и безобразили мужчину. К тому же при тогдашнем обычае и необходимости с такою шевелюрою употреблять помаду, длинные волосы, падающие через воротник на плечи, не представляли безукоризненной опрятности.

Современники должны помнить историю с Яковлевым, молодым богачом, гремевшим в то время в Петербурге. Он довел свою шевелюру до безобразия, и когда однажды император Николай Павлович встретил на Невском Яковлева, летящего на рысаке, то дал знак остановиться и приказал ему ехать в Зимний дворец, где и показал его императрице как диковинку. Об этом эпизоде было много версий, но все, однако, сходились в характере комизма роли, выпавшей на долю Яковлева.

Приходя в отпуск в девять часов утра, мы всегда заставали Каткова уже одетым и сидящим за работой у письменного стола Ивана Ивановича. По видимой холодности и несообщительности Каткова, а равно принимая в соображение мою юность, я ни в какие разговоры с Катковым не вступал, хотя приходилось иногда просидеть три часа в одной комнате, пока не появится Иван Иванович и его жена. Затем садились пить чай и кофе, и к этому времени большею частью появлялся Белинский. Тогда все как бы оживало, и он оставался почти всегда на целый день. В эти же дни постоянно приходил к Ивану Ивановичу учитель словесности некий Кречетов, человек очень милый, но с большою претензиею на понимание изящного и на судью в литературном деле, чем нередко подавал повод к остротам на свой счет. День проходил в чтении какого-либо литературного произведения, в рассказах Ивана Ивановича прочитанного им на французском языке какого-либо сочинения, с которым он желал ознакомить Белинского, не читавшего еще в это время свободно на этом языке, затем очень часто возбуждались интересные споры с случайными посетителями о литературе, о науке, об оценке тех или других исторических деятелей или авторов, о театре или каком-либо общественном факте, так что день обыкновенно проходил быстро и оживленно, и бывало очень досадно уходить в заведение в самый разгар какой-нибудь горячей речи Белинского.

Вообще, в моих «Воспоминаниях» я старался давать рассказы преимущественно о том, что могло связываться с интересами объективными или характеризовать черты, нравы и обычаи известной эпохи. Но ⟨...⟩ я позволю себе дать рассказ о субъективном предмете, касающемся одного психического момента моей жизни, попросту сказать, первого серьезного вспыхнувшего чувства любви к восхитительной девушке.

По производстве в офицеры мы отправились с братом в отпуск к родителям в Казанскую губернию. Из Петербурга до Москвы мы поехали в дилижансе, а далее надо было ехать на перекладных. В то время не было еще за Москвой ни единого шоссированного тракта, а по тракту от Москвы до Владимира немыслимо было пускаться на почтовых лошадях, не рискуя сидеть на станциях за недостатком лошадей по суткам и более. Спасителями для этого тракта являлись вольные ямщики, которые, обходя гостиницы, предлагали доставлять во Владимир в известный срок в своих рыдванах за двойную цену против прогонов. Так поступили и мы. Но далее от Владимира надо было ехать на перекладных. Мы пробыли в дороге шесть суток, ехавши безостановочно днем и ночью, чтобы скорее попасть домой. Каждый час отдохновения казался каким-то преступлением, ибо наш отпуск был весьма краткосрочен. Помню, что после такой через меру напряженной езды, от бессонницы, от усталости, от тряски и от бесконечного бряцания колокольчиков я в течение трех дней был почти глух, и мне казалось, что все и я сам говорили шепотом, и это очень встревожило мою матушку. Я упоминаю об этом факте потому, что подобного странного состояния не случалось уже мне испытывать другой раз в жизни.

Чрез несколько дней после нашего приезда мы были приглашены на праздник верст за восемнадцать к одной соседке за реку Каму в деревню Чирпы. Эта соседка была Надежда Львовна Завалишина, урожденная Толстая. По зимам она жила в Москве и принадлежала к высшему московскому кругу, а на лето приезжала в деревню. Она не имела родных детей, а вышла замуж за вдовца, которого в описываемое время не было уже в живых и у которого было два сына и одна дочь. Оба сына были известные декабристы и в данное время находились в Сибири. Старуха жила с падчерицей и имела еще воспитанницу по фамилии Стахеева. Кроме того, у нее проживали трое племянников, одногодки с нами, дети брата ее Павла Львовича Толстого ⟨...⟩

Надежда Львовна Завалишина была по тогдашнему времени одна из самых образованных и передовых женщин, равно как и ее падчерица Катерина Иринарховна, уже пожилая девушка. Несмотря на то что Завалишина была лет на двадцать пять старше моей матери, она относилась к ней как к задушевному другу.

В доме Завалишиной нам еще в детском возрасте всегда было как-то легко и приятно. Не бывав у нее вследствие нашего отсутствия в Петербурге несколько лет, мне и брату моему было очень весело поехать к Завалишиной.

По приезде туда мы встретили следующих лиц:

Племянника Завалишиной Льва Павловича Толстого, очень молодого и очень образованного человека, еще холостого, который женился впоследствии на моей двоюродной сестре. Одна из их дочерей есть известная здесь в Петербурге дама, М. Л. К.; другого племянника, уже зрелого, Григория Михайловича Толстого. Это был тип тогдашних героев высшего круга. Он был не только хорош собою и прекрасного роста, но особенно интересен, и был в полном смысле джентльмен, доказывая не раз это свое качество на деле. Был богат, большую часть времени проводил за границей и приезжал изредка в деревню с приятелями преимущественно для охоты. В окрестностях его имения Ново-Спасское было такое беспримерно богатое место для охоты на дупелей, что охотники очень часто брали в один день по сто пятьдесят дупелей и более. Женат Григорий Михайлович не был и впоследствии никогда не связывал себя узами брака, но любил поволочиться слегка за особами замужними, заслуживающими внимания. Словом сказать, это был тип, изображенный Пушкиным в «Евгении Онегине». Есть еще теперь живые люди, которые знали Григория Михайловича и которые, конечно, согласятся со мною, что сравнение мое верно, тем более что он не рисовался и был естественно по характеру и обстоятельствам жизни родным братом Онегину. Г-жа Головачева, в своих воспоминаниях, коснулась этой личности по поводу того, что Иван Иванович Панаев и Некрасов гостили одно лето в Ново-Спасском у Григория Михайловича Толстого[27] ⟨...⟩

Из женского пола мы увидели даму И., принадлежавшую к симбирской аристократии, которая гостила в это время у Завалишиной. Она была не первой молодости, носила обстриженные по плечи волосы, красотой не отличалась, но была известна как особа весьма интеллигентная

и образованная, которою и интересовался в это время Григорий Михайлович.

В те времена нестесненность в манерах обращения и известная вальяжность были редкостью и представляли в некотором роде шик. Мы застали Григория Михайловича в гостиной сидящим на полу, на вышитой подушке, положившим голову с длинными волосами по заграничной моде на низкий турецкий диван близ колен той дамы, о которой я упомянул сейчас. Поздоровавшись с нами, он не изменил своего положения и продолжал живую беседу со своею дамой.

Вскоре появилась воспитанница Завалишиной Стахеева. Я видел ее перед тем года за четыре, когда ей было лет четырнадцать. Теперь предстала девушка вполне расцветшая, очень красивая, пышущая здоровьем и, как говорится, маков цвет. Мы с братом очень обрадовались встретиться с нею, тем более что и в детстве нам было весело играть с нею потому, что она была очень живого характера.

Сейчас же, конечно, завязалась болтовня, воспоминания о детстве и проч. и проч., а потому пребывание у Завалишиной обещало быть небезынтересным для меня.

Но вдруг впорхнула в гостиную какая-то фея, быстро обежала и расцеловала родных, поздоровалась с одним, с другим, с третьим, всякому что-нибудь сказала и наконец остановилась перед нами, незнакомыми ей лицами. Завалишина тотчас же представила ей нас. «А это,— сказала она,— моя внучка Сашенька Мельгунова».

С первого момента появления феи, с первого на нее взгляда она ослепила меня как солнце, и все остальное затмилось. За секунду перед тем Стахеева казалась и красавицей и интересной, и вдруг она поблекла в моих глазах до такой степени, что признак какого-либо сравнения показался бы мне диким. И такое внезапное впечатление, если еще не большее, как оказалось впоследствии, фея произвела и на моего брата.

Подобное неожиданное, ошеломляющее впечатление может происходить не от той или другой особенности, а только от полной гармонии всего. Описать красоту феи трудно. После ошеломляющего впечатления я увидел, что не было ни одной черты ни в лице, ни в фигуре, которая не казалась бы совершенством, ни одного движения, которое не было бы усладительной, естественной грацией, но наиболее выдающейся красотой были, конечно, глаза, голубо-серые, необычайной величины, с выражением бездонной

глубины, ласкающей приветливости, живости и интеллигенции, которые широко и открыто смотрели на вас, блестя как бы беззаветною искренностью. Затем бросалась в глаза громадная темно-каштановая коса, оттягивающая чрезвычайно естественно и грациозно голову назад, приподымая лицо и придавая тем ему несколько горделивый вид. Но окончательное и непобедимое очарование охватило нас тогда, когда мы разговорились с этой волшебницей. Я говорю мы, потому что совершенно однородные впечатления и чувства зародились одновременно во мне и в моем брате.

День был жаркий, двери из гостиной на балкон были растворены. Тотчас по представлении ей и ее нам фея, сказав два-три слова, порхнула на балкон, куда и мы последовали за нею. В такие моменты, конечно, разговор между незнакомыми еще лицами не может клеиться, и фея, инстинктивно находчивая, чрез несколько минут предложила целой компании идти в сад. Сад был большой, и пока мы обходили его и пришли назад, то казалось, что я век был знаком с феей.

По возвращении нашем из сада сели за обед, а после того все вышли на обширный луг, расстилавшийся перед домом. Затеялись разные игры и между прочим горелки, в которых приняли участие и деревенские девушки. Когда мне досталось «гореть» и когда должна была бежать фея, то я во что бы то ни стало хотел поймать ее. На фее было бледно-палевое кисейное или из какой-то другой материи самое воздушное платье с греческими открытыми рукавами, перехваченное толстым шнурком. Она бежала как из лука стрела, и всякий раз, как я достигал ее, она успевала увернуться. Наконец я мог схватить ее за плечи, но не решился на это и схватился за юбку платья; фея рванулась, и платье значительно разорвалось, так что конец его пал на землю. Я обомлел и ожидал презрительного замечания за мою неловкость. Ничуть не бывало, фея засмеялась, быстро заткнула конец платья за поясной шнурок, признала себя пойманной и продолжала играть как ни в чем не бывало.

После игр вернулись пить чай, и затем тетка феи приказала ей сесть за фортепьяно и спеть. Она выбрала прелестную песнь Офелии Варламова[28]. Такого исполнения, такого выражения, какое она придавала этой песне, я не слыхал после никогда. Мы были охвачены новым очарованием, и о впечатлении, произведенном пением феи, мне придется сказать дальше несколько слов.

К вечеру затеялись танцы. Опять очарование от натуральной грации и легкости в танцах. В вальсе казалось, что вы танцуете не с дамой, а с воздушным облаком. В кадрили она заводила серьезный разговор, и я решительно недоумевал — говорю ли я с девушкой восемнадцати лет, менее года тому назад вышедшей из Московского Екатерининского института[29], или с девицей, пожившей уже в свете.

Во время танцев тетка несколько раз отзывала фею в сторону и, видимо, делала ей какие-то замечания. «Как это скучно слушать,— сказала мне фея после одного замечания,— но это скоро кончится, когда я поступлю в монастырь».

«Что за шутки,— сказал я,— вы поступите в монастырь, да с чем же это сообразно?»

«Я говорю вам не в шутку, а правду. Я сирота, должна гостить то у одних родных, то у других и считать себя одолженной, хотя меня и любят, но получать беспрерывно выговоры и слушать замечания: то не так, другое не так, мне надоело, я хочу независимости, и эту независимость я найду в монастыре». И фея смотрела такими открытыми глазами, говорила таким тоном, что можно было подумать, что она говорит вполне искренно, и весьма вероятно, что в этот момент она действительно говорила искренно.

В одиннадцать часов вечера фея спросила позволения у тетки и пригласила всю молодежь идти прогуляться по саду. Все пошли, кроме Григория Михайловича, и меня тогда очень удивляло, как он не пленен феей и относится к ней с какой-то усмешкой.

Сад, как я уже сказал, был большой и тенистый в такой мере, что ветви огромных деревьев: дубов, вязов, лип, кленов и берез — сходились вверху, образуя зеленый свод. Вечер был теплый, тихий, и луна была во всем блеске.

Сначала все шли гуртом и весело болтали. Вдруг фея выскочила, крикнула: «Кто догонит меня?» — и полетела вперед. Пока все остальные опомнились, она успела убежать довольно далеко. Мне удалось броситься за нею первым; аллея была не прямая, а с поворотами, так что я и она естественно скрылись из взора остальных. В тот момент, когда я был уже близко к фее, она мелькнула вон из аллеи в сторону; я за нею, и мы очутились у пруда, около которого находилась дерновая скамья, окруженная большими деревьями, которые скрывали ее от аллеи. Запыхавшись, фея села на скамью и сказала: «Отдохните немного». Едва мы сели, как услыхали топот бегущих по аллее вдогонку за

нами, не подозревавших, что мы свернули в сторону, где не было никакой аллеи. Когда топот удалился, фея вышла и сказала: «Пойдемте тихонько, они будут бегать и искать меня, а мы раньше их придем домой и посмеемся над ними». Я был так молод и неопытен, что мне и в голову не пришло попросить у феи позволения поцеловать ее ручку.

Здесь кстати замечу, что через сорок лет, находясь в тех краях и проезжая мимо Чирпов вместе с моею дочерью, я не выдержал, и мы заехали туда, где я показал ей ту аллею, по которой мы бежали, и пруд, и развалившуюся уже совсем скамью.

На следующий день гостей было очень мало, разговор с феей случался чаще, и очарование росло, если только оно могло еще расти. К вечеру надо было уезжать, тем более что мы были не одни, а с матушкой. Как я молил бога, чтобы сделалась буря, пошел дождь или случилось что-нибудь, могущее помешать отъезду, но ничего такого не случилось. Казалось, что с отъездом кусок вырывается из сердца, слезы душили, впереди представлялся мрак, все в отсутствие феи должно было быть безличным, никакого интереса представлять не могущим.

В непродолжительном времени мы с матушкой поехали в Емельяновку ⟨...⟩ Дорога в Емельяновку пролегает в двух верстах от Чирпов, и на обратном пути мы заехали к Завалишиной на несколько часов. Других гостей не было, потому можно было побольше поговорить с феей, а главное, она на этот раз много пела, и очарование дошло до того предела, когда от напора чувств сердце хочет как бы разорваться на части.

Таким образом, несмотря на короткий срок двух встреч с феей, мною овладело чувство крайне серьезное, но я старался скрывать это от других, тем более что увидал, что едва ли еще не более сильное чувство овладело моим братом, который не был в силах скрыть его. Опостылела для нас радость пребывания дома в отпуску, ко всему мы стали равнодушны; брат сделался видимо мрачен, удалялся от людей, лежал больше в своей комнате, и потому чуткое сердце нашей матери угадало причину, и брат мой поделился с нею своим чувством.

Я старался всеми мерами бравировать, но частенько целыми часами сидел у окна, глядя в ту сторону, где находилась фея. Перед окнами виднелись верстах в четырех огромные горы Камского берега; там за Камой фея; слезы невольно навертывались при мысли, что надо давить возникшее чувство по двум причинам: во-первых, надо было

ехать в Петербург и еще два года слушать курс наук, во-вторых, мы встали на одну дорогу с братом. Так или иначе, ничего утешительного и реального не могло быть.

Впрочем, ни о чем реальном не приходило в голову. Сознавать присутствие феи, видеть ее, поговорить с нею, казалось, по внутреннему чувству, было бы совершенно достаточным, чтобы наполнить и удовлетворить душевное состояние данной минуты. Но как удовлетворить ему? Посещать тот дом, где была фея,— да для этого нужен был предлог; затем — если бы и ездить туда, то одному делать это было невозможно, надо бы было ездить с братом, который находился в особенно тяжелом настроении духа. И к чему могло привести это? Можно было только казаться смешным в глазах моего отца, Завалишиной и самой феи, так как нам предстояло еще два года учения. Понятно, что надо было тушить пожар, а ездить в дом, где находилась фея, для того только, чтобы доставить себе минутное удовольствие и развлечь себя, казалось недостойным того сильного чувства, которое охватило как меня, так и брата, хотя мы и не сообщали ничего друг другу.

Чтобы иметь, однако, возможность отдаваться вполне точившей меня грусти, я стал под предлогом охоты, бравши ружье, уходить еще до восхода солнца и направляться к тому блаженному месту, где находилась фея. Дойду, бывало, до Камы, и стоп. Не будь этой Камы, переправа через которую требовала часа два и столько же обратно, я мог бы успевать доходить в качестве охотника до Чирпов и ворочаться к обеду. Но проклятая Кама мешала, и я посижу, бывало, на берегу, дам волю душившим меня слезам и, облегчившись этим и тем, что я находился не в восемнадцати, а всего в семи или восьми верстах от феи, возвращался домой к утреннему чаю как ни в чем не бывало ⟨...⟩

Проездом из нашей деревни в Казань мы должны были встретиться еще раз с феей ⟨...⟩

Дорога от нашей деревни до Казани пролегала верстах в трех от Чирпов. Мы заехали туда переночевать и на этот раз видели фею мельком. На следующий день тоже по дороге в Казань мы должны были провести праздник в деревне Державине у Хрущевых ⟨...⟩ Завалишина с своей семьей и феей должна была ехать туда же.

В этот день фея была очень весела: танцевала, как говорится, до упаду и пела без конца. Видимо, до нее дошел слух о том потрясающем впечатлении, которое она произвела на моего брата, и она была особенно любезна с ним.

Между тем брат мой не любил танцевать, и как она ни старалась увлечь его в танцы, он не поддался. Вечером я видел, что она пошла с ним в сад, не пригласив никого. Хотя я ревновать не мог, ибо видел, что душевное состояние брата в виду нашего отъезда было в полном смысле слова ужасающее — не менее того, в тот момент, когда фея пошла с ним в сад, что-то заскребло в сердце. Чрез несколько уже лет я узнал, что мой брат при этой прогулке не решился тоже поцеловать ручку у феи, тогда как его tête-à-tête* не был случайным, как это было со мною в Чирпах, а был вызван по ее инициативе.

Вскоре она вернулась и пустилась опять в танцы. Во время танцев фея сказала мне, что ей не придется более танцевать со мною, так как я, когда окончу курс, могу увидеть ее только монахиней, о чем она уже сообщала мне.

После танцев разыгрывали лотерею из безделушек и работ в пользу каких-то бедных людей. Мне посчастливилось выиграть закладку в книгу работы феи, сделанную из картонной канвы с вышивкой бисером слова «souvenir»**. Это обстоятельство дало мне повод поддразнивать фею. Наконец, когда после ужина все стали расходиться, я сказал фее: «Ах, я забыл передать вам стихи, которые я прочел в журнале и переписал для вас». Подав эти стихи, я простился, ушел и уже ни разу в жизни не видал ее более.

На другой день, чтобы попасть в Казань вовремя, мы должны были выехать с восходом солнца. Дом у Хрущевых не был так обширен, чтобы поместить всех гостей и дать всем постели. Я пошел спать в нашу карету, стоявшую во дворе. До сих пор живо помню эту ночь. Я не сомкнул глаз до света, захлебываясь, благо был один, от слез как ребенок при мысли, что не увижу более феи и что, покоряясь неизбежному року, надо было ехать в Петербург продолжать свое учение.

Матушка была с нами и провожала нас до Казани. С нею была горничная, которая ведала уже о стреле, пронзившей нас. Оказалось впоследствии, что брат мой и я поручили этой горничной, независимо друг от друга, следить и сообщать нам при случае (она была неграмотная) все, что узнает о фее. Я упоминаю об этом потому, что иначе один курьезный факт, о котором я скажу далее, был бы непонятен ⟨...⟩

---

* свидание, разговор с глазу на глаз (*фр.*)

** сувенир (*фр.*).

Читатель может подумать, что, делая очерк феи, я под влиянием сильного впечатления в молодости через меру усилил краски, но есть еще мои одновременники, которые знали ее. Например, могу указать на племянника Завалишиной Сергея Павловича Толстого, проживающего ныне в своем имении Мурзихе на Каме недалеко от упомянутой деревни Чирпы. Я не сомневаюсь, что он подтвердил бы мой взгляд, что фея в самом деле была феей, обладавшей могучею силой производить необычайно обаятельное впечатление на людей.

Небезынтересен рассказ об исходе болезни, нас охватившей.

По приезде в Петербург начавшиеся немедленно серьезные занятия конечно стали отвлекать меня от сосредоточения на мысли о фее, в особенности я стал увлекаться лекциями Остроградского и относился к занятиям с любовью. Но это далеко не действовало так благодетельно на брата. Он шел отлично, занимался пристально, но делал это не с любовью, а по долгу и по обязанности, тем более что стоял в этом году первым по списку. Но в свободное время от занятий он только и делал, что постоянно рисовал фею с большим сходством и на тетрадях, и на книгах, и на первом попавшемся ему лоскутке бумаги. При разговоре товарищей о красоте какой-либо женщины он относился к ним иронически или удалялся, чтобы не слышать профанации, то есть что существуют на свете женщины, достойные внимания, кроме феи. Ближайшие товарищи узнали о таком настроении брата и старались не затрагивать при нем подобных вопросов.

У меня был товарищ, большой мне друг, веселый, благородный малый, года на четыре старше меня, человек уже опытный, и он-то и побудил меня посещать театр; вскоре я стал находить, что на свете есть женщины, хотя и не такие, как фея, а все-таки не лишенные интереса. Что же касается до брата, то он не только в театр, но никуда не ходил.

Однажды я пошел на представление «Гамлета», которого играл великий, знаменитый трагик Василий Андреевич Каратыгин. В это время Офелию играла Надежда Васильевна Самойлова, которая превосходно пела и изображала сцену сумасшествия. Вообще, она была музыкальный человек и хорошая певица, обладая бархатным голосом почти контральтового тембра, и исполняла песнь

Офелии почти так же выразительно, как и фея. В то время «Гамлета» давали очень часто, и я никогда не пропускал этого представления. Как я ни старался увлечь хотя бы на один раз брата посмотреть Каратыгина и послушать Офелию, но не мог. По его настроению духа идти слушать песнь Офелии значило изменить своему идеалу. Только на следующую зиму, с 1843 на 1844 год, когда появилась в Петербурге впервые итальянская опера с Рубини, Виардо и Тамбурини, брат решился посещать оперу, и эта решимость была началом исхода болезненного состояния его духа. Но, в сущности, это состояние продолжалось почти два года; и даже тогда, когда он узнал, что фея вышла замуж, он не излечился еще вполне, и только года через четыре, когда он заинтересовался одной женщиной, можно было счесть его выздоровевшим окончательно.

Моему же сравнительно довольно быстрому излечению, сверх сказанного выше, способствовало следующее, весьма курьезное обстоятельство.

В конце зимы после нашей встречи с феей прибыл к нам из деревни обоз, то есть воз на паре лошадей с разной деревенской провизией, как-то: мороженые гуси, куры, индейки, утки, полотки, ветчина, масло, разные варенья, пастилы, цукаты, пряники, сушеные фрукты и ягоды и проч. Можно ли представить себе в настоящее время, что был расчет везти за тысячу семьсот верст подобную провизию. А расчет действительно был: лошади свои, труд кучера, кроме пропитания его, ничего не стоил, и вся провизия на месте не имела сбыта.

Брат мой решительно хозяйством не занимался, и потому мне, конечно, пришлось принимать все и вскрывать ящики. Когда я вскрыл один ящик, то увидел в нем ядра орехов (вкус казанских орехов имеет репутацию). Высыпав эти ядра, я увидел неожиданно дно ящика только на половине его глубины, и на этом дне находился незапечатанный конверт с надписью на мое имя. В этом конверте я нашел стихотворение, писанное рукой феи как бы в ответ на переданное ей мною стихотворение при отъезде с несколькими словами, но без подписи. Признаюсь, что в этот момент, видя состояние духа брата, я был бы более рад, если бы конверт был адресован на его имя. Затем, когда я вскрыл противоположную доску ящика, я увидел тоже ореховые зерна и, высыпав их, нашел такой же незапечатанный конверт на имя брата с надписью той же руки, и я несказанно обрадовался.

Я понял, что эти конверты были отданы феей горничной матушки, которая и придумала способ переслать их нам курьезным образом, дабы я мог догадаться, от кого они идут. Эта горничная хорошо знала, что конверты попадутся прежде всего в руки мне, а не брату. Выходило: обеим сестрам по серьгам.

Очевидным сделалось для меня, что фея совершила ребяческую шалость, но не менее того было ясно, что у нее не запало в сердце никакого серьезного чувства ни к брату, ни ко мне, а между тем брат мечтал, что она будет ждать окончания его курса, по крайней мере был с ее стороны намек на это. Понятно, что рассказанный факт сильно поспособствовал скорейшему моему исцелению.

Передавая конверт брату с уверенностью, что этот факт подействует на него благотворно, я, конечно, ни слова не сказал ему о полученном тоже мною конверте. Нельзя было и помыслить внезапно разбить его мечты, разбить его идеал. Это было бы и жестоко, и опасно. Только года через четыре, когда он сделался совершенно равнодушен к воспоминаниям о фее, я поведал ему, что я одновременно получил тоже посланьице от нее, которое и сохранил у себя.

Теперь о дальнейшей судьбе феи.

Спустя год или несколько более после нашей встречи фея вышла замуж за молодого с хорошим состоянием помещика Симбирской губернии г. Б. Затем мы узнали, что года через два или три она рассталась с мужем и проживает в Симбирске.

В 1860 году, то есть через восемнадцать лет, я ехал на пароходе по Волге и на пространстве между Казанью и Симбирском встретил на пароходе бывшего моего товарища Бутлерова, который был в то время профессором химии в Казанском университете. С ним ехал один его знакомый, помещик Симбирской губернии. Так как Бутлеров был тоже помещик Симбирской губернии, то я полюбопытствовал спросить его, не знаком ли он с г-жою Б., проживающею в Симбирске.

— А разве вы знаете ее? — спросил Бутлеров.

— Я встретил ее однажды, лет восемнадцать тому назад, когда она была молоденькой девушкой.

— А вы не знаете настоящего ее положения?

— Я знаю только, что она рассталась с мужем.

— И больше ничего?

— Ничего!

— Но вот мой знакомый, который как житель Симбирска расскажет вам о госпоже Б.

И я услышал такую потрясающую повесть, изложить которую не поворачивается перо.

Невольно после того я стал внутренно анализировать участь феи. Припоминая все подробности нашей встречи, беспримерную живость ее характера и то страшно сильное и глубокое впечатление, которое она произвела на нас, я должен был заключить, что действительно натура ее была до крайности исключительная, для которой не могло быть ничего срединного. Ей должно было предстоять или безграничное счастье, или ей должна была предстоять страшная гибель. И в самом деле, принимая в соображение ее положение, ее происхождение, ее воспитание, ее образование и ту высокую среду, в которой она взросла и вращалась — при таких прецедентах степень гибели ее представляет едва ли не единичный неслыханный факт.

Года через три я опять ехал по Волге, и во время продолжительной остановки парохода в Симбирске я вздумал было поехать с одним моим приятелем М. В. Силиным повидать прежнюю фею, не обнаруживая сначала себя, с целью принести, быть может, ей какое-либо, хотя бы самое малое утешение. Но пока я подымался на бесконечную и крутую гору Симбирска, решимость моя и моего приятеля ослабела, и мы вернулись, не доехав до цели. Через год после этого госпожа Б. умерла.

Отвергнутая, презираемая донельзя всеми, которые и не знали этой женщины прежде, в таком положении рука, протянутая человеком, видевшим ее во всем блеске, могла бы подействовать сколько-нибудь спасительно, а потому я сильно раскаиваюсь в том, что не исполнил тогда своего намерения.

В двух офицерских классах было более чем по сто человек в каждом. Для слушания лекций, составления проектов и для репетиций мы собирались два раза в день от девяти до двух утром и от пяти до восьми вечером. Посещение офицерами Института в означенные часы было обязательно, и таким образом о каких-либо развлечениях нельзя было и помышлять. Не пришедший на лекции и не представивший уважительной тому причины подвергался аресту. Когда кто-нибудь желал идти в театр, то по приходе в пять часов должен был предупредить о том старшего дежурного, который обыкновенно разрешал уйти после первой послеобеденной лекции или репетиции в шесть с половиной часов. В правилах этих досрочных

отлучек не значилось, а потому дежурный мог и не разрешить их ⟨...⟩

По выдержании экзамена произведенных в подпоручики командировали обыкновенно на практические занятия, а отпусков не давали, за исключением особенных случайностей. На этот раз всех высокостоящих по списку по просьбе инженер-полковника Мельникова, который был назначен на изыскания и постройку Николаевской железной дороги[30], командировали к нему не как практикантов, а как ответственных лиц для самостоятельных поручений на летнее время ⟨...⟩

Когда мы с братом явились к Мельникову, он сказал, что назначает нас на изыскания и предоставляет нам, как стоящим первыми по списку, избрать район, ближайший к Петербургу. Мы ответили ему, что нельзя ли послать нас подальше от Петербурга.

— Странно,— сказал он,— но я этому очень рад потому, что многие просились поближе к Петербургу. В таком случае, я назначу вас на самый отдаленный край моей дирекции.— И он назначил нас на пространство, которое находилось ныне между Окуловкой и Бологое.

Ехать туда надо было по шоссе до Валдая, а оттуда верст сорок в сторону, в деревню Кузнецово, где проживал начальник участка инженер Семичев. Проезжая прежде по шоссе мимо больших ямов и деревень с прекрасными постройками и видя там лавки и самовары по окнам домов, нам рисовались такими же и те деревни, куда мы должны были ехать, и потому мы не взяли с собою ни самовара, ни кухонной и никакой посуды.

Деревня Кузнецово была центром участка, где, как я уже упомянул, должен был находиться начальник участка Семичев — впоследствии довольно известный практический инженер. Прежде всего мы, конечно, должны были явиться к нему для получения дальнейших распоряжений.

Приехали мы в Кузнецово часов в десять вечера, промокли от дождя до костей. Увидав свет в одной избе и узнав, что там живет офицер, мы остановились перед ней и вошли в избу, полагая, что мы попали к Семичеву.

Когда мы вошли, то увидали человека в одном белье, ходящего из угла в угол; изба освещалась фитилем, горевшим в какой-то плошке. Услыша, кто мы такие и что мы присланы в его распоряжение Мельниковым, человек этот сказал:

— Ошибаетесь! Я не Семичев, а есмь Сергей Васильев Самойлов, горный инженер, занимающийся здесь сверлением земного шара чуть не до центра. Вы, конечно, промокли, прозябли и хотите выпить чайку.

— Да! Очень хочется.

— Только прикажите,— сказал Самойлов,— достать ваш самовар; у меня вместо самовара имеется посудина, которая со штанами служит для кофе, а без штанов — для чая, до которого я не охотник.

И он указал на громадную, чуть не в полведра, стоящую на столе посудину из красной меди без крана с рыльцем, как у кофейников.

— Мы не захватили с собою самовара,— сказал я,— полагая, что в здешних краях можно достать самовар в каждой деревне.

Самойлов захохотал, отворил дверь в сени и крикнул: «Вассал!»

Взошел человек. «Возьми сию посудину, вскипяти воду, но не забудь вынуть штаны, да смотри, чтобы угли не попали в воду».

Мы поинтересовались посмотреть посудину. В середине была труба, не возвышающаяся выше краев посудины, крышки не было, и внутри находился холщовый мешок для варения кофе.

— А вот что, братцы,— сказал Самойлов,— нет ли у вас свечей?

Мы привезли с собою несколько фунтов стеариновых свечей и приказали достать их. Самойлов очень обрадовался.

— Вот уже несколько дней я пребываю с сим священным светильником, который вы видите; надоел он мне сильно.

Затем Самойлов взял из-под образов два полуштофика, вставил в них свечи и прибавил: «А как вам нравятся мои канделябры?»

Изба озарилась и стала веселей.

Через полчаса казалось, что мы век были знакомы с Самойловым; он продолжал ходить из угла в угол и морить нас со смеха. Принесен был кофейник без штанов, засели пить чай и проболтали до четырех часов утра. Человек принес солому и устроил нам двоим постель на полу, Самойлов улегся на лавке под образами, но и когда мы улеглись, Самойлов вскакивал очень часто, декламировал разные разности и ужасно смешил нас.

Само собою разумеется, что мы очень обрадовались

встретить такого человека и почувствовали, что нам в захолустье, куда мы попали, не будет скучно. Я остановлюсь несколько на характеристике Самойлова.

Самойлов оказался родным братом известного артиста Василия Васильевича Самойлова. Сергей Васильевич служил на уральских заводах, привез в Петербург транспорт золота как раз в то время, когда начались изыскания для Николаевской железной дороги, и был командирован для бурения предполагавшихся выемок, доходящих до девяти саженей глубины, дабы составить геологические разрезы и определить качества грунтов, а равно и для зондирования болот, то есть для определения их глубины. Такие данные были необходимы для составления предварительной сметы на земляные работы.

Мы попали в центр Валдайских гор; в этой местности потребовалось делать много глубоких буровых скважин, и потому Самойлов проживал здесь более полугода.

Когда на другой день утром я проснулся и лежал еще на полу, то увидел Самойлова ходящим, как и вчера, из угла в угол в одном белье. Он был молчалив, несколько мрачен и беспрерывно заглядывал в окно. Вдруг он захлопал в ладоши и закричал:

— Борька! Борька, иди скорей, куда ты провалился?

Вошел в избу маленький мужичок, лет семидесяти, с бочонком на спине. Это был хозяин дома, которого Самойлов отрекомендовал нам как своего дружка и приятеля.

Самойлов схватил бочонок, положил его на лавку, достал из печурок несколько полуштофов и стал цедить из бочонка желтовато-зеленоватую жидкость. По мере того как он наполнял полуштофики, он ставил их сначала в киот под образа, и я подумал, что это было деревянное масло для свешника, затем другие полуштофы он стал размещать в печурки. Тогда я спросил его, что это такое. Самойлов подтвердил мое предположение, сказав:

— Се священный елей для лампадок.

Окончив операцию разливки, Самойлов опять принялся ходить из угла в угол, но вскоре взял рюмку, налил священного елея из-под образов и моментально проглотил его. Я вскочил с полу и закричал: «Что вы делаете?»

— Мне нездоровится, это вместо касторки,— сказал Самойлов.

Я все еще недоумевал, но когда минут через пять он, подойдя к печурке, повторил то же самое, я усумнился, а когда он стал прикладываться к елею то из-под образов, то из печурок, причем разводить разные прибаутки, суть

дела обнаружилась. В штофиках красовалось не деревянное масло, а была там сивуха, цвет которой совершенно схож с маслом.

Пропустив полдюжины мерных рюмок, Самойлов повеселел, стал болтать без умолку и смешить нас. К полудню приехали еще два инженера. Вскоре Самойлов предложил идти купаться в реке Валдайке. Все, конечно, приняли его предложение. Пред уходом Самойлов, не одеваясь, накинул на себя громадной ширины и длины плащ и захватил с собою полуштоф и рюмку ⟨...⟩

Мы привезли с собою человека, который мог кое-что стряпать, и он соорудил нам обед из кур. После обеда Самойлов отправился спать в непомерной величины свой тарантас с фордеком, который стоял на улице подле избы.

К вечеру приехал Семичев, у него имелся большущий самовар. Во время вечернего чая на воздухе пришел Самойлов в своем плаще и с гитарой, и тут-то он явился во всем блеске своего редкого артистического таланта. Выспавшись после обеда, он потом не прикасался уже более к рюмочке и держался, как обнаружилось, постоянно такого режима.

Самойлов стал изображать нам артистов, артисток и певцов, трагиков, Каратыгина и Брянского, Сосницкого, Максимова, свою сестру Надежду и проч. Отойдет в сторону и затем явится новым лицом, то вырастет, то понизится, то говорит густым баритоном, то нежным голосом. Затем он принялся петь с аккомпанементом гитары; репертуар его был неисчерпаем: романсы, русские и цыганские песни, арии из итальянских и русских опер и даже куплеты из французских водевилей. Он имел приятный тенор с баритональным оттенком, пел безукоризненно верно и с большим выражением. Словом сказать, очаровал всех нас и очаровывал в продолжение нескольких месяцев.

Утром мы отправлялись на работы изысканий, но все только и думали, как бы пораньше вернуться к вечернему чаю, дабы не пропустить ничего из ожидаемого нами разнообразного представления. Самойлов в Сибири постоянно играл в любительских спектаклях, господствовавших на горных заводах, разъезжая для того, вследствие неотступных приглашений, за пятьсот верст и более, и потому знал массу ролей. Понятно, что, при его таланте, он должен был быть enfant gate* всего обширного сибирского округа.

---

* баловень *(фр.)*

Один день мы слышали сцены из «Гамлета», другой — из «Отелло», третий — из «Макбета» и т. д., из «Разбойников» Шиллера, «Дмитрия Донского», «Уголино», «Людовика XI» и проч., или вдруг Самойлов появлялся Хлестаковым, городничим, Чацким, Фамусовым и проч.

Известно, что артист Василий Васильевич обладал особенною, исключительною способностью к подражаниям внешней стороны изображаемых им лиц, и в сущности, долгое время он был не в силах создавать типы. Сергей же Васильевич обладал даром подражания несравненно в большей степени и в более обширных отраслях, и, сверх того, в нем горел неподдельный огонь, и голос его был сильный и звучный, чего не было у Василья Васильевича, который в сильной трагической или драматической роли был бы жалок. Нет сомнения, что если бы Сергей Васильевич отдался артистической карьере, то оставил бы по себе память как один из великих артистов, тем более что он получил более широкое образование, чем его брат 〈...〉

Подходило 17-е сентября. У Самойлова было три сестры: Вера, Надежда и Любовь, а их мать звали Софьей. Чтобы чем-нибудь почествовать Самойлова, мы сложились и послали в Валдай за полдюжиной шампанского. В то время не только в Валдае, но и в более глухих городках продавалось настоящее шампанское фирмы «Veuve Clicot»*. Самойлов, повествуя нам не раз о житье-бытье в Сибири на заводах, сказывал, что там постоянно разливанное море этого вина, то есть именно фирмы «Veuve Clicot», которое он любит, но которого уже с год не видал. Это-то вино и появилось за столом неожиданно для Самойлова, и он растрогался этою нашею маловажною любезностью чуть не до слез. Каждую бутылку предназначено было выпить за здравие членов его семьи, то есть матери, трех сестер, его самого и в память их отца, бывшего знаменитого артиста, потонувшего в море. Самойлов как опытный виночерпий стал сам откупоривать бутылки и при том импровизировать речи и стихи. До сих пор у меня остались в памяти некоторые из этих юмористических импровизаций, необыкновенно подходящие к данным обстоятельствам и преисполненные остроумия. Как они ни забавны, но я приводить их не буду.

Я упомянул перед сим, что в оные времена можно было иметь настоящее шампанское фирмы «Veuve Clicot»

---

* «Вдова Клико» (*фр.*).

в каждом городке, где когда-либо являлось требование на шампанское. Вот чем объясняется этот факт.

После освобождения императором Александром I Европы, разгрома Наполеона I и взятия Парижа, мы получили в награду то, чтобы ни одна бутылка означенной фирмы, которая всем светом была признана наилучшей и действительно была таковою, не могла быть продана и вывезена куда-либо кроме России, и контроль этого был очень строгий. Контракт в означенном смысле был заключен на пятьдесят лет, и потому до начала шестидесятых годов «Veuve Clicot» продавалось в Париже и Лондоне дороже, чем у нас. Французы решительно избегали пить это шампанское, а англичане, охотники до шампанского и начинающие с него обед, страшно злились в то время на то, что им приходилось платить очень дорого за вино означенной фирмы.

Надо отдать справедливость вдове Clicot, что пока она была жива, до тех пор и шампанское было превосходно, и она самым добросовестным образом исполняла контракт. Мне говорил один близко знакомый с нею француз, лет пятнадцать живший в России и который так привык к шампанскому «Veuve Clicot», что другого шампанского не пил. Поселившись по возвращении из России в Брюсселе, он время от времени покупал шампанское на заводе «Clicot» целыми ящиками. Старуха имела право продавать вино на месте ящиками, но не иначе как по особому разрешению, внося по пять франков пошлины за бутылку. Поэтому охотники до ее вина пользовались этим, дабы не платить при выписке вина из России расходы по двойному транспорту, ложившиеся в таком случае на вино. Но во Франции мало было охотников платить по четырнадцать франков за бутылку, когда можно было иметь другое шампанское втрое дешевле, и потому «Veuve Clicot» в оное время было большою редкостью в Париже и достать его можно было лишь в фашионабельных ресторанах. На господина, спросившего «Veuve Clicot», гарсоны тотчас же начинали взирать с особенным умилением, делая, конечно, внутренне посылку: если le prince* пьет «Veuve Clicot», то он, вероятно, дает pour-boire** не по два су, а, может быть, по два франка.

Самойлов был не только талантливый, но и умный и острый человек с теплым сердцем и деликатнейшей на-

---

* князь *(фр.)*
** чаевые *(фр.)*.

турой. При прощании он взял с нас слово познакомиться по приезде нашем в Петербург с его матерью и сестрами, о чем они будут предупреждены. Мы, конечно, исполнили это наше слово с особенным удовольствием, тем более что Надежда Васильевна была уже знаменитостью и любимицей публики, а Вера Васильевна только что начала свою артистическую карьеру серьезно-драматического амплуа под руководством знаменитого Василия Андреевича Каратыгина. Она была необыкновенно хороша собою и имела восхитительную, античную фигуру.

Нас приняли в доме Самойловых как людей давно знакомых, и мы стали посещать это семейство. Зимой приехал в Петербург Сергей Васильевич, и мы виделись очень часто, но ни разу мне не случалось встретить в доме Василия Васильевича. Кажется, последний особенно дружен со своими родными не был, и как будто бы они несколько чуждались его.

Через год мы опять встретились с Самойловым; он нарочно перед окончательным отъездом на Урал заехал в Кузнецово и провел там недели две или три. Спустя несколько лет я встретил одного горного инженера и полюбопытствовал узнать о Самойлове. Он сказал, что Сергей Васильевич в недавнее время внезапно перестал абсолютно употреблять крепкие напитки и оттого вскоре заболел и умер.

Когда мы вернулись в Петербург для продолжения курса наук в последнем классе подпоручиков и явились откланяться Мельникову, он, выразив нам свое удовольствие за исполненные нами поручения, сказал, что если мы хотим, то он по окончании нами в будущем году курса потребует нас к себе. Мы ответили, конечно, нашим согласием, и в следующем году мы поступили на службу постройки Николаевской железной дороги на северную дирекцию под начальством Мельникова, наилучшего инженера, человека ученого, умнейшего и благороднейшего.

Дорога делилась на две дирекции: северную и южную; каждая дирекция делилась на несколько участков, а участок на несколько дистанций.

Начальником северной дирекции был инженер-полковник Мельников, а южной — инженер-полковник Крафт ⟨...⟩

Нелишным считаю теперь упомянуть о направлении линии Николаевской железной дороги.

Начну с того, чтобы объяснить нелепость легенды о том, что будто бы император Николай I, положив линейку на поданную ему карту и проведя прямую линию карандашом, приказал вести железную дорогу по этой прямой линии. Легенда эта повторялась бесконечное число раз стоустою молвою, признавалась за неоспоримый факт в образованных кружках и даже в высших сферах и неоднократно подтверждалась серьезными органами печати ⟨...⟩

Вопрос о направлении железной дороги от Петербурга до Москвы долгое время обсуждался в особом комитете, называвшемся тогда комитетом железных дорог, в котором заседали министры и некоторые члены Государственного Совета. Огромное большинство означенного учреждения полагало, что надо вести дорогу на Новгород. Между тем государь не разделял этого мнения. Утомленный бесконечными спорами по этому предмету, он призвал к себе инженера-полковника Мельникова (впоследствии министр), который вместе с другим инженер-полковником, Крафтом, был назначен для производства изысканий и постройки дороги. Мельников считался особенно талантливым и блестяще образованным во всех отношениях человеком, что и было известно государю.

Государь спросил Мельникова, какого он мнения о направлении дороги.

Мельников коротко и ясно высказался так:

— Дорога должна соединять две весьма населенные столицы; все движение, как грузовое, так и пассажирское, будет сквозное. В непродолжительном времени должны примкнуть к Москве другие дороги со всех концов России; таким образом, сквозное движение между Петербургом и Москвой разовьется в несколько десятков раз против настоящего. Было бы ошибкою большою и неисчислимою потерею в общей государственной экономии, если обречь дальнейшие поколения на уплату восьмидесяти с лишком верст в продолжение целого века или более, пока прямой расчет не вынудил бы строить другую, более кратчайшую дорогу от Петербурга до Москвы.

— Рад,— сказал государь,— что ты одного со мной мнения, веди дорогу прямо!

Слова «веди дорогу прямо» не означали вести по прямой линии, а относились к тому, чтобы не держаться направления на Новгород.

Только исключительное невежество по отношению к известным предметам могло поддерживать означенную

легенду. Множество раз мне случалось слышать повторение ее людьми образованными. Обыкновенно в подобном случае я спрашивал такого господина, проезжал ли он по Николаевской дороге.

— Как же, много раз.

— Разве же вы не обратили внимания на то, что во многих местах поезд идет по кривой, что для каждого пассажира должно быть очевидно.

Тогда такой господин попадал в положение гоголевского почтмейстера, только воздерживался от удара себя в лоб ладонью и известного возгласа[31] ⟨...⟩

Теперь обращусь к рабочему люду, то есть к землекопам. В то время землекопы преимущественно набирались в Витебской и Виленской губерниях из литовцев. Это был самый несчастный народ на всей русской земле, который походил скорее не на людей, а на рабочий скот, от которого требовали в работе нечеловеческих сил без всякого, можно сказать, вознаграждения. Забитость и как бы идиотство этих людей, трудно описуемое, усугублялось еще почти незнанием русского языка. Когда я увидал этих людей первый раз на работах, то был поражен следующим фактом: каждый человек, прежде нежели пройти мимо меня, сгибался так, что туловище приходило в горизонтальное положение, затем мелким шажком он подбегал ко мне, схватывал конец полы сюртука, целовал его при словах: «Целую, пане полковнику»,— и удалялся в том же согнутом положении. Понятно, что впредь я везде воспрещал подобные сцены.

Подрядчики нанимали землекопов, заключая контракты с волостными правлениями или с помещиками. Но иногда помещики брались работать за задельную плату, то есть являлись поставщиками, приводя на работы собственных своих крепостных людей или крепостных от своих соседей. Помню, что однажды явились у нас такими поставщиками два помещика, которые сами жили при работах. Один из этих помещиков, Клодт,— кажется, с титулом барона,— пригнал артель в тысячу двести человек, а другой — Буйницкий — в тысячу пятьсот человек. Первый был довольно порядочный человек, а второй, хотя и вполне светски образованный богатый помещик, был в полном смысле слова эксплоататор негров.

Кузьмин (подрядчик.— *Ред.*) забрал вперед деньги и во все время работ оставался большим должником казны, а потому осенью расчеты с рабочими делались под правительственным надзором. Кузьмин сынтриговал так, чтобы

наблюдение за этими расчетами было поручено полицейскому управлению, а не нам, инженерам. Вследствие этого расчеты, за которыми наблюдали бурбоны, готовые за даровые харчи и вино угождать подрядчику и допускать вопиющее зло, производились возмутительным образом, а не так, как мы произвели расчет людям в первый год. Кроме того, бурбон 〈...〉 фамилии которого не помню, появившийся во главе жандармской команды нашего 6-го участка, ежедневно занимался поркою людей по просьбам и жалобам приказчиков и десятников. Эти экзекуции совершались так, чтобы я не мог видеть их, живя в версте от конторы за возведенною уже высокою насыпью; но я знал, что подобные экзекуции совершались часто. Поэтому рабочие считали главным своим начальством полицию, но приказчики и прочий подрядческий люд, зная, что участь их зависит от нас, можно сказать, трепетали перед нами. Однажды я, возвращаясь с работы, должен был проехать мимо конторы и напал на экзекуцию. Два или три человека лежали под ударами розг; их визги и крики взорвали мою душу. Я приподнялся в тарантасе и громким голосом заревел: «Стой... ребята, вставайте!» Разумеется, все стихло, никто не осмелился пикнуть; я дождался, пока не убрали атрибуты экзекуции, и бурбон, присутствующий тут, не ушел в подрядческую контору, и тогда я уехал[32].

Сей бурбон подал по начальству рапорт о моем поступке, и, конечно, я был бы отдан под суд; но Виланд, главный начальник полицейского управления, будучи человеком образованным, воспитанником Института путей сообщения, не дал хода этому рапорту 〈...〉 1-го октября 1851 г. движение было открыто 〈...〉

Движением заведовал не Мельников, а особое начальство, и мы, как производители работ постройки дороги, не принимали в этом движении участия. Вдруг, внезапно последовало распоряжение графа Клейнмихеля, которым приказывалось дистанционным офицерам сопровождать все почтовые поезда по своей дистанции 〈...〉

По поводу временно порученного нам, начальникам дистанций, наблюдения за движением я нахожу нужным пояснить следующий факт. В то время, когда у нас не было железных дорог, то в Институте путей сообщения была прочитана буквально лишь одна лекция о конструкции паровозов в общих чертах. Таким образом, не было в то время ни одного инженера в корпусе, который был бы знаком с этой отраслью знаний, за исключением лишь общей теории сопротивления движению по рельсам.

Чувствуя такой пробел в существенном вопросе, до железной дороги относящемся, в чем никто не был виноват, так как в начале сороковых годов этот вопрос ни в Европе, ни в Америке не был еще разработан, я тотчас по выходе в свет превосходного сочинения «Guide du mécanicien constructeur et conducteur de machines locomotives»*, составленного четырьмя знаменитыми французскими инженерами[33], принялся за изучение означенного вопроса.

Вследствие этого ко времени открытия движения по Николаевской железной дороге я ознакомился с теоретической стороной вопроса, а с открытием движения стал знакомиться и с практической стороной дела. Для этого я почти ежедневно ездил с поездами на паровозе. Сначала, конечно, высматривал, а потом сам стал водить поезда ⟨...⟩

Прослужив года полтора на ремонте, имея уже опытность в постройке и ознакомившись в достаточной мере с механическою стороною подвижного состава, я не пожелал оставаться более на ремонте, который не мог представлять никакого поприща для инженерного дела. Поэтому я обратился к начальству с просьбою о прикомандировании меня к Александровскому механическому заводу[34], рассчитывая образовать себя таким образом в смысле компетентного инженера для постройки паровозов и проч. Между тем Александровский завод находился в руках контрагента Уайненса, который имел сильное влияние в департаменте железных дорог, и, по его интриге, просьба моя была отклонена. Тогда я, рассчитывая для дальнейшего образования отправиться за границу, подал рапорт об отставке. Но представление о моей отставке задержал у себя умышленно начальник отделения, послав его по начальству лишь в начале января. Это прошение и было возвращено назад за поздним его представлением, так как в то время существовало правило — подавать в отставку не позже 25-го декабря. Получив обратно рапорт, не имевший дальнейшего хода, я сдал дистанцию брату и рапортовался больным. По существовавшему тоже правилу офицер, проболевший четыре месяца, увольнялся от службы, между тем меня без всякого временного вступления на службу и без подачи нового медицинского свидетельства от службы не увольняли, и я, оставаясь в таком положении почти целый год, дождался нового срока и подал вторично рапорт об отставке, и рапорт мой дошел до графа Клейнмихеля ⟨...⟩

---

* «Руководство для механиков и машинистов паровозов» (*фр.*).

Когда графу Клейнмихелю доложен был мой рапорт об отставке, он призвал самое приближенное к нему лицо, полковника Серебрякова, и сказал ему:

— Что он (то есть я) затеял, какое же он может иметь лучшее положение, чем то, которое он занимает, и притом лично мне известен. Узнай, чего он хочет.

Когда Серебряков обратился ко мне, то я сказал:

— Сообщите главноуправляющему, что я не имею другого желания, как применить свою деятельность к серьезному делу, и что на ремонте устроенной уже дороги я не вижу поприща для инженера.

После того не прошло и недели, как последовал приказ главноуправляющего следующего содержания:

«Инженер-капитан Панаев 2-й назначается начальником изысканий особой ветви для железной дороги, имеющей целью развитие каменноугольной промышленности в Донецком бассейне».

Ни начальный, ни окончательный пункты в приказе не были обозначены. Понятно, что эта ветвь должна была примкнуть к предполагавшейся Черноморской дороге в каком-либо пункте. Я несказанно обрадовался такому поручению, которое открывало мне широкое поле для изучения вопроса, о котором я мечтал. Передо мною явилась территория с лишком в двести верст ширины и более пятисот верст длины ⟨...⟩

Теперь расскажу о нашем житье-бытье на 6-м участке, вне служебных обязанностей во время постройки Николаевской дороги ⟨...⟩ я с братом поселился в деревне Кузнецове вместе с начальником участка Семичевым ⟨...⟩ в той же деревне жил товарищ Поземковский ⟨...⟩ были еще товарищи: барон Черкасов, Шашков, жившие в других деревнях, и Миклуха-Маклай, который был гораздо старше нас, уже женат и имел детей. В это-то время и подрастал будущий известный герой Гвинеи. Миклуха жил верстах в двадцати пяти от центра, то есть от Кузнецова, и приезжал туда редко. Все же остальные офицеры нашего 6-го участка беспрерывно виделись друг с другом, жили дружно и составляли как бы одну семью ⟨...⟩

Когда мы построили на отпущенные нам деньги дома, каждый на своей дистанции, тогда, само собою разумеется, наша совместная жизнь прекратилась. Я построил себе дом на самом берегу реки Шегринки у окраины леса в удалении от всякого жилья ⟨...⟩

Когда я в 1847 году переехал на житье в свой дом, я не был одинок во время лета, потому что тогда приезжала ко мне матушка с своими племянницами; но по зимам я оставался один-одинешенек. Первую зиму с 1847 на 1848 год я взял отпуск и провел ее в Петербурге. В это время разразилась во Франции революция, и я тотчас же подписался на газету «La Presse», издававшуюся знаменитым публицистом и политическим деятелем Эмилем Жирарденом, считавшимся человеком преданным России, и потому его журнал был допущен у нас[35].

Получая эту газету, я уже не испытывал одиночества в зимнее время. Чтение ее не только с излишком наполняло свободное от занятий время, но доставляло неисчерпаемый источник наслаждения.

Чтобы поверить этому, надо вспомнить и перенестись в ту эпоху, когда вся Европа подумала, что она перерождается к иной жизни. И сколько политического и социального интереса представляла тогда одна Франция[36].

Провозглашение республики, майские дни, когда великий оратор усмиряет без выстрела двухсоттысячную толпу, июньские дни и диктатор Кавеньяк, уложивший до двадцати пяти тысяч людей и тем обративший Сену буквально в кровавый поток, затем расстрелявший без суда и следствия несколько тысяч людей, захваченных на баррикадах и выведенных на казнь как стадо баранов, без знания даже имен этих людей. Затем дебаты в Национальном собрании, относящиеся до состояния конституции, причем газета помещала полные стенографические отчеты всех речей.

В то время выступали такие ораторы, как Ламартин, Ледрю-Ролен, Одильон-Баро, Виктор Гюго, Луи-Блан, Тьер, Жюль-Фавр и проч. Ныне нет и помину о подобных ораторах. Одно время Жирарден, выпущенный из тюрьмы, открыл войну против Кавеньяка за его подвиги в июньские дни. Гражданское побиение Кавеньяка и избрание в президенты Луи-Наполеона, который исключительно обязан победой в избирательной войне Жирардену,— таков был громадный интерес чтения в первый год после Февральской революции, излагаемого, сверх того, в органе, дирижируемом таким публицистом, как Жирарден. Понятно, что такое чтение поглощало и время, и ум.

После того Жирарден стал публиковать свои проекты относительно политических, экономических и социальных реформ, а равно указывал дорогу для иностранной политики. Все вопросы он ставил категорически, с необык-

новенною ясностью, без всяких колебаний и никаких компромиссов не терпел.

Орган Жирардена был воспитательным органом для политических, экономических и социальных деятелей, то есть, короче сказать, был воспитательным органом для государственных людей.

Не было почти ни одного дня, чтобы Жирарден не помещал свои передовые статьи, полные самых определенных, здравых и практических взглядов. Его статьи отличались и по самой форме относительно редакции их, никогда лишних слов, размазывания, длинных периодов и предложений. Словом сказать, всегда излагал все коротко и ясно.

У меня твердо врезались в память два капитальных проекта Жирардена: о государственном налоге и об организации государственной администрации[37].

Относительно налога он предлагал заимствовать идею из процветавшей некогда Флорентийской республики, а именно из этой эпохи, которая именуется в истории Золотым веком[38]. Он свел все к одному прямому налогу в форме страхования, налогу самому справедливому, уравнительному, самому легкому при оценке и охотно всеми платимому, как платят все страхующие свои имущества. Кроме того, он видел в таком налоге самую сильную узду, налагаемую на социальную болезнь века, то есть на непомерное развитие роскоши, отвлекающей рабочий люд от действительно производительного труда. Независимо от этого с таким налогом он связывал превосходно паспортную систему.

Проект Жирардена о налоге может показаться невыполнимым, но надо прочесть весь его трактат, могущий занять добрую книгу, в котором он развил вопрос детально и показал всю практичность своей идеи.

Я храню у себя полные экземпляры «La Presse» Жирардена не только за те времена, но и за последующие годы и все органы, в разное время им издававшиеся, а именно: «La Presse», «La Liberté» и «La France» 〈...〉

Чтение газеты, относящейся ко времени, последовавшему за Февральской революцией, послужило мне просветлением моих взглядов.

В то время множество людей представляли себе, что Французская республика поведет к возрождению общества и к решению социальных вопросов в благотворном для людей смысле.

Но вот появляются июньские дни, разрешившиеся неслыханной катастрофой; затем дебаты в Национальном Собрании рельефно обрисовали общественный строй и господствующие в нем идеи. Повязка мало-помалу спадывала с глаз, и иллюзия рушилась. Все живое, все истинное, все правдивое и возвышенное беспощадно давилось в этом Собрании.

Тогда я вздумал написать весьма объемистую статью для «Современника», в которой старался очертить все зло, вытекающее из парламентского режима и из пресловутой политической теории большинства. Эта рукопись хранится у меня до сих пор. Однако статью эту цензура не пропустила; но впоследствии я проводил сложившиеся еще тогда у меня идеи в моих французских и русских брошюрах, печатавшихся за границей, а равно позже того и в некоторых русских газетах. Понятно, что при означенных условиях, живя по зимам один-одинехонек в своем домике, удаленном от всякого жилья и заносимом сугробами снега, я одиночества не испытывал.

Итак, мы жили дружно, часто съезжались, время проводили между собой весело, но не за картами, о которых у нас и помину не было.

Изредка мы гуртом ездили к соседям, которых было немного, и они по большей части жили далеко ⟨...⟩

После производства в офицеры в 1842 году я оставался еще ⟨...⟩ два года в офицерских академических классах и потому мог чаще посещать Ивана Ивановича Панаева. Его дом был тогда сосредоточием передового литературного кружка того времени[39]. Это средоточие являлось, главным образом, следствием притягательной силы, которой обладал Белинский, и характера Ивана Ивановича, искренно, горячо и бескорыстно преданного литературе, а равно и приветливости его как хозяина дома.

Из предшествующих моих рассказов уже видно, что Иван Иванович и Белинский были искренними друзьями, причем дружбу Ивана Ивановича можно было сравнить с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщинам.

Но в чем заключалась притягательная сила Белинского — это вопрос весьма небезынтересный.

Белинский в действительности не обладал ни особенными знаниями, ни начитанностью, не знал даже иност-

ранных языков, а между тем он приобрел небывалый ни прежде, ни после него авторитет как среди созидавшегося тогда свежего литературного круга, так и среди интеллигентной читающей публики.

Не столько ум и логика обусловили его силу, сколько совокупность их с нравственными его качествами. Это был рыцарь, сражающийся за правду и истину. Это был палач всего искусственного, деланного, фальшивого, неискреннего, всяких компромиссов и всякой неправды, где бы таковая ни являлась. При этом он обладал громадным талантом, редким эстетическим чувством, страшной энергией, жгучим словом, горячею возвышенною душою, восторженностью и теплейшим, деликатнейшим и отзывчивым сердцем во всем. Словом сказать, его можно назвать: могучий критик-поэт.

По моему глубокому убеждению, в перечисленных-то мною свойствах и заключалась притягательная сила Белинского. Я знал Белинского в течение девяти лет до дня его смерти, и во все это время я не подметил в нем ни одной черточки, которая показывала бы, что он признает за собою необыкновенную силу и влияние на других. Он так был естественен во всем, что можно с уверенностью сказать, что ему и в голову не приходило анализировать главные причины своего влияния, которыми и не помышлял кичиться. Если бы он подметил в себе эту кичливость, то, конечно, казнил бы сам себя.

Мы можем гордиться немалым числом являвшихся в нашем отечестве великих литературных талантов, как Державин, Фонвизин, Грибоедов, Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров, и великих гениев, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, но мы имели одного великого критика — Белинского.

Значение Белинского и влияние его на литературу громадно; но это влияние до сих пор еще не оценено должным образом. Все, что подлежит развитию,— требует питания. Зерно, попавшее на дурную почву, хотя и даст росток, но затем погибает. Чтобы он развился, надо питать его или пересадить на хорошую почву и уничтожить растущий около него бурьян, который иначе заглушит росток. Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров и Иван Иванович Панаев суть дети Белинского, его вскормленники.

Когда нет авторитетной, искренней оценки прекрасного, художественного, возвышенного и истинного, и в то же время могучего меча над фальшью, безобразием и глу-

постью, когда критика не способна подмечать истинные таланты в зародыше и бессильна давить возрастающую бездарность, тогда воцаряется анархия, как в литературе, так и во всех отраслях человеческой деятельности ⟨...⟩

В 1842 году Иван Иванович Панаев жил у Аничкова моста в доме Лопатина. В том же доме жил и Белинский. По субботам у Ивана Ивановича собирались литераторы, а также прилепившиеся к литературе и вообще знакомые. Из числа литераторов помню князя Одоевского, Соболевского, Башуцкого, которые бывали редко; графа Соллогуба, бывавшего довольно часто; А. А. Комарова, воспитателя юношества и преподавателя русской словесности в военно-учебных и других заведениях; Василия Петровича Боткина, когда он бывал в Петербурге; Кетчера, переводчика Шекспира, пока он не возвратился в Москву; Анненкова, впоследствии издателя сочинений Пушкина; Бранта, писавшего великосветские повести и романы, который несколько лет спустя был изображен карикатурой в литературном сборнике, приложенном к «Современнику» 1849 г., в виде Наполеона I, потому что претендовал на некоторое с ним сходство.

Из знакомых Ивана Ивановича помню Николая Петровича Боткина, брата Василия Петровича; Маркевича, который не занимался еще тогда литературой; А. С. Комарова, инженера, профессора в Институте путей сообщения; офицера Московского полка Булгакова, известного в то время всем своим остроумием и оригинальными шутками; молодых красавцев: лейб-гусара Полторацкого, царскосельского кирасира Ольховского и морского флигель-адъютанта Колзакова и затем поклонников литературы: Маслова, Кульчицкого, Тютчева и друга Ивана Ивановича М. А. Языкова; последние были постоянными посетителями суббот.

В скором времени кто-то привез Ивану Ивановичу из Парижа краткую историю революции конца прошедшего столетия, о которой русское общество, за исключением тех немногих лиц, которым случалось бывать за границей, не имело никакого сколько-нибудь верного представления; даже литературный мир пребывал в этом отношении в неведении, так как абсолютно ни одно историческое сочинение, относящееся к этой эпохе, не было допущено к продаже в России.

Кроме означенной истории, Ивану Ивановичу доставлялась газета «Moniteur universel» того времени, конечно

далеко не в полном составе, но все-таки имелось множество нумеров, относящихся до более важных моментов революции. В эти нумера были завернуты разные предметы, вывезенные из-за границы, и таким образом они и очутились в Петербурге.

Когда Иван Иванович имел уже в руках поименованные источники, у него тотчас же родилась мысль перевести для Белинского историю революции, вставляя для полноты выборки из «Moniteur universel». Он сообщил Белинскому, что будет читать по субботам все, что успеет перевести и скомпилировать за неделю[40]. С тех пор характер этих суббот изменился; все, интересующиеся вопросом, стали собираться раньше, чтобы успеть прослушать чтение до прихода менее интимных лиц, которым, впрочем, так или сяк давали почувствовать, что посещение их не совсем вовремя, и в конце концов посещение этих людей сделалось гораздо реже.

К концу зимы перевод Ивана Ивановича подходил уже к концу, и вот к одному вечеру он приготовил перевод знаменитой речи Робеспьера: о «Существе высшем», дословно помещенной в «Moniteur universel»[41]. Замечу здесь, что впоследствии я не встретил ни в одном из обширных сочинений о революции полного текста означенной речи. Даже в громадной специальной истории Робеспьера, сочинения Hamel'a[42], обнимающей более двух тысяч страниц, означенная речь помещена отрывками, а не дословно, причем выброшены некоторые выражения, не понравившиеся, по-видимому, автору.

Упомянутая речь Робеспьера произвела на Белинского и на всех слушателей поражающее впечатление своим содержанием, совершенно неожиданным для нас. В тот же вечер я упросил Ивана Ивановича дать мне списать прочитанную им речь[43]. Иван Иванович согласился с тем, чтобы я завтра же до обеда доставил ее обратно. Речь была так велика, что пришлось переписывать ее, вследствие данного краткого срока, втроем; принялись за это я, мой брат и товарищ Кусаков. Я сохранил эти листки до сих пор.

Перед своею смертью Иван Иванович отдал мне на память всю составленную им для Белинского компиляцию Французской революции, обнимающую пять лет, с 1789 года по 1794 год, которая и хранится ныне у меня. Эта рукопись могла бы составить книгу до двадцати печатных листов. Кроме этого, Иван Иванович передал мне и разные другие переводы, делавшиеся им для Белинского

из Леру, Жорж Занда и других писателей, которые тоже сохранились отчасти у меня.

Пусть же поставит себе читатель вопрос: какова же была привязанность и любовь к Белинскому у людей, его знавших, чтобы человек не праздный, а сам для себя трудящийся посвятил почти полгода бескорыстного труда для того только, чтобы дать возможность Белинскому ознакомиться с тем, что в его роли писателя-критика ему нужно было знать.

Итак, известный небольшой кружок здесь, в Петербурге, ознакомился еще в начале 1843 года дословно со знаменитою речью Робеспьера, тогда как я впоследствии встречал множество французов, даже из мира писателей, которые хотя и слыхали о ней и об ее содержании, но самой речи не читали.

Вскоре появился у Ивана Ивановича Панаева Иван Сергеевич Тургенев. В это время он только что напечатал свою первую поэму «Параша»[44].

Хотя Тургенев написал в своих воспоминаниях, что «Параша» появилась впервые в 1849 году, но это или опечатка, или память изменила Ивану Сергеевичу. Как же согласовать эту дату с другим местом тех же воспоминаний, где Тургенев говорит о статье Белинского в «Отечественных записках» по поводу выхода «Параши». Белинский оставил «Отечественные записки» в конце 1846 года и более туда не возвращался[45] ⟨...⟩

По внешности Тургенев был очень представительный молодой человек большого роста, весьма приятной наружности, с особенно мягкими глазами, характеризовавшими его лицо. Он принадлежал к родовитой, богатой семье, получил блестящее образование, побывал уже за границей и посещал высший круг. Помню как теперь, что я увидал Тургенева у Ивана Ивановича первый раз приехавшим после светских визитов и одетым в синий фрак с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы, в светлых клетчатых панталонах, в белом жилете и в цветном галстухе. Такого рода была в то время мода.

Вообще в Тургеневе заметна была еще тогда ходульность, а также замечалось желание рисоваться, отсутствие искреннего жара и тем более пыла. Во всем была сдержанность ⟨...⟩ Заметно было еще в разговорах самое поверхностное отношение в беседах к вопросам, ни на чем твердо не останавливающимся, нечто вроде порхания или фланерства мыслей ⟨...⟩

В то время и Евгений Онегин Пушкина служил образцом для молодых людей, находившихся в условиях, подобных тем, в которых находился Тургенев, и потому весьма натурально, что он желал походить на героя пушкинской поэмы. Многие старались ломать из себя Онегиных, но они являлись по преимуществу карикатурными, чего никак нельзя было приписать Тургеневу. В нем было столько общего по всем условиям с Онегиным, что его можно было признать за родного брата пушкинского героя, как и Григория Михайловича Толстого, о котором я упомянул ⟨...⟩, и они, можно сказать, выдержали более или менее эту роль до конца жизни.

Здесь кстати замечу, что впоследствии наплодились как муравьи лермонтовские Печорины, но скоро пропали, а позже тургеневские Базаровы, которые исчезли еще скорее. Но что касается до пушкинского героя, то он более живуч и может появляться еще долгое время.

Вследствие высказанных мною особенностей характера будет понятно, что Тургенев смотрел на всех свысока, и в манерах его обращения с людьми было заметно вначале некоторое фатовство. Это, конечно, не могло нравиться тому кружку, где он появился, и Белинский, по природной своей прямоте не терпящий ничего деланного и искусственного, стал без церемонии замечать Тургеневу при всяком подходящем случае о том, что могло коробить присутствующих, конечно, если не было при этом неинтимных людей.

Вот, например, эпизод, случившийся со мною. Но прежде изложения этого эпизода я должен сказать, что в литературном кружке, собиравшемся у Ивана Ивановича, все, за исключением Белинского, смотрели на людей, носящих эполеты, с явным предубеждением. Один Лермонтов не мог разрушить в этом кружке предвзятого предубеждения. Коль скоро офицер — значит, неразвитый человек, незнаком с философией, то есть с наукой. Разговоры о философии и науке подымал преимущественно В. П. Боткин. Он начитался Гегеля и еще кое-чего, и в виду того, что другие были мало знакомы с тем, чего начитался Боткин, он придавал себе вид мыслителя, и ему многие в то время верили на слово.

— Наука, батюшка, наука,— повторял он на каждом шагу.— Без нее нельзя ступить ни шагу ни в искусстве, ни в литературе.

Он был положительно смешон своею напыщенностью знания будто бы философских истин ⟨...⟩ Итак, офице-

ры рассматривались в кружке как люди, которым не могут быть доступны таинства науки, которую, однако, никто из кружка не мог формулировать хотя бы малейшей черточкой.

По поводу взгляда на офицеров мне припоминаются слова Герцена в гораздо позднейшее время, а именно в 1858 году, которые я кстати приведу здесь. Ниже в своем месте я подробно опишу мое знакомство с Герценом, а здесь скажу только несколько слов из разговора с ним при первой нашей встрече в Лондоне.

— Чем вы можете объяснить,— спросил он меня,— следующий факт. Надо вам сказать, что меня атакуют разные посетители из России, принадлежащие к разным сферам, включая и генералов, а на днях явился какой-то господин из Архангельска, приплывший сюда за неимением средств в качестве матроса. Можете ли себе представить, что по моим убеждениям я встречаю несравненно более развитых и более образованных людей в среде офицеров, чем в среде учащихся в университетах.

— Позвольте мне пояснить вам ваше недоумение,— отвечал я приблизительно в следующих выражениях.— По обстоятельствам, которые мне известны, вы не могли ознакомиться со всеми отраслями русской жизни до вашего отъезда за границу; а с тех пор Россия совсем вам неведома, а потому у вас могли сложиться вообще воззрения неверные. Вам неизвестно, что император Николай Павлович всеми мерами старался поднять образование в военно-учебных заведениях, вследствие чего начальство привлекало к этим заведениям наилучшие силы. Ведь в Дворянском полку русскую словесность преподавал Гребенка. В юнкерской школе и в других заведениях русскую словесность читал Комаров, о котором вы должны иметь понятие, если не знали его лично. Затем гениальный геометр-философ академик Остроградский был до того отвлечен лекциями в разных военно-учебных заведениях, что не имел времени читать в университете. Знаменитый математик академик Буняковский тоже читал в некоторых военно-учебных заведениях. Между тем, например, профессор Казанского университета, весьма известный в математической литературе, Лобачевский, в собственном сочинении, трактуя один вопрос, признал, что он не знаком по этому вопросу с трудами молодого Штурма. Нас же в заведении еще до производства в офицеры ознакомили с означенными трудами великого математика, оставившего по себе навсегда громкое имя.

Я упомянул о словах Герцена потому, что придаю им некоторое значение ввиду того, что Герцен в прежнее время принадлежал к тому же кружку, о котором идет речь, и разделял его мнение относительно людей, носивших эполеты, оттого-то он, конечно, и поставил мне вопрос, приводивший его в недоумение.

После изложенного мною замечания маленький эпизод, который я расскажу теперь, явится уже понятным.

Тургенев, посещая Ивана Ивановича, где не раз встречал меня, причем не только не здоровался, но и не кланялся мне, несмотря на мои близкие отношения к хозяину дома. По всей вероятности, Белинский подметил это. Я был в то время очень молодым офицером.

Однажды я находился у Ивана Ивановича, где был и Белинский. Во время своих разговоров он любил ходить по комнате. Я сидел. Белинский остановился передо мною и что-то говорил. В это время пришел Тургенев, подошел к Белинскому, поздоровался с ним, стоя глаз на глаз передо мною, но не поклонился мне. Белинский тотчас же взял Тургенева под руку, прошелся с ним раза два по комнате и опять остановился передо мной, продолжая держать Тургенева под руку.

— Знаете ли вы, Тургенев, кто это сидит?

Тургенев вставил монокль в глаз, взглянул на меня с высоты и выразил на своем лице недоумение.

— Знайте же, Иван Сергеевич, это сидит Остап! Да! Остап!

Затем Белинский повернулся и отошел. В то время «Тарас Бульба» чрезвычайно высоко ценился, как в обществе, так и в литературном мире, и будет, конечно, цениться еще долгое время[46] ⟨...⟩ читатель уже знает, что Белинский меня любил. Более деликатно, более умно и более находчиво нельзя было поступить, как поступил Белинский. С тех пор Тургенев не только здоровался со мною, но сделался весьма предупредительным при встречах и стал вступать в разговоры.

В ту же зиму в Петербурге после перерыва чуть ли не в двадцать лет впервые открылась вновь итальянская опера с тремя величайшими артистами: Рубини, Виардо и Тамбурини. Тургенев сильно заинтересовался m-me Виардо и с тех пор остался ее поклонником и во всю жизнь следовал за нею ⟨...⟩

Весной 1844 года субботы у Ивана Ивановича прекратились, и он задумал ехать за границу. Мы же, то есть я и брат мой, окончили к этому времени академический курс и отправились на действительную службу, на постройку Николаевской железной дороги.

Зиму 1845 года Иван Иванович провел за границей и, вернувшись оттуда, поехал в деревню, откуда прибыл в Петербург уже осенью того же года. Тогда опять начали собираться у него литераторы и знакомые. В это время появились три новые литературные личности, а именно: Некрасов[47], Достоевский и Григорович[48]. Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства и о котором я упомянул выше. Это был, как я уже сказал, образованнейший человек и в полном смысле джентльмен, как в жизни, так и по характеру, и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей, где и познакомился с ним Иван Иванович. Он только что приехал оттуда и жил некоторое время в Петербурге до отъезда в свою деревню Ново-Спасское Казанской губернии Лаишевского уезда, куда и пригласил на лето Ивана Ивановича с женой, а также Некрасова для дивной охоты на дупелей, которые водились в неисчислимом количестве в окрестностях означенной деревни. Во время пребывания в этой деревне Иван Иванович решал вопрос об издании «Современника» и заключил по этому делу союз с Некрасовым[49].

В это время Некрасов готовил уже издание «Петербургского сборника»[50], в котором должен был быть помещен первый роман Достоевского «Бедные люди». Белинский, Некрасов и Григорович знали уже этот роман по рукописи, и Иван Иванович устроил вечер исключительно для прочтения еще рукописи этого произведения другим литераторам и знакомым.

Я присутствовал на этом чтении; читал сам Достоевский, тогда человек конфузливый; но его чтение произвело на всех потрясающее впечатление.

Я очень мало знал Достоевского. Быть может, не более десятка раз встретился я с ним, и никакого серьезного разговора вести с ним не случалось. Он скоро перестал бывать у Ивана Ивановича; вышел какой-то разлад, в котором последний не был ни в чем виноват. Причину разлада приписывали Тургеневу; и если я не ошибаюсь, то враждебность между этими двумя писателями продолжалась до конца их жизни[51].

Итак, я не имею никаких данных для того, чтобы вывести какое-либо заключение о Достоевском из моих личных к нему отношений. Одно только можно было заметить даже в то короткое время, когда он посещал Ивана Ивановича, что Достоевский был очень раздражителен и щекотлив.

Но пользуясь случаем, я не могу воздержаться, чтобы не высказать в кратких словах моего личного взгляда на Достоевского как писателя.

Меня всегда несколько коробило и коробит, когда даже поклонники Достоевского стремятся проводить параллель между ним и другими писателями: Тургеневым, Толстым и Гончаровым. Каждый предмет должен для сравнения с другим мериться соответствующей ему мерою. Линии должны мериться линией, площади — квадратной и объем — кубической единицами. Я привел эту метафору, чтобы лучше пояснить мою мысль, а именно, что к одному писателю можно прилагать единицу линейную, к другому можно прилагать единицу квадратную, а к третьему — единицу меры кубической, то есть если одного достаточно мерить в одну длину, то другого надо мерить в длину и ширину, а третьего — в длину, ширину и глубину.

Достоевский был глубочайший мыслитель, как Гоголь. Их надо мерить не только в длину и ширину, но и в глубину, тогда как к поименованным пред сим трем писателям подходит мера квадратная. Вот почему я и сказал, что меня коробит, когда я слышу проведение параллелей между ними и Достоевским. Я отнюдь не хочу умалить этим достоинства означенных писателей, но дело в том, что они представляют предметы по существу своему несоизмеримые с двумя другими предметами, как Гоголь и Достоевский.

Достоевского до конца его жизни признавали крайне раздражительным и необщительным, и некоторые считали его даже ненормальным. Конечно, вся предшествующая его жизнь могла перервать все его нервы, но ведь прошло много лет, что он находился в весьма благоприятных условиях: он пользовался большим почетом, особенным уважением, сильною популярностью и не терпел уже нужды. И потому можно предполагать, что его раздражительность поддерживало то обстоятельство, что к его оценке прилагали мерку, к нему не подходящую, и не измеряли страшную глубину его мыслей, которые он старался передать людям.

Конечно, мне могут сказать, что Достоевский не отличался художественностью в своих произведениях. Но ведь художественность есть поверхностное условие творчества. Действительно, нередко Достоевский давал некоторых лиц в форме неотделанной, но зато он местами достигал такой художественности и в то же время глубины, как никто.

Перейду теперь к Некрасову, который появился у Ивана Ивановича Панаева одновременно с Достоевским в конце 1845 года.

Я расскажу то, что передавал мне сам Некрасов о себе до 1847 года, когда он явился уже соиздателем «Современника».

Отец Некрасова был ярославский помещик средней руки, то есть не богатый и не бедный. Он был человек малообразованный и грубоватый, подобный всем средним помещикам того времени, с достоинствами и недостатками, которые были присущи этой среде. Отец Некрасова кроме сельского хозяйства занимался содержанием почтовой гоньбы и потому имел в Ярославле контору.

Когда подошло время обучать детей, отец Некрасова отдал их в Ярославскую гимназию и поместил их жить в своей конторе под надзором какого-то крепостного дядьки ⟨...⟩

Приказчику в конторе приказано было денег барчонкам не давать, но удовлетворять их требования. Когда отец наезжал в Ярославль и проверял счета приказчика, то стал замечать, что расходы на хереса и проч. для барчат все росли и росли ⟨...⟩ Отец стращал то тем, то другим, но, наконец, вышел из терпения и чуть не побил сына.

— Тогда,— рассказывал Некрасов,— я объявил отцу, что не хочу учиться в гимназии, а хочу поступить в университет. Отец согласился отправить меня в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге жила родственница, старуха Маркова. Дал мне пятьсот рублей ассигнационных и письмо к Марковой, чтобы она оказала покровительство его сыну и пристроила его для приготовления в университет. Надо тебе сказать,— повествовал Некрасов,— что хотя в гимназии я плохо учился, но страстишка к писанию была у меня сильная, так что я писал сочинения почти для всех товарищей. Прибыв в Петербург, я отправился к старухе Марковой; жила она в своем деревянном доме на Литейной против Симеоновского переулка. Прихожу, вижу древнюю старуху, сидящую у окна и вя-

жущую чулок; подал я ей письмо от отца, она позвала приживалку прочесть.

— А, так ты из Ярославля? — спросила она.

— Из Ярославля, бабушка.

— Сюда в Петербург приехал?

— Сюда, бабушка.

— Учиться?

— Учиться, бабушка.

— Хорошо, учись, учись!

Сижу и жду — что будет дальше.

— Так отец твой жив? — спросила она опять.

— Жив, бабушка.

— Ведь ты из Ярославля?

— Из Ярославля, бабушка.

И затем пошли одни и те же вопросы несколько раз. Вижу, что толку нет никакого, и ушел. Разочек еще сходил, и опять то же.— Ты из Ярославля — и т. д. Плюнул и больше туда ни ногой ⟨...⟩

— Так я и стал проживать,— говорил Некрасов,— в грязной гостинице, шлифовал тротуары да денежки спускал. Наконец, я пристроился у одного профессора, который взялся приготовить меня в университет. Денег у меня почти уже не было, надо было писать отцу, а кто его знает — прислал ли бы он или нет? Между тем у профессора была женка смазливенькая, и я стал за нею приволакиваться. Заметил это профессор, да и вытолкал меня вон. Куда голову приклонить — не знаю. Оставалось еще несколько рублишек, я нанял себе угол за два рубля в месяц. Пить, есть надо, и я задумал стишонки забавные писать. Напечатал их на листочках и стал гостинодворским молодцам продавать. Разошлись. Маленько оперился и комнатку на Васильевском острове нанял. Вот после этого ты и встретил меня у Даненберга. Ну, потом я стал уже маленькие стихотворные книжки издавать, мало-помалу поправляться, и достиг я знакомства с Белинским. Белинский стал мне работу давать, и я тогда совсем уж оправился. А потом познакомился с Иваном Ивановичем и на твоих глазах издал «Петербургский сборник», а теперь, как ты видишь, издаем с Иваном Ивановичем «Современник».

Некрасова укоряют за то, что его слово не сходилось с делом, что он рисовал мрачные картины участи простолюдинов и бедняков, а сам швырял тысячами, как рублями. На это скажу, что у Некрасова не было ничего деланного и напускного. То, что он писал, было у него прочув-

ствовано, и искренность этого прочувствованного слишком выразительно выливалась в его, зачастую вдохновенном, слове ⟨...⟩ На Некрасова после его смерти стали клеветать, что он не только был кулаком в отношении сотрудников журнала, но будто бы не рассчитался и остался им должен. Более худшей лжи по отношению к Некрасову нельзя и придумать.

Не Некрасов остался должен сотрудникам, а они остались должны ему не один десяток тысяч рублей.

Брат мой, который заведовал бухгалтерией и счетами по «Современнику», хранит до сих пор денежные книги и личные счеты сотрудников, из коих и видно, кто кому должен[52].

Кроме того, Некрасов часто выдавал сотрудникам деньги без счета, которые и не попадали в кассовую книгу. Множество раз я был тому свидетелем. Бывало, придут к нему утром за деньгами и ждут, пока Некрасов не встанет.

— Вам верно деньжонок нужно, господа? — спросит Некрасов.

— Да нужно бы, Николай Алексеевич.

— Ну, пожалуйте!

Позовет тогда в кабинет, отворит крышку стола, на котором лежат кучками груды сторублевых измятых бумажек, повытасканных из карманов по возвращении из клуба накануне, схватит оттуда столько, сколько может схватить ладонь, даст тому, другому, и расписки не возьмет, да и сам не знает, сколько роздал. Конечно, это бывало тогда, когда накануне он выиграет хорошенький кушик. Редко случалось, чтобы он ответил: «Подождите»,— и уходил бы затем в задние комнаты.

Некрасов — это громадный самородок, как и Кольцов. Оба они самые характерные выразители абсолютно русской народной поэзии, совершенно самостоятельные и друг на друга не похожие. Некрасов писал много стихотворений и не народного характера и достигал иногда такой силы и такой звучности, какой не достигал никто. Укажу, например, на «Старые хоромы», где, впрочем, к ущербу этого произведения, несколько строк при печати заменены другими. С другой стороны, в стихотворениях народного характера Некрасову не удавалось выражать характер и пошиб русского народа такими сильными и рельефными словами, как это удавалось почти постоянно Кольцову. Например, мне сейчас пришли на память заключительные слова одного его стихотворения:

В ночь под бурей я коня седлал;
Без дороги в путь отправился,—
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться[53].

Относительно третьего, нового литератора Дмитрия Васильевича Григоровича, появившегося в литературном кружке в конце 1845 года, одновременно с Достоевским, я не имею права говорить собственно о личности этого приятнейшего и полного жизни человека, так как он еще жив. Но, пользуясь случаем, считаю обязанностью обратить внимание на то несправедливое мнение, которое почему-то распространилось в обществе, а именно, что будто бы Тургеневу принадлежит честь инициатора в ознакомлении образованного общества с крестьянами и простолюдинами, и что этим будто бы он, главным образом, расположил общественное мнение к эмансипации крестьян. Это несправедливое мнение так сильно пропагандировалось, что на обеде, данном в честь Тургенева литераторами, художниками и артистами, один из ораторов, исчисляя заслуги Тургенева, в своем увлечении дошел до того, что честь эмансипации крестьян приписал Тургеневу[54] ⟨...⟩

Приписывание таких заслуг коробило самого Тургенева. Ничего подобного он не видел за собою, и приписывание ему великих заслуг в вопросе об эмансипации крестьян было для него совершенною новостью. Между тем такое мнение распространилось в известных сферах общества и как бы установилось.

Тургенев в «Записках охотника» дал только несколько эпизодических, грациозных картинок, где попадались простолюдины, и только. Тогда как раньше этого явился Григорович с своими романами из народного быта и написал целую серию таких романов. Он первый решился показать образованному обществу, что в простолюдине живут такие же чувства, как и в нас грешных, что между ними совершаются романы, как и между нами. Это был шаг необыкновенно смелый и в высшей степени полезный, не в смысле литературном, а в смысле социальном, и за это ему должно быть вечное спасибо ⟨...⟩

Теперь обращусь к Ивану Ивановичу Панаеву. Конечно, читатели могут подумать, что мои суждения пристрастны вследствие близких родственных отношений. Но я постараюсь, по преимуществу, сгруппировать лишь одни факты, почти всем известные, и таким образом отнесусь к нему совершенно объективно.

По характеру это был человек мягкого и горячего сер-

дца, искренний, с детской душой, баснословною непрактичностью, абсолютным бескорыстием и полнейшим отсутствием самомнения, напротив, он не придавал никакого значения ни себе, ни своему таланту. Единственный упрек, который ему делали, это тот, что он был барич. Действительно, он был избалован с детства и имел некоторые замашки, но он постоянно старался отделываться от них и, в конце концов, отделался.

Он обладал особенною наблюдательностью и природным юмором. Он не выносил ничего деланного, ходульного, напускного и неестественного и ловко подмечал самые тонкие смешные стороны в человеке, которых другие и не замечали. Надо было быть очень внимательным к самому себе, чтобы не попасть на его зубок. Почти с самого начала своей литературной деятельности Иван Иванович стал выводить на посмеяние людей, заслуживающих того. Всего более он разил то, что можно характеризовать «мещанством во дворянстве». Затем он разил тип чиновников, доходя до той высоты их служебного положения, до которого допускала цензура, не щадил он и литераторов, и всяких прыщей в общественном строе. В тех сферах, которые он выводил на посмеяние, Ивана Ивановича не только не терпели, но, можно сказать, ненавидели его. Не менее того в свое время его произведения читались в обществе с жадностью, и многие стали тщательно скрывать те черты, которые были им осмеяны.

Вообще в прежние времена литература имела положительно воспитательное значение. Например, по выходе «Мертвых душ» Гоголя года через два провинция сделалась неузнаваема. Громадный авторитет, приобретенный «Мертвыми душами», имел благотворное воспитательное значение для всей России 〈...〉

Скромные произведения Ивана Ивановича действовали так же воспитательно в известных сферах.

Писал Иван Иванович языком простым, гладким и вполне непогрешимым. Писанное им полстолетия тому назад читается как бы написанное вчера. Пусть читатель возьмет на выдержку любое произведение Ивана Ивановича, и он убедится в том. Меткость его наблюдений доказывается уже тем, что данные им клички приобрели навсегда всеобщее право гражданства, например: «приживалка», «хлыщ».

Перестав писать повести и романы, Иван Иванович появился в «Современнике» с «Записками Нового поэта»[55]. И здесь он остался верен своему призванию, то есть

осмеивать все фальшивое, напускное и безнравственное, конечно, в более легком и беглом жанре и в иных сферах. Эти его фельетоны не пропадали в оное время бесследно. «Записки Нового поэта» можно назвать фельетонными chef-d'œuvre'ами*. Его ядовитость была тонкая, не бьющая прямо в лоб, но способная проникать глубже. В этом отношении он не замещен еще никем в нашей литературе. Жаль, что нет подобного ему фельетониста, а сколько теперь с изменением условий жизни появилось новых типов, подлежащих юмору? Их бесчисленное множество: адвокаты, концессионеры, разного сорта чиновники, фигурирующие ныне по частным учреждениям и правлениям, гласные, гешефт-махеры, непризнанные ораторы и проч.

Иван Иванович принес пользу русской литературе, а следовательно, и публике еще иным путем, более существенным.

Когда Краевский основал «Отечественные записки», Иван Иванович убедил его призвать к делу Белинского. Едет в Москву, дает Белинскому средства переселиться в Петербург и содержит его до тех пор, пока он мог уже опериться и проявить свой могучий талант. Это — заслуга, но в то же время этот факт доказывает особенную способность, которая проявлялась у него и впоследствии на каждом шагу. Он почувствовал в Белинском большую силу, возлюбил его и привязался к нему бескорыстно, всею душою.

Затем, когда Белинский, работая у Краевского и будучи уже семейным человеком, таял в своем здоровье, Иван Иванович реализует все свое состояние и все до последней копейки кладет на издание «Современника» с большим риском, так как «Отечественные записки» господствовали во всем обществе. При этом самою сильнейшею пружиною для сказанной решимости было намерение, и это всем тогдашним литераторам известно, вырвать Белинского из его батрацкого положения. Ведь такая решимость могла вытекать только из принципа полезного служения литературе и обществу и из восторженного, горячего сердца. Этою решимостью он открыл тоже ворота и для развития таланта Некрасова.

Вскоре по основании «Современника» Белинскому даны были широкие средства для поездки за границу ради отдохновения и поправления здоровья. К несчастью, змея уже грызла знаменитого критика, и по возвращении в Пе-

* шедевр, образцовое произведение, совершенство *(фр.)*.

тербург он стал уже сильно хворать и умер ранней весной 1848 года. Во время этой предсмертной его болезни я тоже был очень болен и три месяца не мог выходить из дому. В первый же день, когда меня выпустили, я поехал к Белинскому. Он жил тогда на Лиговке против Кузнечного переулка. Я застал его сидящим на постели, в халате, но с спущенными ногами, так что когда я стал передавать ему мои впечатления по поводу статей Эмиля де Жирардена, появившихся в это время после Февральской революции, он моментально оживился и вскочил было на ноги. Худоба была поразительная, щеки ярко горели, руки были горячие, следовательно, я попал к нему в сильный лихорадочный момент, а потому глаза его показались мне настолько оживленными, что можно было подумать, что до конца еще далеко. Через три дня Белинского не стало.

Иван Иванович обладал еще одним полезным стремлением. Это постоянно и неутомимо пропагандировать действительные таланты, на что он имел возможность, посещая разные сферы общества. Например, когда Некрасов напишет, бывало, стихотворение, которое не пропускала в то время цензура — а таких было много, Иван Иванович знакомил с ними общество в рукописях. Так же Толстой появился через восемь лет после смерти Белинского, и кто же открыл поле для Толстого? Для писателя важен первый шаг. Я помню, в какой восторг пришел Иван Иванович от первого произведения Толстого. Помню, как он повсюду возглашал, что народился новый могучий талант[56].

Напомню здесь еще раз о бескорыстных больших трудах Ивана Ивановича, о которых я упомянул уже выше, единственно для ознакомления Белинского с французской литературой. Впоследствии по этому делу трудился и Тургенев, но его труды были отрывочны и делались мельком, так как Тургенев бывал в Петербурге только наездами.

Не обязан ли также литературный кружок сороковых и отчасти пятидесятых годов Ивану Ивановичу за то, что он широко отворял двери своего дома, где преимущественно и собирались литераторы.

Здесь не могу не упомянуть об одном обстоятельстве. В литературном кружке приятели Ивана Ивановича, за исключением его друга Белинского, который иначе смотрел на него, обзывали Ивана Ивановича человеком легкомысленным. Этот взгляд пропагандировали, по преимуществу, во-первых, один из самых пустейших и легкомысленнейших людей Боткин и, во-вторых, отчасти Тур-

генев, который, будучи великим художником, отнюдь не отличался тоже, ни в то время, ни позже, глубокомыслием, что выражал не раз Белинский ⟨...⟩

В чем же обнаруживалось легкомыслие Ивана Ивановича? Разве привлечение к делу Белинского и оказание ему помощи есть факт легкомыслия, и отдать все свое состояние на издание «Современника» есть поступок легкомысленный? Почему же те, которые были в пятнадцать или двадцать раз богаче Ивана Ивановича, не решились основать журнала, а Тургенев стал брать большие деньги с «Современника»? Пожалуй, этот поступок Ивана Ивановича можно назвать легкомысленным с материальной точки зрения — против этого спорить нельзя. Разве привлечение к изданию «Современника» такой литературной силы, какою был Некрасов, есть дело легкомыслия? Пускай будет побольше таких легкомысленных людей!

Боткин и Тургенев относились к Ивану Ивановичу как к легкомысленному человеку потому, что мог ли быть в их глазах человек нелегкомысленным, если он не изучал Гегеля и прочих философов и не слушал лекций в заграничном университете. Но главным образом литературные приятели обзывали Ивана Ивановича легкомысленным потому, что он был легендарно бескорыстный человек, с теплейшим сердцем, готовый помочь каждому, чем был в силах, и относившийся к сплетням и к отзывам своих приятелей с добродушнейшею индифферентностью, без злобы.

Замечу еще, что хотя Иван Иванович не имел в последнее время прямого влияния на «Современник», но это влияние, им самим не замечаемое и другими не сознаваемое, было влияние косвенное ⟨...⟩

В заключение скажу, что Ивану Ивановичу не отвели еще должного места в литературном мире.

В пятидесятых годах появлялся у Ивана Ивановича изредка Фет. Я ничего не могу сказать о нем, разве только то, что он был тучный человек. А как он попал в звание замечательного поэта, это загадка, которую пускай разгадывает критика[57]. Общий жанр его творений очень ловко пародировал Иван Иванович в своих «Записках Нового поэта».

Впоследствии появились у Ивана Ивановича Дружинин и Дудышкин. Это были тоже люди умные, образованные и весьма приятные.

Было бы некоторым упущением с моей стороны, если бы я в своих «Воспоминаниях» не отвел несколько страниц в память знаменитой во всех отношениях драматической труппе конца тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, тем более что прошло уже более тридцати лет, как она стала испаряться, а между тем такой совокупности одновременно стольких крупнейших талантов едва ли мы дождемся. Эта совокупность не была, однако, следствием одной случайности, а имела, конечно, свою причину, о которой я упомяну лишь мельком 〈...〉

Прежде каждый род драматической литературы имел блестящих представителей среди артистов. Со смертью Каратыгина 1-го трагедия пала окончательно. О Шекспире и даже о Шиллере или о трагедиях иных авторов не может быть уже давно и речи. Без великих талантов трагедия является пародией не только на драматическое искусство, но и на драматическую литературу, и потому нельзя не отдать справедливости нынешним артистам в том, что они не берутся за трагические роли. А между тем отсутствие трагедии составляет отсутствие главного звена в цепи драматического искусства.

Прежде всего я постараюсь охарактеризовать всех наиболее талантливых артистов.

Каратыгин 1-й (Василий Андреевич). Он исполнял исключительно роли трагические и высокодраматические. Я с полным убеждением ставлю его в разряд самых гениальных артистов. Впервые я увидал Каратыгина в 1836 году, и доныне, в течение полувека, я не встречал для трагедии ни у нас, ни между иностранными артистами хотя бы единого артиста, близко подходящего к Каратыгину 1-му. Этот человек точно родился трагиком. Усвоить себе до поразительной естественности движения сильных душ изображаемых им людей едва ли возможно, не нося подобных задатков в своей натуре. К тому же внешние условия Каратыгина были особенно благоприятны для артиста, изображающего трагические и драматические роли. Он был большого роста, имел чрезвычайно стройную фигуру, достойную для модели скульптора; движения его, от выработки или по натуре, были изящно пластичны; голос его был особенно звучный баритон, достигавший в нужные моменты до потрясающего могущества. Верность интонации и размер речи сообразно обстоятельствам составляют, конечно, одно из главных условий для артиста, в особенности в трагедии или в драме. Иногда требуется особенная быстрота речи, другой раз наоборот,

и Каратыгин, как в интонации, так и в размерах речи, был не только непогрешителен, но достигал в этих отношениях полного совершенства.

Но превыше всего в этом артисте горел задушевный, неподдельный и истинный огонь. Каратыгин действовал на публику обаятельно; с появлением его, бывало, просияет будто бы не только сцена, но и публика, которую он держал постоянно в напряженном состоянии, потому что она не желала пропустить ни единого звука, ни единого изменения его лица или движения его фигуры. Публика всегда была в неистовом восторге от игры Каратыгина; но он имел врагов во влиятельном литературном кружке, об этом я упомяну ниже. Несмотря, однако, на этих и других завистливых врагов, сценическое поприще Каратыгина было постоянным триумфальным его шествием до конца жизни.

Натуральность и естественность игры Каратыгина составляли, конечно, главное его достоинство. Известно, что господствуют два противоположные взгляда на сценическую игру; одни полагают, что артист при игре отнюдь не должен чувствовать и увлекаться, а должен изучить все внешние условия изображаемого им лица так, чтобы зрителю казалось, что артист в самом деле все чувствует[58]. Я же того мнения, что истинный ценитель сценического искусства всегда подметит в данном случае в артисте натянутости чувства, и подобная игра не удовлетворит зрителя, а скорее оскорбит его. Другие полагают, что изучение есть дело лишнее, что достаточно играть, как они говорят, одним нутром. Этот последний взгляд составляет другую крайность. Конечно, можно предпочитать игру нутром игре деланной, без истинного чувства и увлечения, но одного этого недостаточно: изучение должно быть необходимым условием для артиста. Он должен обдумать и изучить все, один на один, сам с собою; но когда на сцене является известный подходящий момент, истинный артист не может не увлечься, смотря по состоянию своего духа один раз так, другой — иначе; между тем предварительное изучение незаметно, безотчетно послужит артисту непременно в пользу увеличения силы впечатления на зрителя.

Каратыгин совмещал в себе оба условия: и истинный жар, и все внешние атрибуты, необходимые для искусства игры, которые он приобретал тщательным изучением; и доводил таким образом игру до полной иллюзии и совершенства.

Племянник Василия Андреевича Каратыгина, Петр Петрович, сын артиста Каратыгина 2-го, известный от-

части в литературе и которого я хорошо знал, рассказывал мне, что у его дяди была комната, обставленная кругом зеркалами, в которую он всегда запирался перед представлением,— хотя бы он играл уже в предстоящей пьесе множество раз,— и просил домашних находиться в это время в более удаленных комнатах 〈...〉

В одной из своих статей Белинский, отдавая полную справедливость великому таланту Каратыгина, не признавал за ним огненной страсти и трепетного одушевления. Я позволю себе не согласиться в этом отношении с Белинским. Во-первых, Белинский никогда не мог отделаться от впечатления, произведенного на него игрою Мочалова в «Гамлете» и «Отелло», которую он называл вулканическим вдохновением. Во-вторых, в другой статье встречается как бы некоторое противоречие высказанному выше взгляду. Белинский, характеризуя игру Каратыгина в «Заколдованном доме», где Каратыгин играл Людовика XI, и восхитившись этой игрою, заметил, что во всей пьесе было только два места, где Каратыгин показался ему не Людовиком XI, а Каратыгиным. Надо знать, что недоброжелатели Каратыгина упрекали его за то, что он слишком силен в известных сценах, отдаваясь своему темпераменту, тогда как роль того не требует. Из этого следует, что Белинский упрекнул Каратыгина за то, чем он восторгался в Мочалове, то есть вулканическим вдохновением. Как бы то ни было, означенный упрек противоречит с непризнанием за Каратыгиным огненной страсти и трепетного одушевления.

Я утверждаю с полным убеждением, что Каратыгин обладал и священным огнем, и одушевлением, и творческим талантом, необходимыми для истинного артиста-художника.

Я уже высказывал прежде то глубокое уважение, которое я питал к Белинскому, но это не может помешать мне сказать, что я не могу признать за Белинским его компетентности во взгляде на Каратыгина, и это по следующей, весьма веской причине. Белинский, после переезда своего в Петербург в 1839 году и по день смерти в 1848 году, видел Каратыгина всего четыре или пять раз. Хотя это обстоятельство было хорошо мне известно, но лучшим подтверждением этого факта служат его рецензии. Вообще Белинский имел некоторое предубеждение против игры Каратыгина, заимствованное им от других, которое он не мог разбить окончательно по той причине, что он слишком редко видел Каратыгина.

По отношению к Каратыгину Белинский доверялся своим приятелям, которые не симпатизировали Каратыгину[59].

Я очень хорошо помню, как эти господа, пойдя посмотреть ради новинки какую-нибудь пошлую драму Кукольника, зажужжат Белинскому, что Каратыгин невозможен, что противно идти смотреть его, что он только ревет, и больше ничего. Между тем Каратыгин, обязанный играть в этих драмах, делал со своей стороны всевозможные усилия, чтобы подобные пьесы не проваливались сразу, так как они находили поддержку в известных слоях общества.

Итак, Белинский видел Каратыгина два раза в Москве: в «Гамлете» и в «Коварство и любовь». Затем в Петербурге он видел: «Велизария», «Парашу Сибирячку», «Гвельфы и гибеллины» и «Заколдованный дом». Я свидетельствую, что в Петербурге Белинский ни разу не видал Каратыгина ни в «Гамлете», ни в «Отелло» ⟨...⟩

Теперь я сообщу вкратце об игре Каратыгина в других наиболее сильных ролях. «Коварство и любовь» Шиллера ⟨...⟩ большинство публики, во время игры Каратыгиным Фердинанда, проливало потоки слез.

«Разбойники» Шиллера. Каратыгин играл Карла Моора, а Брянский его брата, Франца. Роль Карла неестественна и до невозможности натянута. Роль Франца очень благодарна, и всякий умный актер и без выдающегося таланта может сыграть ее очень хорошо и сосредоточить внимание публики на себе. Между тем в Петербурге Франца играл такой сильный артист, как Брянский. Несмотря, однако, на это, Каратыгин сумел привлекать внимание публики на Карла. Резонерства Карла выходили у него не противны, и необычайный такт для игры, которым обладал Каратыгин, подсказывал ему сглаживание того, что приторно и для зрителя скучно. Но в пьесе есть высший сценический момент, это тот момент, когда Карл, велев взломать двери подвала, наталкивается на отца, выходящего оттуда еще живым, тогда как Карл считал его давно умершим. Представьте же себе положение человека, пред которым внезапно предстало лицо, считавшееся давно умершим, но лицо живое. Страшное недоумение и ужас должны охватить человека. Изобразить в подобном обстоятельстве внезапный ужас и недоумение в том,— стоит ли человек перед живым лицом или перед призраком,— должно представлять для артиста неодолимую трудность. В подобный момент всякие слова, выражающие ужас

и недоумение, покажутся непомерно пошлыми и слабыми. Каратыгин, при своем громадном такте для игры, чувствовал, что подобный момент надо изобразить не рутинно-пошлыми жестами или словами ужаса, а сообразно положению духа человека, иным, более натуральным образом. Как же он поступал? Только что Карл увидал призрак,— какой-то ураган отталкивает его от отца, и ураган такой силы, что роняет Карла на колена, назад, и продолжает толкать его, уже в этом положении, чрез всю сцену, как будто человек катится по рельсам. Каково же должно было быть изучение и сколько надо было употребить времени для того, чтобы достигнуть подобного движения. Но, кроме того, нужна была огромная сила мускулов и внутренняя сила духа для инициативы такого движения. Таким образом, самый затруднительный момент изображался Каратыгиным блестящим образом. Потом отец медленно идет к Карлу; тогда только он убеждается, что видит действительно не призрак, а живого человека, и только тогда начинается уже речь. После Каратыгина я раза три видал Карла Моора на немецких сценах: в Дрездене, Вене и еще где-то. Я видел тоже Карла Моора в Москве и в провинции, и повсюду он был более нежели противен.

«Уголино» Полевого. В этой пьесе Каратыгин играл Нино. Читателям, более или менее, должно быть известно содержание пьесы. Я напомню только самую сильную сцену трагедии.

Два молодых существа, Нино и Вероника, любят друг друга, но они принадлежат к семействам, враждующим между собою и питающим мысль о мщении. Нино убегает с Вероникой, и они скрываются в горах, в хижине. Ежедневно Нино ходит в деревню за добыванием провизии. Сцена представляет площадку в горах; в ущелье видна хижина, и Нино с Вероникой сидят на скамье под деревом перед его уходом на часок в деревню. Молодая пара наслаждается любовью, и Каратыгин особенно рельефно напирал на эту сцену, чтобы рельефнее вышла следующая за тем ужасающая, трагическая сцена. В роли Вероники я видел сначала г-жу Дюр, но она была полна для этой роли; а потом я видел в этой роли восхитительную Веру Самойлову, незадолго до того поступившую на сцену. Иллюзия нежных взаимных ласк была полная. Для Каратыгина Вера Самойлова была дитятей, его ученицей. Веронику беспокоит какое-то тяжелое предчувствие, а потому она старается как можно долее задерживать Нино; любя-

щая друг друга парочка не подозревает, однако, что за нею уже следят.

Спустя немного по уходе Нино является дядя Нино, Уголино, который требует, чтобы Вероника следовала за ним. Вероника убегает, но Уголино догоняет ее, в ярости закалывает и оставляет кинжал, принадлежащий его врагу Руджиро, дабы отстранить от себя подозрение. Вскоре возвращается Нино, удивляется, что Вероника не бежит к нему по обыкновению навстречу, и полагает, что она спряталась где-нибудь за деревьями; но никого не видно и не слышно. Тогда Нино идет в хижину. Публика ждет неистового крика и вопля отчаяния; ничуть не бывало; в хижине царит гробовая тишина, и такая пауза длится несколько минут. Наконец, появляется на пороге Нино, молча, бледный как смерть; его ноги дрожат, он прислоняется спиной к стене хижины, у самых дверей, и молчание продолжается. Потом Каратыгин несколько нагибается и манит к себе рукой старика-пастуха, тут находящегося. Старик подходит, Каратыгин схватывает его за ворот у затылка, сильно нагибает его голову и тычет ее в низенькую дверь хижины. Тогда только Каратыгин раскрывает рот и спрашивает шепотом, но таким шепотом, от которого волос становится дыбом и который был слышен во всех концах залы: «Видал ли ты мертвых?» — и повторяет этот вопрос раза три, причем с каждым разом усиливаются в голосе звуки подготовляемого рыдания, и затем Каратыгин грохается во весь рост на землю без чувств. После того прибегают люди, вместе с убийцей, и приводят Нино в чувство. Но когда он приходит в себя, когда ему показывают кинжал, тогда только вступает в свои права мощный голосовой орган Каратыгина; зритель слышит как бы рыкания льва в пустыне; нет меры проклятиям, нет тех тиранний, которым не придумывал бы Нино подвергнуть убийцу Вероники. Всю эту сцену Каратыгин ведет, не подымаясь еще на ноги. Так изображал Каратыгин ужасающую трагическую сцену, которая у всех, виденных мною после Каратыгина, актеров в этой роли выходила до невозможности слаба. В самом деле, момент для Нино ужасен, и нужен могучий талант, нужен для артиста большой ум, чтобы действительно потрясти зрителя и чтобы вся описанная сцена не представилась ему зрелищем балаганным. Белинский не видал Каратыгина в этой роли, но заметил в одной своей статье, что в этой роли Каратыгин должен быть превосходен и может пожинать лавры вместе с Полевым. Эта ирония относилась к Полевому, а не к Ка-

ратыгину. Каратыгин должен был играть эту роль и играл ее более нежели превосходно. Но и ирония относительно Полевого совершенно не заслуженна, так как трагедия Полевого комбинирована искусно и удачно.

«Тридцать лет, или Жизнь игрока». Пьеса эта, конечно, далека до шекспировского пошиба, она не затрагивает общечеловеческих струн, но не менее того обнимает развитую в человечестве страсть к игре. И эту страсть пьеса исчерпывает до дна. Пьеса эта преисполнена трагическими моментами и предоставляла Каратыгину широкую арену для его могучего таланта. Он всегда и везде выдерживал свои роли с начала до конца; но выдержка роли в этой пьесе, где человек является в разных, ужасных контрастах своей жизни, выше всякого сравнения. Во всех сценах он был превосходен, но два момента, и притом моменты без слов, где играло одно выражение лица, неизгладимо рисуются в моих глазах, как бы это было сейчас. Вот эти моменты: когда Каратыгин в рубище, голодный, пришел просить чего-нибудь, чтобы притащить жене хлеба, он встречает в оберже* путешественника, видимо богатого, который приглашает нищего закусить с ним и просит его проводить по неизвестной ему в горах дороге. Вся внутренняя борьба, начавшая совершаться в душе игрока, читалась зрителем в выражениях лица Каратыгина, моментально изменявшегося, смотря по пробегавшим в его уме мыслям, и читалась как бы по книге. Этот момент игры был самым выразительным в игре Каратыгина. Другой момент: товарищ по игре, в действительности мошенник-шулер, Вагнер, сообщает игроку, что, пробираясь к нему, он наткнулся на свежеразрытую землю, расшевелив которую, увидел труп убитого человека, еще не остывшего. За час до того игрок сделался уже убийцей, и при словах Вагнера в нем должна была возбудиться не внутренняя борьба, подобная той, которая была перед тем в оберже, а иное душевное движение — страха от уличаемого преступления. В этот момент, тоже молча, Каратыгин наводит ужас на зрителя. Затем игрок и Вагнер садятся за карты. Замечу здесь мимоходом, что Каратыгин тасовал при этом карты, как может делать это только фокусник. Это показывает, до какой степени Каратыгин относился серьезно к ролям, которые он должен был изображать. Последняя сцена этой пьесы была преисполнена внешнего эффекта. Игрок,— уличенный Вагнером в убийстве и подстрекае-

* постоялый двор, харчевня, трактир (от *фр.* auberge).

мый им на новое убийство заснувшего в хижине офицера, как на дело уже знакомое,— решается на это преступление; но в эту минуту молния ударяет в хижину, она загорается; прибегает отсутствующая до того жена и объявляет, что спящий в хижине офицер — их сын. Игрок, сознавая всю страшную пропасть своего нравственного падения, схватывает упирающегося Вагнера, как щенка, и бросается вместе с ним в огонь при крике: «Нам с тобой только и есть место в аду!» Эта сцена исполнялась Каратыгиным с потрясающим ужасом, и в подобных сценах внешнего эффекта сами враги Каратыгина признавали его превыше всякого сравнения. В конце пятидесятых годов я долго жил в Париже. Знаменитый артист Фредерик Леметр был еще жив, и хотя он оставил уже сцену, но изредка появлялся на ней. Мне случилось, однако, видеть его два раза в «Жизни игрока». Об игре его в этой роли я слышал еще в Петербурге от приезжавших из Парижа, когда случалось завести речь о Каратыгине. Действительно, я увидал великого артиста, но о сравнении впечатления, произведенного на меня им и производимого на меня Каратыгиным, не могло быть и речи, во всех отношениях Каратыгин был превосходнее.

Брянский. Это был сильный драматический и трагический артист, с талантом, можно сказать, первоклассного пошиба. Его игра была умна, строго размерена и строго рассчитана. Огненной игры у него не было, он принадлежал к классической школе, совершенно подобной школе парижского «Théâtre Français». Лучшей характеристики игры Брянского я не могу сделать, как назвать его родным братом итальянского актера Росси, которого еще недавно видели у нас в России: отчетливая, превосходная декламация с оттенком певучести и с размеренно повторяющимися повышениями и понижениями тонов голоса. Но певучесть и постоянные повышения и понижения тонов далеко не доходили у Брянского до надоедливости, как у Росси; вообще игра Брянского была естественнее, чем у Росси. В памяти моей остались сильные впечатления от игры Брянского в «Отелло» — Яго, в «Эсмеральде» — Квазимодо, в «Разбойниках» — Франца, в «Жизни игрока» — Вагнера и др.

Но я должен сказать, что едва ли я видел Брянского более десяти раз. В начале сороковых годов Брянский оставил почему-то надолго сцену именно в то время, когда мне всего чаще приходилось бывать в театре, хотя впоследствии он и появился вновь на сцене, но ненадолго.

Дюр. Этого артиста я всего видел раза четыре потому, что он скоро умер. Но мне помнится, что его игра меня восхитила. Несмотря на свою молодость, Дюр имел громадное имя, и его потеря была очень чувствительна как для сцены, так и для обширного числа поклонников его таланта.

Сосницкий. Это был первостепенный артист для так называемой высокой комедии, а равно и для драмы; артист умный и с огромным талантом. Разнообразие его амплуа было поразительно. Иногда он появлялся не только в драме, но и в трагедии. И кого бы он ни играл, зритель был наперед уверен, что получит не только полное удовлетворение, но и огромное удовольствие, и что он, зритель, увидит как бы настоящее лицо, которое желает видеть в пьесе. В комедиях Мольера Сосницкий был особенно хорош. В «Горе от ума» он, можно сказать, сотворил Репетилова. Многие ходили на «Горе от ума» единственно для того, чтобы видеть Репетилова — Сосницкого. Городничий — Сосницкий в «Ревизоре», по-моему, был почти так же хорош, как Щепкин. Последнего я видел в роли городничего два раза, и, конечно, бесспорно, что я видел того самого городничего, которого сотворил Гоголь. Но мне кажется, что в отзыве Белинского, мельком сделанном о том, что «Сосницкий в городничем настолько плох, насколько в этой роли превосходен Щепкин»[60], — слышится отчасти тон пристрастия к Щепкину. Коротко говоря, с уходом Сосницкого со сцены в драматической труппе обнаружилась громадная брешь.

Каратыгин 2-й. Это был комик по природе. Артист умный, талантливый, острый и находчивый, с неподдельным юмором. На сцене он был всегда как дома. Но мне было часто досадно, когда его заставляли играть третьестепенные роли в драмах и трагедиях. К этим ролям, не подходящим к нему ни с какой стороны, он, видимо, относился с пренебрежением и потому почти всегда был плоховат. Но в амплуа, сродных его таланту, Каратыгин неизменно доставлял большое удовольствие чрезвычайно живой и натуральной игрой[61].

Максимов. Этот артист занимал роли jeune-premier*. Он имел положительно талант. По-моему, jeune-premier, в сущности, суть роли самые неблагодарные и трудные потому, что в большинстве случаев не представляют какого-либо характера, а являются во всем как общие места.

---

* первый любовник *(фр.)*.

Между тем у Максимова все выходило сносно и гладко. Наружность его гармонировала с его амплуа: он был хорошего роста, с хорошей фигурой, с хорошими манерами и многими признавался весьма красивым. По моим понятиям он во многих ролях доказывал, что он артист умный и талантливый. Вообще Максимов придавал своей игре вид «non chalant»* и в таком роде играл Хлестакова и был отличный Хлестаков, лучше его был только разве московский артист Шумский. Но лучшего Чацкого я не видал. Он не придавал Чацкому тона серьезности и все свои проповеди и любовные излияния говорил как бы шутя. В самом деле, ведь вся роль Чацкого до крайности неестественна, неправдива и ходульна, и если играть ее всерьез, то Чацкий выйдет и смешон, и глуповат, и вместо «Горе от ума» явится «Горе от глупости».

Чацкий по идее самого автора должен быть умен, образован и с пониманием уже людей. С самой ранней юности он проводит время вне Москвы, за границей и возвращается в родной край, о котором осталось воспоминание, как о благоуханном саде. И вдруг вместо сада он попадает в гнилое болото. Он сразу видит это и начинает с презрительно-шуточной манерой язвить все население болота, без пафоса глубоко оскорбленного человека, не выдавая открыто своего внутреннего чувства на общее посмеяние. Коротко говоря, Максимов, придавая игре Чацкого шуточно-желчный колорит, делал все, что можно было сделать из роли Чацкого, чтобы он показался человеком умным. Сознательно ли Максимов придавал означенный колорит Чацкому, или это было следствием его натуры — это все равно. Но я повторяю: Чацкий — Максимов был превосходен, и лучшего я не видал.

Самойлов. Это был человек необыкновенно талантливый, как была талантлива вся семья Самойловых. Отец Самойлова был знаменитый оперный артист. Кроме сына его Василия, на петербургской сцене играли две его сестры, Надежда и Вера, артистические звезды первой величины; в провинции два брата-актера имели выдающиеся успехи, а о талантливости третьего брата, горного инженера Сергея, я говорил 〈...〉 Самойлов Василий обладал особенною способностью внешнего изображения кого бы то ни было. Он изменял физиономию, манеры и голос так, что перед зрителем являлись именно те самые субъекты, которых изображал Самойлов 〈...〉

* небрежный, беспечный *(фр.)*.

Я должен, однако, сказать, что Самойлов не обладал элементом творчества. Роли обыкновенных людей, где не нужна была специальная гримировка и внешние особенности, а нужно было создание характеров, Самойлову не удавались. Например, в сороковых годах он играл Молчалина в «Горе от ума», и это был один из самых плохих Молчалиных, которых мне случалось видеть. Самойлов играл Молчалина так, чтобы возбудить в публике самое резкое отвращение к этому лицу, даже с внешней стороны; вследствие этого всякая возможная иллюзия со стороны Софьи являлась немыслимой 〈...〉

Свежа еще в памяти петербургской публики громкая слава, приобретенная Самойловым под конец его артистического поприща. Слава заслуженная, но, не в обиду памяти Самойлова, я позволю себе сделать ему упрек как артисту. Увлекшись своей славой, Самойлов вздумал играть в трагедиях Шекспира. Между тем в нем не было и тени трагического или драматического таланта. Это тем более непростительно, что он видел прежде самых блестящих представителей шекспировских героев. Я не пошел, конечно, смотреть изображение этих героев Самойловым, чтобы не видеть его в жалком положении. Но я пошел посмотреть его в «Иоанне Грозном», о котором кричала петербургская публика. Я увидал отличную гримировку, походку, костюм и все атрибуты Иоанна Грозного, но духа его я не увидал и не ощутил[62] 〈...〉

Перейду, наконец, к Мартынову, этому творческому гению в сценическом искусстве. Как ни признаю я гениальность Каратыгина, но гениальность творчества Мартынова я ставлю выше гениальности Каратыгина. Мартынов появился на сцене в самом конце тридцатых годов в водевилях и в маленьких ролях. Между тем, кажется, в 1842 году я увидал его однажды в роли Гарпагона Мольера, и он произвел на меня необыкновенно сильное впечатление. По интригам или по какой-то другой причине, Мартынов в этой роли более не показывался и в течение с лишком пятнадцати лет фигурировал по преимуществу только в водевилях. Но кого бы и в чем бы ни играл, он поражал своим талантом и всегда творил типы, чего, конечно, не могли не оценить истинные любители сценического искусства и опытные, развитые зрители. Что же касается до толпы, то и она всегда восхищалась Мартыновым. В сороковых годах Мартынову давали иногда роль Осипа в «Ревизоре», и это, положительно, был тот самый Осип, которого нарисовал Гоголь. Появлялся Мар-

тынов тоже в «Горе от ума», попеременно с Каратыгиным 2-м в роли Загорецкого. И в этой маленькой роли зритель видел не актера Мартынова, а того самого светского вруна Загорецкого, который проживал некогда в двадцатых годах в Москве. Отсутствие шаржа и ненатуральности было отличительною чертою игры Мартынова. Читатель знает, конечно, комедию «Лев Гурыч Синичкин»; из этой забавной комедии Мартынов создал комедию серьезную, так что зритель страдал страданиями Синичкина и радовался его радостями.

Таковы-то были амплуа Мартынова в продолжение, как я уже сказал, более пятнадцати лет. Но вот в последней половине пятидесятых годов появляется драма актера Чернышева «Чужое добро впрок нейдет»[63]. Мартынов выступает в этой пьесе в сильной драматической роли молодого ямщика. Тогда только прозрел литературный кружок, пришедший в недоумение вместе с большинством публики. Как же это так: мы смотрели более пятнадцати лет Мартынова как талантливого веселого забавника, а он оказывается — огромный драматический артист[64]. В непродолжительном времени появилась новая превосходная драма того же Чернышева «Бедность не порок»[65]. Сцена перед уходом к дочери, сцена у дочери и после возвращения его домой обнаружили в Мартынове громадного артиста, глубоко понимающего тончайшие пружины человеческой души и смело могущего бы явиться в самой сильной трагической роли, подобно Каратыгину, если бы только он обладал внешними условиями последнего. Означенная драма упрочила уже окончательно за Мартыновым имя великого драматического артиста: с тех пор начали его чествовать, а он начал чахоточно кашлять. Литературный мир и большинство общества спохватились поздненько. Летом 1839 года я видел Мартынова в Эмсе, надеявшегося еще на поправление своего здоровья. По возвращении из-за границы Мартынов продолжал играть, и я видел его в последний раз в 1860 году. Затем я уехал надолго из Петербурга и не знаю хорошенько, когда Мартынов умер и где могила этого высокогениального артиста[66].

Перейду теперь к женскому персоналу.

В тридцатых и в начале сороковых годов во главе этого персонала стояла бесспорно Каратыгина 1-я, жена трагика Василия Андреевича. В это время она стояла выше всех и по драматическому таланту, и по образованию, и по внешним условиям: она была очень хороша собой. Из-

вестно, что, бывши еще девушкой, она жила за границей специально для того, чтобы ознакомиться с знаменитыми парижскими артистами того времени, когда играл еще Тальма. Я видел Каратыгину, будучи еще очень молодым юношей, в 1836 году. Потом я три года не был в Петербурге и увидал ее опять в 1839 году, в это время она занимала еще иногда роли молодых, но скоро уже перестала появляться в подобных ролях. В начале сороковых годов я видел ее несколько раз в роли матери Гамлета; Гамлета же играл муж ее. В этой роли Каратыгина была величественно хороша. Появлялась она тоже в роли Натальи Дмитриевны в «Горе от ума», и здесь, несмотря на незначительность этой роли, можно было полюбоваться ее умной игрой. Вообще характер игры Каратыгиной подходил к характеру размеренной игры артистов парижского «Théâtre Français» с добавкою некоторого природного одушевления. Словом сказать, это была артистка высокого стиля ⟨...⟩

Асенкова. Она была огромной восходящей звездой, которая, к великому сожалению всех любителей изящного искусства, безвременно потухла. Мне удалось ее видеть всего раза четыре или раз пять, между прочим, в ролях Херубино в «Свадьбе Фигаро», в водевиле «Гусарская стоянка» и в «Эсмеральде», и во мне сохранилось впечатление полного восторга как от ее игры, так и от ее внешности.

Самойлова 1-я, Надежда Васильевна. Это была замечательно талантливая, умная, веселая и живая артистка. В водевилях ее, кажется, никто до сих пор не мог заменить. В особенности она была хороша в Лизе в комедии «Лев Гурыч Синичкин». Впрочем, она была превосходна везде и всегда, хотя бы ей приходилось играть роли и драматического характера. Но у нее было, сверх всего, одно великое достоинство, заключающееся в том, что она обладала превосходным, звучным голосом контральтового тембра и была чрезвычайно музыкальна. С удалением Каратыгина со сцены — нет более Гамлета, а с удалением Самойловой — нет более Офелии. Эту роль Самойлова играла восхитительно и исполняла песнь Офелии так, как это могла бы исполнить только первоклассная оперная примадонна. И самая музыка этой песни, сочиненной незабвенным творцом сотен превосходнейших романсов Варламовым, могла бы встать в первый номер наилучшей итальянской оперы. На «Гамлета» можно было ходить не только ради игры Каратыгина, но и ради песни Офелии,

исполняемой Самойловой. В 1840 году Надежда Васильевна числилась Самойловой 2-й, вероятно потому, что прежде нее была на сцене некоторое время старшая сестра, которую я собственно на сцене никогда не видал ⟨...⟩

Самойлова 2-я, Вера Васильевна. Это была артистка той же школы, к которой принадлежала и Каратыгина 1-я. Она играла умно, всегда с достоинством и величественно, но была артистка холодная. В игре ее было много искусства, но заключался некоторый недостаток увлечения и вполне истинного чувства. В пятидесятых годах давали сцены из «Онегина», и, кажется, по инициативе самой Веры Васильевны. Она изображала Татьяну. В изображении этой роли она была превыше всяких похвал: изящность, достоинство и даже искренность чувства блистали в Татьяне ярким светом ⟨...⟩ Самойлова 2-я была прекрасного роста, изящно сложена и хороша собой, хотя и не с строго правильными чертами.

Я не могу не упомянуть тоже о некоторых артистах Московской драматической труппы. Ведь эта труппа имела таких громких представителей, которые, по мнению многих, стояли даже выше петербургских. Я упомяну, конечно, только тех, которых мне случалось видеть, а именно: Мочалова, Щепкина ⟨...⟩ Артистки женского персонала сороковых и пятидесятых годов в памяти моей не сохранились.

Мочалов, как известно, был трагик. Я видел его всего два раза в 1839 году в роли Отелло. Он не произвел на меня тогда сколько-нибудь выдающегося впечатления. Присутствовавшие на этих двух спектаклях люди компетентные, как то: Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич Аксаковы, Загоскин и Иван Иванович Панаев,— находили, что Мочалов не в ударе, а между тем они думали увидать его во всем его блеске. Но о бесподобной игре Мочалова в «Отелло» и в особенности в «Гамлете» много было написано Белинским[67].

Щепкина я видел много раз и в Петербурге, и в Москве. Поистине, это был артист вдохновенный и доставлял полное наслаждение. Почти все роли, которые играл Щепкин, исполнялись в Петербурге Сосницким превосходным образом. Конечно, Щепкина многие ставили значительно выше Сосницкого, но многие тоже, в известных ролях, отдавали преимущество последнему, потому что в нем не замечалось того однообразия, какое замечалось несколько в игре Щепкина. После отзывов Белинского об игре Щепкина я, конечно, ничего прибавить не могу[68] ⟨...⟩

Мне хочется сказать теперь несколько слов о русской опере начала сороковых годов. В это время не было вовсе итальянской оперы, и мне не случалось слышать какую-либо итальянскую оперу с русскими певцами, хотя такие оперы и давались. Из русских же опер я слышал только «Жизнь за царя», «Руслана и Людмилу» и «Аскольдову могилу».

С первых же представлений «Руслана и Людмилы» опера эта произвела на меня сильное впечатление, благодаря, конечно, таким двум превосходным артистам, какими были Петров и жена его Воробьева-Петрова. Петров был действительно богатырь Руслан как по голосу, так и по игре. В то время Петров имел еще голос сильный, звучный, обладающий огромным диапазоном во всем его регистре, отлично обработанный, чрезвычайно подвижный, и добавьте к этому выдающееся искусство пения. Не в обиду будь сказано последующим после Петрова Русланам, что все они казались мне очень слабыми против Петрова. Ария Руслана «О поле, поле...» являлась полным торжеством и средств, и искусства Петрова, приводивших публику в неистовый восторг.

Справедливость требует сказать, что в означенное время появился новый певец — Артемовский, который менялся в означенной роли с Петровым. Артемовский обладал тоже прекрасным, сильным и свежим голосом, так что Руслана можно было слушать с удовольствием и при пении Артемовского. Конечно, он не был Руслан — Петров, но и Артемовский, по-моему, был гораздо лучше всех последующих Русланов.

В 1864 году я встретил в Новочеркасске одного донского казака, проживавшего некогда в Харькове и занимавшегося обучением церковных певчих. Этот казак сообщил мне, что он был первым учителем Петрова. Старик еще пел прекрасно под гитару и, конечно, сильно гордился своим учеником, достигшим большой известности, и показывал письма к нему от Петрова.

Воробьева-Петрова — жена поименованного певца. Бывши еще не замужем, она приобрела громкое имя. Ее голос, высокое контральто, был в полном смысле феноменальным в отношении красоты, чистоты, круглоты, полноты и бархатности звука. По этим индивидуальным свойствам звука ее голоса можно приравнять его к подобным индивидуальным свойствам звука голоса Патти. Понятно, что у одной в одном регистре, а у другой — в другом. Особенность голосов этих певиц была такова, что

едва зритель услышит два-три звука, вылетевших из их уст, он уже обворожен круглотою, полнотою и бархатностью ласкающих ухо этих звуков, помимо еще всякого искусства пения.

Гениальный Глинка в созданной им музыке для роли Ратмира дошел, можно сказать, до апофеоза выражения неги и сладострастия. Воробьева-Петрова творила в этой роли чудо и своими необычайно сладкими звуками, и своим искусством. Являлась полная иллюзия, и зритель под обаянием слушаемых им звуков находился как бы не в театре, а в роскошном восточном гареме, дышащем негою. Коротко говоря, невозможно высказать того впечатления, какое производила Петрова этой арией на слушателя ⟨...⟩

Глубоко любя и уважая людей литературного кружка сороковых годов, я не могу, однако, не высказать правды: они совершили великий грех в отношении драматической Петербургской труппы тех времен. Они старались всеми силами дискредитировать Александринский театр в глазах образованной публики, отзываясь о нем как о театре неприличном, некомильфотном, где могут находить удовольствие не люди образованные и художественно развитые, а лишь гостинодворцы. Между тем теперь пришли уже, более или менее, к сознанию, что нам, быть может, долго еще не дождаться хотя бы близкого подобия труппы сороковых годов. Что же совершалось в действительности? Все, искренно любящие наслаждаться великим драматическим искусством, ездили в Александринку (выражение того времени), но старались скрывать это от своих знакомых. Выходило, однако, так, что знакомые между собою люди, скрывавшие друг от друга свои посещения Александринки, вдруг встречались там, и тогда сваливали свое посещение на детей или на какую-нибудь случайность, не упуская при том отзываться в обществе об Александринке или с иронией, или с пренебрежением[69]. Теперь, когда эта фальшь миновала, я нередко встречаю пожилых людей, которые, при разговоре о прежней сцене, каются в своем грехе и сознаются, что они, несмотря на наложенное литературным кружком в оные времена клеймо на Александринку, ездили туда втихомолку, чтобы насладиться игрой Каратыгина.

Каратыгин умер прежде, нежели влиятельный литературный кружок прозрел и опомнился от невнимательности своей в деле оценки искренности в драматическом

искусстве. Другой же великий артист дожил до этого прозрения прежних своих врагов; но было уже поздно,— грех был совершен.

Мартынов, имевший призвание к самым высоким драматическим ролям, чуть ли не восемнадцать лет расходовался по водевилям. Несмотря на это, Мартынов из каждой пустой роли создавал тип, и если бы литературный кружок следил за ним, то подметил бы в нем великий талант вовремя. Но кружок этот не обращал на Мартынова никакого внимания и рассматривал его как балаганного гаера. Восемнадцать лет нравственного придавливания своих натуральных стремлений и выдерживания тяжелых оскорблений своего громадного таланта,— быть может, более сильного, чем тот, которым обладал Каратыгин,— свое дело сделали: Мартынов приобрел себе в награду чахотку. Тогда известный литературный кружок вздумал чествовать Мартынова обедом с громкими речами, но этим от чахотки Мартынова не избавил. К истинным талантам нужно относиться со вниманием, и относиться вовремя, иначе можно совершить грехи непоправимые.

Восемнадцать лет Мартынов, в глазах литературного кружка, был гаер — и вдруг, в один прекрасный день, сделался великим артистом. Разве такие метаморфозы совершаться могут? Суть в том, что лица известного литературного кружка или вовсе не ходили смотреть Мартынова, или смотрели на него сквозь кривые очки, а когда очки эти кружок снял, или их сняли с него, то и увидел то, что мог видеть давно.

Если бы Каратыгин пожил подолее, то и он увидал бы тот же почет в литературном кружке, какого дождался на краю гроба Мартынов.

Все эти замечания клонятся к тому, чтобы подтвердить мое убеждение в том, что взгляды литературного кружка сороковых годов на Каратыгина были неправдой, и неправдой вопиющей. В действительности же театр всегда ломился, когда играл Каратыгин, и ни одно представление не проходило без самых сильных выражений восторга. Враждующий ему кружок старался относить его успехи к грубому вкусу посетителей театра; на самом же деле Каратыгин производил обаяние на все слои общества одним своим появлением на сцену и своей горячей и правдивой игрой увлекал неудержимо.

В сезон с 1843 на 1844 год находились в Петербурге такие великие оперные артисты, как Рубини, Виардо и Тамбурини. Я, вместе со всею петербургскою публикою,

сходил от них, как говорят, с ума. Но признаюсь, что когда мне почему-либо предстоял выбор идти слушать их или смотреть Каратыгина, я не колебался ни минуты и избирал Каратыгина. Истинно правдивое драматическое искусство доставляет такое глубокое наслаждение, какого никакое другое искусство в той же мере доставить не может. И этою-то правдивостью и отличался Каратыгин ⟨...⟩

Помяну теперь тех иностранных выдающихся некогда и выдающихся ныне артистов, которые приходят мне в настоящую минуту на память, из числа мною виденных.

В Рашели классическая школа воплотилась в своей крайней форме — в форме отвлеченной, хотя и в высшей степени изящной, но душою не оживленной и, если можно так выразиться, в форме статуйной. Но артистка эта имела настолько ума, что она являлась преимущественно в таких ролях, в которых и не нужно было иметь искреннего внутреннего огня. Сцена служила ей лишь поводом для того, чтобы декламировать звучные эффектные стихи и рисоваться в надлежащем костюме ⟨...⟩

Из всего вышесказанного не следует, однако, выводить заключение, что я отношусь не с полным уважением к школе, господствовавшей между артистами в «Théâtre Français» [70]. Я должен сказать правду, что я никогда не выходил из этого театра неудовлетворенным, но зато никогда не выходил тоже оттуда потрясенным, за исключением одного раза, когда я увидел в первый раз Круазет в роли в «Sphinx»[71].

Эта артистка составляет, или составляла, исключение из всей труппы «Théâtre Français». Не потому ли, быть может, она, обладая громадным, непосредственным талантом, не успела достигнуть тех результатов, которых достигла бывшая ее асоссье Сарра Бернар, хотя и обладающая тоже великим талантом внешней игры, но далеко уступающая Круазет в правдивости драматического искусства?

В «Sphinx» Круазет играла с Саррою Бернар. Для человека, любящего в искусстве неподдельную натуральность и правдивость, при виде игры этих двух артисток показалась бы странною возможность сравнения их между собою. Так, Круазет силою своего непосредственного таланта подавляла Сарру Бернар, и таково было впечатление их игры как на меня, так и на моих знакомых, бывших со мною в театре.

Между тем в то время французская публика разделялась на два враждебные лагеря: одни восхищались Круа-

зет, а другие бранили ее и восхищались Саррою Бернар. Впрочем, восторги от Круазет относились только к чисто внешнему эффекту, а именно к сцене ее смерти. Смерть от отравления казалась публике настолько реальной, что многие не хотели верить в игру, а верили распущенному слуху о том, что Круазет принимала будто бы какое-то зелье, а затем, когда занавес опускался, она принимала противоядие, и этому обстоятельству приписывали уклонение ее от появления на вызовы перед публикой после окончания спектакля.

Откровенно признаюсь, что я с своей стороны пропустил и в следующие разы пропускал без всякого внимания предсмертные корчи артистки, так как большая или меньшая правдоподобность их изображения не могла придавать никакого значения силе ее таланта. А между тем этот внешний эффект и придал большую известность Круазет. Досадно было видеть в то время, что французская публика не оценила в ней необыкновенную правдивость и естественность ее игры и не отметила своим вниманием ту сцену, в которой главным образом высказывалось могущество таланта артистки. Но прежде, нежели указать эту сцену, надо заметить, что пьеса Октава Фелье написана так художественно, что нет ни одного обращения в сторону или одиночного монолога. Все мысли и движения души изображаемого лица артист должен дать понять зрителю своей игрой. Я говорю о той сцене, когда Бланш (Круазет), приготовив для себя стакан с ядом, хочет его выпить, и в это время ее соперница (Сарра Бернар), не видавшая приготовления яда, просит воды, чтобы утолить жажду от сильной сцены. У Бланш зарождается мысль, не направить ли стакан с ядом по адресу своей соперницы. Происходит внутренняя борьба, исходом которой является возвращение к мысли самоотравления. Когда я смотрел «Sphinx» в первый раз, я не знал содержания пьесы, не менее того, все мысли, пробегавшие в уме, и все движения сердца Круазет я читал как по книге в лице артистки. Если публика не ценила в ее игре этого момента, то сама Круазет очень хорошо сознавала, что высшее напряжение драматизма пьесы заключается в этом моменте и что именно тут она должна вложить весь свой талант, и, вероятно, потому она и сняла с себя карточку в этой сцене. Увидавши только одну эту карточку Круазет, можно уже получить некоторое понятие об этой артистке.

Обаяние публики от Круазет ослабело, однако, довольно скоро. Это и понятно. Современная парижская публика

не любит выносить из театра очень сильных ощущений и потрясений. Ей нужно кратковременное развлечение после обеда. Поэтому ни истинно драматические пьесы, ни истинно драматические таланты долго держаться там не могут. Парижская публика любит преимущественно не настоящие драмы, а мелодрамы с буржуазными добродетелями, такими же мелочными пороками и со всевозможными внешними эффектами ⟨...⟩

Написал я немало, а не сказал еще ничего об игре Стрепетовой в «Каширской старине»[72].

Я видел ее один раз и потому могу высказать вам только то впечатление, которое произвел на меня первый спектакль. Трагический талант Стрепетовой показался мне настолько сильным, что во мне невольно пробудилось воспоминание о прежних артистах.

В исполнении роли Марьицы г-жою Стрепетовой на меня произвела особенно сильное впечатление сцена при обмене колец. До минуты требования Василием обменяться кольцами мы видим обыкновенную девушку, и трудно представить себе, как может она явиться великим драматическим лицом. Нельзя не отдать справедливости автору: он необыкновенно удачно ввел в пьесу — сообразно миросозерцанию изображаемых им лиц в данную эпоху — такой момент, который действительно способен был затронуть в сердце чистой, простой девушки самую чувствительную струну. И эта струна в данном случае должна была зазвучать со всею силою того духа, который пожелал вложить автор в свою героиню.

Стрепетова поняла, что эта сцена есть самая возвышенная точка всей драмы и что в эту сцену надо положить всю свою силу. Артистка, не сумеющая выдержать должным образом упомянутую сцену, неминуемо уронит значение всей драмы. Момент заклинания вызывает в простой девушке всю скрывающуюся в ней до этого времени могучую силу ее души, и эта сила духа является новостью как для нее самой, так и для Василия. И все это выходит весьма правдиво и натурально. С минуты заклинания Василий раздавлен. Без всяких словесных разъяснений становится очевидным для Василия, что он не пара Марьице, а для нее — что она не пара Василию; кроме того, делается очевидным и то, что с этой минуты истинная любовь, если она и успела зародиться у этих двух лиц, в сущности, рухнула безвозвратно с обеих сторон. Василий не мог внутренно не почувствовать своего, по сравнению с Марьицей, слабодушия, и, следовательно, некоторого

оскорбления; а Марьица не могла не убедиться в этом слабодушии Василия, не нашедшего в своей любви столько силы, чтобы после заклинания покончить дело тут же. После означенного момента могли гнездиться в сердцах обоих лишь внешние признаки любви, поджигаемые одним самолюбием. Так дело и разыгралось в последующих актах драмы.

Смысл означенной превосходной сцены был изображен Стрепетовой в таком совершенстве и с такою могучестью и искренностью, что тут вспомнился мне характер игры Каратыгина.

Не стану говорить о сцене укора и отказа следовать за Василием. Эта сцена была безукоризненна; но она настолько благодарна для артистки, что и не особенно сильный талант может выполнить ее удачно.

Упомяну в заключение о той последней сцене, когда Марьица вышла из-за стола и начала говорить. В это время она была похожа скорей на царицу, чем на простую девушку. И это в игре Стрепетовой нисколько не шокировало. Говорила не простая девушка, а говорил ее устами глубоко настрадавшийся человеческий дух, достигший от размера горя до величия необъятного, а потому величавый тон и величавые манеры Стрепетовой в этой сцене являются совершенно естественными.

Все эти сцены могут казаться смешными при таланте недостаточно могучем, но ведь и сцены из «Отелло», «Гамлета», «Короля Лира» и прочие кажутся тоже смешными при слабых талантах.

Иному читателю может показаться, что я отвел слишком много места очерку нашей прежней драматической труппы; но я твердо убежден, что не заслужу этого упрека от тех еще живых людей, которые видели плеяду прежних артистов. Эта плеяда заслуживала бы не беглого моего очерка, а целой книги, ибо сослужила немалую службу для истории развития драматического искусства в нашем отечестве ⟨...⟩

Если я остановился преимущественно на Каратыгине и на Мартынове, то потому, что это были слишком выдающиеся крупные величины. Правда, что такой громаднейший талант, каким обладал Мартынов, может, конечно, появиться не сегодня, так завтра; но прежде, нежели встретить необыкновенное совмещение всех тех условий, которыми обладал Каратыгин, может пройти и более полвека. Так же, как велик Шекспир как драматург, так велик и Каратыгин как исполнитель и толкователь творений

этого гения. Повторю здесь, что со смертью Каратыгина на долгие, многие годы пал на сцене и Шекспир 〈...〉

Во главе итальянской оперы в Петербурге должен встать незабвенный и неизгладимый в памяти сезон 1843—1844 годов, не только по первенству времени, но и по силе впечатления, произведенного им на петербургскую публику.

Задолго до этого сезона итальянская опера в Петербурге была закрыта. Небезынтересно рассказать повод к ее возобновлению, о котором я лично слышал от графа А. В. Адлерберга как свидетеля одного обстоятельства, касающегося данного вопроса. Во время великого поста 1843 года приехал в первый раз знаменитейший из всех когда-либо бывших теноров Рубини, «король теноров», как его называли, уже в очень зрелых летах. Он дал несколько концертов в зале дворянского собрания, и, конечно, громкое имя Рубини привлекало массу публики, естественно приходившей в великий восторг. В течение одного с небольшим месяца Рубини успел дать пятнадцать представлений, поставив три оперы, а именно: «Лючию», «Пирата», «Севильского цирульника». Роль в «Лючии», как известно, была коньком Рубини. В этой роли он производил необычайно потрясающее впечатление, и государь, оценивший гениального певца, приказал пригласить его на весь предстоящий сезон 1843—1844 годов с тем, чтобы он указал нескольких других артистов. Рубини указал незабвенного баритона Тамбурини и незабвенную m-me Viardot-Garcia, сестру знаменитой Малибран. За хлопоты по подготовке хоров и оркестра к означенным пятнадцати представлениям государь приказал вручить Рубини дирижерскую палочку с огромным рубином, осыпанную бриллиантами. Впоследствии, желая вознаградить певца за то эстетическое удовольствие, которое он доставлял, император Николай дал ему мундир VIII класса[73]. Тогда же было учреждено звание солиста его величества, которое давало право носить мундир придворного ведомства, и Рубини была пожалована золотая медаль на Андреевской ленте, украшенная бриллиантами стоимостью в десять тысяч франков.

Таким образом, положено было начало возобновлению итальянской оперы в Петербурге. Из итальянских артистов были только Рубини, Тамбурини и Виардо 〈...〉

В продолжение всего сезона давали только пять опер: «Сомнамбулу», «Лючию», «Пуритане», «Севильского цирульника» и «Ромео и Юлию» Беллини[74]. Поэтому некоторые оперы даны были более чем по десять раз. Понятно, что при одном абонементе в шестьдесят представлений публика абонировалась в складчину. Мы с братом имели, например, двадцать представлений и имели кресло в десятом ряду у самого прохода за два рубля. Замечу, что тогда расстояние между рядами кресел было гораздо шире, чем теперь. Никто не мыслил претендовать, что многим пришлось слышать одну и ту же оперу по пять раз и более. Напротив, слышались сожаления от тех, кому не пришлось слышать излюбленную ими оперу большее число раз. Я посетил оперу в этот сезон более пятнадцати раз потому, что имел возможность кроме абонемента бывать в ложе у родных и не упускал бенефисов, дававшихся сверх абонемента.

В «Лючии» Рубини, как я уже сказал выше, производил такое особенно сильное впечатление, которого нельзя забыть вовек. Никто из всех последующих знаменитейших теноров, которых я всех перевидал в своей жизни, не мог и близко исполнить сцену после подписания Лючией свадебного контракта.

Поверхностные люди осуждали Рубини вообще за то, что он был будто бы плохим актером, хотя и восхитительным певцом. Я положительно отвергаю этот ошибочный взгляд. Верно то, что Рубини пренебрегал шаблонно-традиционной манерой игры итальянских актеров с их ходульною походкой и неестественной жестикуляцией; но из этого отнюдь не следует, чтобы он был плохой актер. Я приведу сцену из «Лючии». Вероятно, есть еще немало людей, которые видали Рубини в этой роли. Это та сцена, когда появляется Равенсвуд в момент подписания Лючией свадебного контракта. Рубини был так величественно страшен в этот момент, что у всякого зрителя, ожидающего его появления, пробегал, как говорится, мороз по коже. Показывается Рубини на заднем плане сцены, останавливается, сбрасывает с себя лихорадочно плащ, несколько мгновений не двигается, бросив взор на Лючию, и затем быстро подходит к ней. До этой минуты не вылетело еще из него никакого звука, но его взгляд, его движения приводили зрителя в содрогание. Рубини был так благородно хорош в этот момент, что нельзя забыть впечатлений от одних лишь его движений. Если бы Рубини не носил в себе высокоартистического элемента, если бы в нем не было

истинной искры художественности и неподдельности огня, то он не мог бы производить такого сильного впечатления, которое посейчас осталось у видевших Рубини. Но что сказать о том, когда вырывалось у Рубини слово «risponde a me»* и затем взрыв проклятия? Тогда Рубини сразу оглашал театр такой могучею нотою, потрясающею отчаянием душу слушателя, что ничего подобного мне не случалось уже в жизни более слышать.

У Рубини был чистейший теноровый тембр, что, по большей части, встречается не часто. Он нередко переходил в горловые ноты, но так искусно, что этот переход не замечался. Но когда нужно было потрясти слушателя драматическим звуком, то он брал ту же ноту грудью с необыкновенной силой.

После Рубини я переслушал всех знаменитейших теноров, но никто не мог дать и тени того впечатления, которое производил Рубини в означенной сцене: у всех они проходили вяло, бесцветно ⟨...⟩ Конечно, в последнем действии они были почти так же хороши, как и Рубини, но полной красоты оперы далеко передать не могли. Не мудрено, что после Рубини эту оперу публика перестала любить и называла ее скучной ⟨...⟩

Другим коньком Рубини в этот сезон была «Сомнамбула».

Однажды я встретил в Ницце в одном обществе серьезного музыканта, хотя музыка не составляла его профессии. До этой встречи я не был с ним знаком. Завязался в обществе разговор после виденной нами в тот вечер «Сомнамбулы» в театре, и у меня врезался в памяти отзыв этого музыканта об означенной опере.

— «Сомнамбула»,— сказал он,— представляет такой неисчерпаемый источник разнообразных мотивов, подходящих к движениям человеческой души, что современный композитор мог бы начерпать из этого источника материала на двадцать опер.

Я не помышляю навязывать никому ни моего мнения, ни мнения тех, которые совпадают с моим, но так как всякому дана способность чувствовать музыку, если только у него правильное ухо, то я, не будучи музыкантом, позволю себе, однако, высказать, что я смотрю на музыку «Сомнамбулы» как на предел творческого музыкального вдохновения. Можно, по моим понятиям, указать еще на две оперы, где тоже является полное соответствие музыки

* «мне отвечает» *(ит.)*.

изображаемым ею положениям и характерам. Я назвал бы «Аиду» Верди и «Фауста» Гуно. В «Аиде» композитор нашел такое сочетание звуков, что ухо слышит музыку не европейскую, а как бы в самом деле музыку древних народов. В «Фаусте» композитор нашел для Мефистофеля решительно музыку дьявольскую, а не человеческую; в третьем действии лиризм музыки доходит до своего предела; в четвертом действии ухо положительно слышит задушевные угрызения совести Маргариты, и, наконец, в последнем действии невозможно выразить лучше восторженную молитву уже помешанной или душевно страдающей девушки. Очевидно, композитор вложил в свое произведение весь свой ум и всю свою душу. Он создал музыкальную поэму совершенно равносильную, если еще не более выразительную, чем сама поэма Гете.

«Сомнамбула» была также исключительным коньком для m-me Viardot. Ее сцена с матерью, дуэт с женихом в первом действии, отчаяние в дуэте второго действия, грусть и ее молитва — все это услаждало или разрывало душу слушателя. Но когда Алина увидала кольцо на своем пальце и увидала жениха, m-me Viardot достигала тут такого поглощающего восторга, что вырывающиеся у нее в этой арии звуки не могут быть забыты вовеки. Ни одна из последующих знаменитостей и великих певиц не могли дать и подобия того восторга, который охватывал в эти минуты m-me Viardot.

Правда, слышавшие некогда Малибран, сестру m-me Viardot, говорили, что Малибран была в означенной арии еще лучше Виардо. Позволительно, однако, в том усомниться, потому что трудно представить себе что-либо лучше, тем более что надо в таком случае допустить, что Малибран, будучи очень высоким сопрано, имела грудные контральтовые ноты еще более звучные и чистые, чем у Виардо.

Виардо обладала неслыханным диапазоном: она пела и в ролях для сопрано, и в ролях для контральто. В последней арии восторга в «Сомнамбуле» она с высокой ноты сопрано внезапно переходила в весьма низкую ноту контральто, ноту, которая являлась у ней и могуча и необыкновенно звучна. Кто слыхал эту арию, исполнявшуюся Виардо, тому казалось, что подобное исполнение выше человеческих средств. M-me Viardot, будучи могучей драматической артисткой до глубины души и до последнего волоска, имела в высшей степени обработанный голос. В оные времена артистки не подготовлялись исключи-

тельно или для драматического, или для колоратурного пения. Оперы требовали и того и другого условия. M-me Viardot исполняла с равным успехом партии драматические и фиоритурные. Например, она восхитительно пела Розину в «Севильском цирульнике». В этой опере она пустила в ход романс «Соловей»[75], который через двадцать пять лет пела Патти. Трудно сказать, которая из этих исполнительниц придавала более фиоритурного блеска этому романсу ⟨...⟩

Теперь обращусь к Тамбурини. По искусству, по тембру голоса, его выработке, звучности и бархатности я не встречал уже после равносильного Тамбурини баритона. Все, между прочим, признавали за ним титул всеевропейского, неподражаемого Фигаро. В упомянутый сезон у Тамбурини был еще конек: «Пуритане», где он, положительно, сосредоточивал на себе внимание во втором действии. В этот сезон роль баса исполнял Петров, меняясь с Артемовским, и они самостоятельно пожинали лавры в известном дуэте с Тамбурини. Петров пел тоже с большим успехом в роли Дон-Базилио в «Севильском цирульнике». Мне всегда казалось странным, что все последующие знаменитые баритоны не могли придать того блестящего колорита, который придавал во 2-м действии Тамбурини своему пению, и оно проходило бесцветно, тогда как при Тамбурини театр стонал в этом действии от восторга. Тамбурини оставался в Петербурге многие годы и всегда и везде был превосходен, в особенности он был хорош в «Дон-Жуане» ⟨...⟩

Итак, несмотря на то, что в сезон 1843—1844 годов было всего три артиста, этот сезон я называю незабвенным потому, что в нем участвовал гений пения Рубини с величайшей артисткой Виардо и великим артистом Тамбурини.

В моей памяти осталось живо последнее представление означенного сезона, как будто бы я еще вчера был его свидетелем. Это последнее представление было заключительным представлением артистической карьеры Рубини, оставившего после того сцену еще в полном ореоле своей славы.

Означенное представление было утром, в прощальный день масленицы. Для того чтобы удовлетворить публику и дать каждому артисту блеснуть на прощанье во всю свою силу, назначен был спектакль сборный из выдающихся сцен трех драматических опер: из «Лючии» — сцена подписания контракта; из «Сомнамбулы» — дуэт финала 2-го

действия и молитва с окончательной арией; из «Пуритан» — упомянутая сцена 2-го действия.

Надо сказать, что в те времена, по установленным правилам формы, военные в воскресный день должны были быть весь день в мундирах и даже в шарфах до окончания развода. Это обстоятельство придало упомянутому спектаклю особую торжественность. Нечего и говорить, что публика от совокупности быстро сменявшихся сильных впечатлений стонала от восторга. Но когда Рубини и Виардо пропели в «Сомнамбуле» дуэт и по желанию публики повторили его, театр потребовал спеть дуэт в третий раз. Конечно, все чувствовали, что это, можно сказать, требование бесчеловечное, но в то же время всякому хотелось еще раз восприять неописуемое наслаждение. После некоторого колебания и двух-трех слов переговора с m-me Viardot Рубини дал знак оркестру снова начинать. В эту минуту театр моментально стих, и все, сидевшие в первом ряду кресел, поднялись на ноги. Надо заметить, что в этот сезон первый ряд был исключительно абонирован генералитетом и высшими сановниками, и там не появлялись ни обер-, ни штаб-офицеры и часто преобладали генерал-адъютантские эксельбанты. Вслед за первым рядом поднялся весь партер, затем и бельэтаж, наполненный дамами, а за ним и вся публика в ложах. Этот необычайный порыв публики был порывом «spontané»* и тем произвел глубочайшее впечатление на артистов. Все свершилось не более как в одну минуту; в театре установилась тишина. Рубини и Виардо запели, но ни единый человек не шевельнулся, чтобы сесть, и таким образом вся публика прослушала весь длинный дуэт стоя. Когда же он кончился, то понятно уже — что сделалось в театре. Свершился какой-то всеобщий праздник как в публике, так и между артистами. В публике многие плакали, от наслаждения и восторга, на сцене артисты плакали тоже от умиления, оценки их гения и таланта и необычайной чести, им отданной. Главное то, что такое торжество совершилось без всяких предварительных уговоров, по единодушному, индивидуальному побуждению. Вот истинное торжество гениев!

Вызовам не было конца; публика не расходилась; потушили лампы; но партер был все-таки почти полон. Наконец вбежал какой-то офицер и крикнул: «Господа, к подъезду!» Все бросились туда. День был ясный, стоял

---

* «стихийно» *(фр.)*.

мороз градусов в двадцать. На площадке около подъезда собралось не менее тысячи человек и больше половины офицеров, носивших тогда треугольные шляпы с перьями. Несмотря на мороз, публика ожидала выхода артистов. У подъезда стоял низенький возок на полозьях для m-me Viardot. Рубини удалось ускользнуть через другой подъезд, а m-me Viardot приходилось выйти через подъезд, где стоял ее экипаж. Несколько раз выходили разные лица, прося публику разойтись, потому что m-me Viardot очень устала и желала бы ехать скорее, без задержки домой, но все было тщетно. О вмешательстве полиции не могло быть и речи, тем более что большинство публики были офицеры. Прошло более получаса, прежде нежели показалась m-me Viardot. Усаживая ее в возок, кто-то успел спустить стекла дверец, и m-me Viardot стала раздавать цветы. Мне досталась фиалка, которую я хранил у себя более двадцати лет. Наконец, возок тронулся; на запятках оказались два студента в треуголках, а третий вскочил на козлы. Затем кто-то крикнул: «Господа, едем на квартиру»,— и масса публики поехала туда и успела подъехать минут за десять до приезда возка. Мы расположились по лестнице с обеих сторон на ступенях вплоть до третьего этажа. Публика состояла преимущественно из офицеров. Когда приехала m-me Viardot, то ей пришлось подниматься сквозь строй офицеров, растянув обе руки направо и налево, которые и целовали последовательно стоящие по лестнице. Лет тридцать спустя, когда я стал посещать m-me Viardot в Париже, я напомнил ей об означенном дне, и она вспомнила, тоже не без волнения, об исключительном торжестве своем и Рубини 〈...〉

Надо сказать, что я уже давно мечтал о поездке за границу с целью ознакомиться с европейскими железными дорогами вообще. Но главным образом меня интересовало начертание линии перехода через Альпы недавно устроенной уже дороги, а равно и изучение разных систем паровозов, которые были в то время жгучим вопросом.

Я решился просить у главноуправляющего путями сообщения Чевкина отпуск за границу, тем более что четырнадцать лет не пользовался вообще отпусками и что два доктора: известный Здекауер и Мейнгард — советовали провести некоторое время в теплом климате, ибо у меня, время от времени, показывалась кровь горлом 〈...〉

В апреле 1858 года я с женою выехал за границу и отправился прямо в Париж, где находился со своим семей-

ством мой товарищ по Институту, Кусаков. Кроме того, я хотел посоветоваться с докторами, не столько для себя, сколько для жены. Доктора посоветовали ей ехать на лето в Эмс, и мы отправились туда, куда вслед за тем перевезены были из Петербурга и наши дети. Водворив в Эмсе мою семью, я поехал в Брюссель и увидел, что там мне придется провести около полугода, и потому вскоре жена и дети переехали ко мне.

Оставляя пока в стороне изложение хода моих занятий за границей для исполнения моего поручения и мое пребывание в Эмсе, я должен остановиться на одном обстоятельстве, игравшем роль в моей жизни.

По вступлении императора Александра II на престол во всех слоях общества упорно держалось мнение, что покойный император завещал, при своей смерти, своему державному преемнику исполнить то, что он, по несозревшим обстоятельствам, не успел совершить, несмотря на свое горячее желание, во время своего царствования, то есть завещал уничтожить крепостное состояние помещичьих крестьян ‹...›

Конечно, я так же, как и тысячи людей, лихорадочно ожидал реформы и возымел намерение написать проект освобождения крестьян.

Я написал этот проект еще в 1856 году и читал его многим среди литературного кружка, в котором вращался. Понятно, что о предании его гласности нельзя было и думать в то время. Но в 1857 году картина меняется. Верховная власть высказала свое намерение, вследствие чего были образованы губернские комитеты и центральный комитет в Петербурге по улучшению быта помещичьих крестьян[76]. Не менее того мой проект не мог пройти чрез цензуру.

Пользуясь моим пребыванием за границей, я задумал обратиться к русской типографии, находившейся в Лондоне. Когда я водворился в Брюсселе и начертал себе путь моих там занятий, я решился ехать на несколько дней в Лондон, с намерением отдать мой проект освобождения крестьян в печать и сделать его гласным.

Приехав в Лондон[77], я написал Герцену письмо следующего содержания:

«Милостивый государь Александр Иванович. Я, Панаев, двоюродный брат известного вам Ивана Ивановича Панаева, составил проект освобождения крестьян, который желаю напечатать в вашей типографии, на что и прошу вашего разрешения».

Я не был знаком с Герценом и видел его только один раз у Ивана Ивановича Панаева в 1842 году, но с ним не разговаривал, и потому Герцен не имел обо мне никакого представления.

В тот же день я получил от Герцена ответ, которым он назначил на завтра утренний час для приема и просил привезти мою рукопись.

Когда я приехал к нему, он был в кабинете один. Осведомившись о моем социальном положении и узнав, что я автор статьи «Община», напечатанной недавно в «Современнике», он сказал:

— Я вполне разделяю все взгляды, изложенные в вашей статье; очевидно, что вы пристально изучили русский народный быт; теперь потрудитесь прочесть мне что-нибудь из вашего проекта, чтобы я мог судить об его направлении.

Проект мой состоял из краткого предисловия и был разделен на три главы, озаглавленные: «Цель», «Путь» и «Средства».

Я прочел предисловие и остановился; тогда Герцен попросил прочесть первую главу. Я прочел и опять остановился.

— Я прошу вас прочесть и вторую главу,— сказал он.

Я прочел и в третий раз остановился.

— Нет, уже читайте до конца,— сказал он.

Все чтение рукописи заняло пять часов.

Когда я кончил, Герцен немедленно позвонил, и явился человек.

— Iule, попросите Огарева прийти ко мне теперь же,— сказал Герцен.

Пришел Огарев.

— Позволь,— говорил он, обращаясь к Огареву,— познакомить тебя с автором «Общины», так нам понравившейся[78], а теперь он привез нам другой свой труд — проект освобождения крестьян. Я выслушал его весь до конца. Вопрос исчерпан вполне Панаевым, и нам придется сложить перья по вопросу об освобождении крестьян. Я просил бы тебя распорядиться, чтобы неотлагательно было приступлено к набору, и так как проект весьма серьезен, то его надо напечатать отдельной книжкой, а не в «Колоколе».

Когда я собрался уходить и хотел взять рукопись, Герцен остановил меня со словами:

— Я прошу вас оставить ее, чтобы она сегодня же отправилась в типографию.

Тогда я заявил, что должен завтра возвратиться в Брюссель, и просил прислать мне корректуру.

— Мы затрудняемся в шрифте,— сказал Огарев,— и не можем набрать весь проект разом, а если высылать вам частями, то на это пропадет много времени. Корректуру мы продержим сами и вышлем вам уже готовую книжку.

Я рассказал означенный эпизод моей первой встречи с Герценом потому, что он очень рельефно характеризует человека.

В то время Герцен был, неоспоримо, огромная политическая величина, блестящий и выдающийся литературный талант, основатель русского книгопечатания за границей, полный хозяин всех печатаемых им изданий, человек с большими средствами и вполне ни от чего, ни от кого не зависимый. Его вниманием дорожили, в нем, можно сказать, заискивали; сотни лиц из всех сфер общества, и преимущественно из высших, посещали его в Лондоне, и он был поглощен трудами по своим изданиям.

Сколькими, по-видимому, атрибутами обладал Герцен, чтобы разыгрывать роль политического и литературного генерала, чтобы кичиться своим положением, окружить себя стенами недоступности. Ничего подобного в Герцене не проявлялось, он не терпел ничего ненатурального, искусственного и ходульного.

Такого горячего, сердечного приема моему проекту я не ожидал. Тут высказалось самое добросовестное отношение к сущности дела, отсутствие предвзятых мыслей и узких доктрин и отстранение личного самолюбия, так как мой проект далеко не подходил к тем взглядам, которые излагались по крестьянскому вопросу в «Колоколе».

Оставив рукопись моего проекта у Герцена, я через день уехал в Брюссель. Вскоре я получил из Лондона «V книжку голосов из России», которая и заключала единственно мой проект освобождения крестьян[79].

Несколько времени спустя появляется в № 267 журнала «Le Nord», издававшегося в Брюсселе и считавшегося официальным органом русского правительства, проект банкиров Френкеля и Гомберга об освобождении крестьян путем выкупа, то есть проект, подобный моему; причем «Le Nord» заявлял, что правительство склоняется на этот проект[80].

Проект этот с виду представлялся соблазнительным, но заключал в себе ловушку в том, что отдавал все крестьянское помещичье население в откуп европейским банкирам.

Тогда я написал, на французском языке, критический разбор этого пресловутого проекта, приложив к разбору мой проект в сокращенном виде, и издал его отдельной брошюрой в Брюсселе*.

Эту брошюру я послал государю и нескольким высокопоставленным лицам. Она была пропущена иностранной цензурой в России, а потому скоро разошлась, и издатель испросил у меня разрешения на второе издание.

В то же время в № 29 «Колокола» появился «Обвинительный акт» на Герцена, подписанный буквою Ч[81], вызванный отзывом Герцена о доктринерах, напечатанным в одном из предшествующих номеров «Колокола», а именно в № 27[82].

Обвинительный акт был написан очень умно, во многом был справедлив, но был написан тоном издевательства над деятельностью Герцена. Находя, что автор «Обвинительного акта» не понимал роли и значения изданий Герцена, я написал возражение и послал для печати в Лондон[83].

Раз я коснулся Герцена ⟨...⟩, расскажу о дальнейших моих отношениях к этой личности.

Дело, которым я занимался в Брюсселе, подходило к концу, и мне надо было ехать в Англию. В это время приехал мой товарищ Кусаков с женою и дочерью. Узнав, что я собираюсь ехать в Лондон, он пожелал ехать туда же вместе со мною. Так как я рассчитывал провести в Англии около двух месяцев, то я поехал тоже с женою и с старшею дочерью, лет восьми, другие же дети остались в Брюсселе ⟨...⟩

Между тем я познакомил мою жену с семейством Герцена и Огарева, которые жили вместе. У Герцена были тогда две дочери, а сын находился в Италии. Семейство Огарева состояло из его жены и одной девочки. Я познакомил с ними также и семейство Кусаковых.

Надо сказать, что Кусаков был превосходный певец, обладавший высоким баритоном, отличный музыкант и человек особенно веселый и живой. Он пел все: и итальянские арии, и французские романсы, и главным образом восхитительно пел русские песни со всеми переливами и разнохарактерными оттенками, присущими русской песне. Диапазон его голоса был необыкновенно обширен, и он брал иногда известную ноту октавой выше и тем значительно украшал песню ⟨...⟩

* Emancipation des serfs en Russie. Examen du projet financier de M. M. Frenkel et Homberg, banguiers, suivi d'un autre projet. Bruxelles. Muquart, éditeur 1859. *(Примеч. А. В. Панаева.)*

Песня «Не одна в поле дороженька»[84], положенная кем-то на ноты, не представляет и подобия того, как ее пел Кусаков.

Мы часто бывали у Герцена, много раз обедали у него, и, само собою разумеется, Кусаков не замедлил обнаружить свой талант. Когда он запел русские песни, то Герцен, Огарев и жена его пришли в неописанный восторг[85]. Вспоминались им русская удаль, все родное, русский добродушный мужичок, и слезы появились на их глазах. Герцен смотрел на русского мужичка как на своего родного брата и находил, что тип, например, ярославского или соседних губерний мужичка есть самый красивый тип из всех европейских народностей ⟨...⟩

И вот всякий раз, как приезжал Кусаков, вся компания собиралась около рояля, и образовывался хор, и так как я пел тоже русские песни, имея довольно сильный голос, то исполнял в этом случае роль запевалы ⟨...⟩

Между тем мне нужно было часто уезжать из Лондона для ознакомления себя с ходом административных порядков, с паровозами разных типов и с механическими заведениями ⟨...⟩

В промежуток этого времени, не забывая главного, задушевного моего вопроса, то есть вопроса об освобождении крестьян, я задумал написать еще мой проект в сокращенном виде и издать его в такой форме, чтобы коренные основы, изложенные по пунктам, выделялись крупным шрифтом, а пояснения к каждому пункту были бы напечатаны мелким шрифтом, так чтобы весь проект мог поместиться на четырех страницах — in guarto*. Герцен сейчас же напечатал его и издал отдельным листком[86].

Этот проект я позволил себе послать на имя государя, при моем письме, под которым, однако, не выставил своего имени.

Вот это письмо:

Париж, май, 1859 г.

«Государь!

Долг совести побуждает меня послать тебе прилагаемый при сем, попавшийся мне в руки проект освобождения крестьян.— Этот проект не оставляет ничего лучшего желать.

Государь! Если ты решишь вопрос так, чтобы освободить помещичьих крестьян разом, целыми общинами, со

* в четвертую долю листа *(лат.)*.

всею землею, которою они пользуются, и совершишь это освобождение посредством выкупа правительством, тогда ты разрешишь великий вопрос о пролетариате, не нарушая ничьих интересов,— вопрос, который не могли еще решить ни великие философы, ни великие ученые, ни великие государственные люди Западной Европы.

Вся сущность решения этого вопроса состоит в том, чтобы уравнять права крестьян помещичьих с правами крестьян государственных и сохранить то русское общинное начало, которое существует во всем сельском сословии, то начало, которое покойный император, твой отец, упрочивал между государственными крестьянами всеми мерами 〈...〉».

Когда я вернулся в Россию, то узнал, что как этот проект, так и предшествующие были препровождены по высочайшему повелению в Центральный Комитет по крестьянскому делу[87]. Лет пятнадцать тому назад я издал книгу, под заглавием «Общинное землевладение и крестьянский вопрос»[88], где и поместил вышеозначенное, а равно и письмо к Ростовцеву, имея в то время неоспоримые доказательства того, что я был автор этих писем.

У Герцена по воскресеньям собирались разные интересные личности из иностранцев, а также некоторые русские, приезжавшие из России. Всякий раз завязывались споры, которые возбуждал сам Герцен, любя не только вступать в споры, но и быть свидетелем спора других, подобно тому как многие люди любят всякий спорт. В философских и политических спорах Герцен отличался меткостью замечаний, находчивостью, необыкновенным остроумием, особенным жаром при защите своего тезиса и большою начитанностью. Нередко, смотря по характеру присутствовавшей аудитории, затрагивались и вопросы экономические и финансовые, но Герцен сам признавал себя не совсем компетентным в этих вопросах и живого участия в них не принимал 〈...〉

Окончивши мои занятия в Лондоне, я отправился в Париж.

Года через два, в 1861 году, летом, мне пришлось опять быть в Англии. Герцена не было в Лондоне; он проводил лето на острове Жернзей. Но во время его приезда в Лондон я был у него два раза[89] и заметил еще тогда некоторую перемену в его настроении.

Затем, в 1865 году, я вздумал поехать на Бернский конгресс, где были, между прочим, поставлены вопросы, постоянно меня интересовавшие, а именно: о сельской об-

щине и о системах построек и эксплоатации железных дорог.

Пользуясь этой поездкой, я заехал в Женеву, где проживал в это время Герцен, переехавший из Англии в Швейцарию, в которой он еще прежде принял подданство[90]. Я нашел его изменившимся и в очень грустном настроении духа. Однажды я пришел к нему довольно рано, и он предложил мне сделать с ним прогулку пешком за город. Мы отправились вдоль Женевского озера по восточной его стороне. Долго мы шли почти молча, порядком устали и зашли в какую-то auberge выпить пива. Утоливши несколько жажду, Герцен, до того времени молчавший, начал разговор. Будучи от природы человек общительный, прямой и откровенный, он свернул свой разговор на исповедь.

Он рассказал много о Бакунине, о том, как он считал его рыцарем, но теперь разочаровался и окончательно с ним разошелся. Затем он стал рассказывать о разных личностях, наезжающих к нему из России, и которые в конце концов просят нахальным образом денег, опираясь на то, что они, бегущие от российского режима, ищут помощи у него, как у представителя протеста этому режиму.

— Давал! давал! да наконец и устал,— сказал он.— Ведь не Крез же я 〈...〉 Лет шесть-семь тому назад меня посещали более или менее люди серьезные. Положим, люди, отрицающие существующий политический строй, положим, скептики в религии; но люди, искренно любящие свою родину. Ныне же в приезжающей сюда молодежи я вижу какое-то особое настроение, малоутешительное. Эти господа, именующие себя нигилистами, характеризуются отрицанием совести, отрицанием нравственных начал, преобладанием корыстных целей, исключительным эгоизмом, отсутствием стремления к труду и каким-либо чистым идеалам. Неужели же таков общий характер нарастающего поколения?[91] 〈...〉

Из моих встреч с ним я вынес следующее впечатление: он был человек очень доброго сердца, деликатный, весьма отзывчивый, блестяще остроумный, на ходули не становящийся, правдивый, откровенный, лихорадочным самолюбием не страдавший, отличающийся терпимостью в мнениях, несравненный собеседник, до крайности остроумный. Он имел наружность красивую, приятную, внушительную, обнаруживающую интеллигентность и могущество. 〈...〉

РЕЧЬ В. А. ПАНАЕВА НА ЮБИЛЕЙНОМ ОБЕДЕ В ЧЕСТЬ Д. В. ГРИГОРОВИЧА

31 октября 1893 года

Господа! я нахожу нужным обратить ваше внимание на некоторую неопределенность взглядов, которая существует в известном круге общества относительно той роли, какая выпала на долю Дмитрия Васильевича в истории освобождения крестьян.

Я знаю Дмитрия Васильевича сорок семь лет, и в моей памяти совершенно свежи те впечатления, которые производили в обществе его произведения из крестьянского быта.

Тогда все поразились небывалым до сих пор родом литературы, им избранным.

Одни — и это было большинство — относились к произведениям Дмитрия Васильевича чрезвычайно симпатично.

Другие — составлявшие меньшинство — среди которых встречались и литераторы,— находили, что общество не может интересоваться литературой, рисующей жизнь простолюдинов.

Но Дмитрий Васильевич упорно шел по пути, им начертанному и им первым проложенному.

Общество пристально читало его произведения, и надо заметить, что они особенно нравились женщинам.

А кто же, господа, может сомневаться в том, что женщина вообще играет большую роль в умственном нашем развитии.

— Tiens, tiens! Mais c'est bean; nous ne savions pas du tout, que ces pauvres gens-la éprouvent les mêmes sentiments que nous autres*.

---

* Послушайте, послушайте! Как это хорошо; мы бы совсем не знали, испытывают ли эти бедные люди те же чувства, что и мы *(фр.)*.

Такие-то или им подобные отзывы мы постоянно слышали от дам.

И вот мы, строгие судьи, удивились, что произведения Дмитрия Васильевича могут нравиться женщинам, и стали глядеть на эти произведения более внимательно.

Конечно, интеллигентный класс общества имел некоторые смутные понятия о быте простого народа, но о психической стороне их жизни решительно никто не имел никакого представления.

И вот Дмитрий Васильевич рисует перед нами не маленькие эпизодические пейзажи, а огромные картины, в которых мы увидали, что между простолюдинами совершаются романы и драмы, совершенно подобные тем, какие совершаются и в образованной среде.

Коротко говоря, общество знакомилось тогда впервые с бытом крестьян не только с материальной стороны, но, главным образом, с духовной их жизнью.

Я упираю именно на этот характер произведений Дмитрия Васильевича. Конечно, каждый более или менее внимательный наблюдатель мог бы рисовать картины материальных условий быта крестьян, но Григорович не остановился на этом: он пошел вглубь, он крепко полюбил простолюдина и развернул перед нами его душу. Честь ему за это и слава!

Произведения его стали читаться с жадностью, и едва ли находился в то время хотя один мало-мальски образованный человек, который не знакомился с ними ⟨...⟩

При всем моем глубоком уважении к величайшему нашему художнику, покойному Ивану Сергеевичу Тургеневу, чувство справедливости требует признать за Дмитрием Васильевичем первенство,— как в зарождении в нем идеи, так и в серьезном выполнении задачи ознакомления общества с духовным и материальным бытом крестьян путем верных и сердечно-прочувствованных беллетристических творений.

Пусть беспристрастный наблюдатель проследит ход и характер литературы тогдашних времен, и он не будет в состоянии отвергнуть факты и выведенного из них мною определенного взгляда.

Итак, пью за здоровье смелого и упорного пионера в раскрытии обществу психической жизни нашего простолюдина.

КОММЕНТАРИИ

Д. В. ГРИГОРОВИЧ. «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

«Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича печатаются по тексту последнего прижизненного издания: Григорович Д. В. Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 12. СПб., 1896, с. 209—341.

Впервые опубликованы в журнале «Русская мысль», 1892, № 12, с. 1—48; 1893, № 1, с. 1—41; № 2, с. 49—82, с датой «Апрель — июль 1892».

Изменения, внесенные в текст издания 1896 года, по сравнению с текстом, опубликованным в «Русской мысли», незначительны.

Отдельным изданием выходили: Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Вводная статья, редакция и примечания В. Л. Комаровича. Л., Academia, 1928, и в серии «Литературные мемуары»: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Подготовка текста, вступительная статья и примечания В. А. Путинцева. М., Гослитиздат, 1961.

Черновой автограф «Литературных воспоминаний» хранится в ЦГАЛИ СССР.

Д. В. Григорович работал над «Литературными воспоминаниями» в конце 1880-х — начале 1890-х годов. О самом ходе работы известно немного, главным образом из писем Григоровича к А. С. Суворину (см. вступительную статью) и к П. И. Вейнбергу. Одним из важных факторов был для Григоровича, несомненно, выход в свет воспоминаний его современников, как друзей, так и недругов: А. Я. Панаевой (1889), А. А. Фета (1890), Я. П. Полонского (1884, 1890—1891). Григорович писал П. И. Вейнбергу: «Задали же вы мне задачу: писать воспоминания. Я принялся за них в апреле и до сих пор не вижу конца, не могу выпутаться, бьюсь в них, как муха в паутине. Оставить не

хочется, благо уже много написано. Пока говоришь о себе с полной откровенностью, все идет ладно: откровенность не задерживается мелочными соображениями; другое дело, как с тою же откровенностью хочешь говорить о других. Надо быть трижды закаленным в бесстыдстве и грубости подобно г-же Головачевой ⟨Панаевой⟩, чтобы ломить сплеча все, что взбредет в голову, и не стесняться ложью и клеветой, когда память отказывается давать материал...

Не хочется опять держаться канительной методы Фета и Полонского занимать читателя рассказами о том, какие прекрасные люди были родственники моей жены, или подробно описывать фигуры преподавателей, которые, не быв интересными при жизни, окончательно утратили интерес после того, как умерли 60 лет тому назад. Я встречался со столькими людьми, что поневоле приходится иногда касаться живых. Тут как быть? Трудная задача,— куда труднее, чем писать роман,— даром что здесь вымысел, а там матерьял готов — садись только да записывай» (см.: Ученые записки Ивановского пединститута, т. 38, 1967, с. 85—86). Публикация «Литературных воспоминаний» в свою очередь привела к появлению в печати мемуарных материалов, дополняющих книгу Григоровича. Так, П. И. Бартенев, печатая в «Русском архиве» (1893, № 2) отрывок из дневника Е. А. Штакеншнейдер, писал в примечании: «Нижеследующая выписка служит дополнением к «Воспоминаниям» Д. В. Григоровича, появившимся в «Русской мысли». В то же время не осталось незамеченным стремление Григоровича избежать слишком определенных оценок, которые четко выявили бы его собственную позицию в идейно-эстетической борьбе эпохи. В наибольшей мере упрек этот может быть отнесен к освещению ситуации, сложившейся в редакции журнала «Современник» к концу 1850-х годов. О Чернышевском мемуарист вообще умолчал, а об остальных «говорит довольно уклончиво, как бы не решаясь представить о них на общественный суд свое откровенное мнение» (Книжки Недели, 1893, кн. 3, с. 248). Недоумение вызвал положительный отзыв об эксплуататоре Белинского, издателе «Отечественных записок» А. А. Краевском и отрицательный о И. А. Гончарове (там же, с. 248—250). Следует добавить, однако, что «уклончивость» мемуариста имела и хорошую сторону: сравнительную редкость явно несправедливых, полемически заостренных оценок. В целом «Литературные воспоминания» с момента их первой публикации и до сего дня остаются в числе известнейших произведений мемуарной литературы. Они широко цитируются, и к ним обращаются во всех тех случаях, когда требуется восстановить живую и детальную картину прошлого.

I

[1] Сидония Петровна Григорович (урожд. Вармо) в Россию была привезена в 1803 г., четырех лет. Вышла замуж за В. И. Григоровича в 1820 г.

[2] В год смерти отца Д. В. Григоровичу было 8 лет. О В. И. Григоровиче см.: Соллогуб В. А. Воспоминания. М.— Л., 1931, с. 232—233.

[3] Мария Петровна Ле-Дантю (урожд. Вабль, Мари-Сесиль) в первом браке была за Вармо, во втором за Ле-Дантю. Приехала в Россию в 1803 г. Служила гувернанткой в семье генерала П. Н. Ивашева. Одна из дочерей Марии Петровны — Камилла Петровна Ле-Дантю в 1831 году становится женой декабриста В. П. Ивашева. О М. П. Ле-Дантю см.: Юнкер Г. Детские годы Д. В. Григоровича по архиву Ивашевых.— Голос минувшего, 1919, № 1-4, с. 86. О К. П. Ле-Дантю-Ивашевой см.: Герцен А. И. Былое и думы, ч. I, гл. III, а также: Буланова О. К. Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья (из семейного архива). М., 1933; и Павлюченко Э. Л. В добровольном изгнании. М., 1976, с. 68—70.

[4] «Dame blanche» — опера французского композитора Ф.-А. Буальдье «La dame blanche» («Белая дама», 1825).

[5] Документы: письма, воспоминания людей, знавших М. П. Ле-Дантю, не подтверждают характеристики, данной ей Д. В. Григоровичем. См.: Юнкер Г. Указ. соч., с. 89.

[6] О Д. С. Кроткове см.: «Воспоминания» В. А. Соллогуба, с. 236—239. Поместье Кроткова соседствовало с селом Никольским, принадлежавшим Соллогубам.

[7] Продажа крепостных без их семей запрещалась указами 1833 и 1841 г.

[8] Речь идет о сборнике рассказов «L'ami des enfants» («Друг детей», 1784) А. Беркена. Сочинения Беркена были популярнейшим детским чтением, хотя отличались сентиментальностью, даже слащавостью. Белинский неоднократно высказывался о книгах Беркена чрезвычайно резко.

Сочинение И.-Д. Виса «Швейцарский Робинзон» («Der schweizerische Robinson», 1812) представляет собой подражание знаменитому роману Д. Дефо. Об уточнении имени автора сочинения см.: Долинин А. Кто автор «Швейцарского Робинзона»? (Вопросы литературы, 1984, № 10, с. 281—282).

[9] Поездка в Москву состоялась не осенью, как пишет Григорович, а зимой. Выехали из Дулебина 11 декабря 1832 года. Мемуаристу было тогда 10 лет, сопровождала его только М. П. Ле-Дантю. В Москве остановились у ее дочери Луизы Бекерс. См.: Юнкер Г. Указ. соч., с. 93—94.

[10] Это был Еним. Григорович жил у него с 25 февраля 1833 г. Тогда же начал посещать гимназию.

[11] Григорович был отчислен из гимназии 23 апреля 1833 г.

[12] С. П. Григорович приехала в Москву только в июне 1833 года, когда Григорович уже был помещен в пансион Монигетти. См.: Юнкер Г. Указ. соч., с. 94.

[13] Речь идет о русском консуле в Пекине П. С. Попове, а не о товарище по пансиону С. И. Попове.

[14] «Фрейшюц» («Волшебный стрелок») — опера немецкого композитора К.-М. Вебера (1820).

[15] Григорович с матерью приехали в Петербург в конце января 1836 г.

[16] Пожар балагана Лемана (а не Легата) произошел 2 февраля 1836 г. (Северная пчела, 1836, № 28, 4 февраля).

[17] Григорович был зачислен в Главное инженерное училище 10 ноября 1836 г.; фактически приступил к занятиям 10 января 1837 г.

II

[18] Характеристику быта и нравов, царивших в Главном инженерном училище в годы учения там Григоровича, см.: Савельев А. Памяти Д. В. Григоровича (Пребывание его в Главном инженерном училище).— Русская старина, 1900, № 8, с. 327—336.

[19] Стихотворение В. А. Жуковского «Светлана» (1813).

[20] Обед в честь Ф. Ф. Радецкого состоялся 19 октября 1878 г. Кроме Григоровича, выступили и другие бывшие воспитанники Главного инженерного училища. Среди них И. М. Сеченов и Ф. М. Достоевский. Речь Григоровича была опубликована (Голос, 1878, № 293).

[21] Григорович путает А. И. Савельева с П. С. Савельевым, секретарем Нумизматическо-археологического общества и редактором издаваемых этим обществом «Записок», «Трудов» и «Известий».

[22] Павильон «Озерки» был построен по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера в 1845—1848 гг., то есть после выхода Григоровича из Главного инженерного училища.

[23] «Жизнь за царя» — опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (1836).

[24] Имеется в виду бронзовая статуя, изображающая одного из библейских персонажей — Самсона, раздирающего пасть льву.

III

[25] Григорович не совсем точен: М. М. Достоевский не был принят в Главное инженерное училище из-за плохого здоровья; в Ревель же он уехал, не будучи офицером.

[26] Речь идет о журнале «Время», который М. М. и Ф. М. Достоевские издавали в 1861—1863 гг.; журнал «Эпоха» издавался в 1864—1865 гг. фактически одним Ф. М. Достоевским, так как М. М. Достоевский умер в июне 1864 г.

[27] Ф. М. Достоевский поступил в Главное инженерное училище 16 января 1838 г.

[28] В год кончины Пушкина Ф. М. Достоевский еще не был в Главном инженерном училище (см. примеч. 27).

[29] Роман Э.-Т.-А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1820—1822).

[30] В действительности автор книги, вышедшей в 1822 г., Т. де Куинси. Ошибка Григоровича вызвана тем, что русский перевод книги (1834) был опубликован под названием: «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум», сочинение Матюрина, автора Мельмота». Имелся в виду роман Ч.-Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820).

[31] Роман В. Скотта «Гай Мэннеринг, или Астролог» (1815). *«Озеро Онтарио»* — роман Ф. Купера «Следопыт, или Озеро-море» (1836).

[32] Поэма А.-М.-Л. Ламартина «Жоселен» (1836).

[33] Краткие очерки творчества Рафаэля, Микеланджело, Рубенса и других европейских живописцев даны Н. М. Карамзиным в «Письмах русского путешественника» («Дрезден. 12 июля»).

[34] Об отношениях Некрасова к семье Фермор см.: Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Некрасова, т. 1. М.— Л., 1947, с. 192—193.

[35] «Мечты и звуки» (1840) — первый стихотворный сборник Некрасова, подписанный инициалами «Н. Н.».

[36] В 1839—1842 гг. Некрасов проживал в Петербурге по адресам: Лиговский канал, № 28; Свечной переулок, № 17 и Разъезжая улица, № 25. См.: Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957, с. 48, 51, а также: Вацуро В. Э. Некрасов и К. А. Данненберг (Русская литература, 1976, с. 137).

[37] Рассказ Некрасова «Без вести пропавший пиита» был впервые опубликован в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 9, под псевдонимом «Н. Перепельский».

[38] «Шила в мешке не утаишь,— девушки под замком не удержишь» — водевиль Некрасова, впервые поставленный на сцене Александринского театра 24 апреля 1841 г. Тогда же был опубликован в «Репертуаре русского театра», т. 1, № 4, с подписью «Н. Перепельский». «Материнское благословение, или Бедность и честь» — переделка Некрасовым пьесы французских драматургов А.-Ф. Деннери и Г. Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон» (1841). Поставлена на сцене Александринского театра 19 октября 1842 г.

[39] С. П. Григорович жила в Петербурге с 1836 г., служила классной дамой в Смольном институте, позже была компаньонкой у С. М. Дестрем. Из ложного стыда Григорович всегда скрывал эти факты.

[40] Великий князь Михаил Павлович.

[41] Григорович оставил Главное инженерное училище в конце 1840 г.

IV

[42] Более точно: «Сганарель, или Мнимый рогоносец» (1660).

[43] В мастерской К. П. Брюллова Т. Г. Шевченко работал с 1838 по 1843 г. Брюллов участвовал в выкупе Шевченко из крепостной зависимости.

[44] Повесть Григоровича «Неудавшаяся жизнь» впервые была опубликована в «Отечественных записках», 1850, № 9, под названием «Неудачи».

[45] Мемуарный очерк М. Ф. Каменской «Знакомые» опубликован в журнале «Время», 1861, № 7. Эпизод, который пересказывает Григорович, см. на с. 159—160.

[46] Речь идет об исторической драме Ж.-Ф. Локруа и Э. Бадона «Un duel sous le cardinal de Richelieu». На русской сцене шла под названием «Поединок при кардинале Ришелье». Григоровичу советовали попробовать себя именно в роли Шале, видимо потому, что он должен был сыграть здесь молодого француза, своего сверстника (исторический Анри де Шале был казнен в 1626 г., двадцати семи лет; см. о нем: Ж. Таллеман де Рео. Занимательные истории. Л., 1974, с. 183, 288). Естественно, что неудача даже в такой роли показала полное отсутствие актерских данных у Григоровича и направила его жизнь по другому пути.

[47] Встреча Григоровича с А. М. Гедеоновым произошла, очевидно, в начале февраля 1842 г., так как московские театры были переданы в ведение Гедеонова 1 февраля того же года.

[48] Альбом карикатур «Ералаш» издавался М. Л. Неваховичем в 1846—1849 гг. Всего вышло шестнадцать выпусков.

[49] М. Н. Лонгинов был орловским губернатором, а не тульским, как пишет Григорович.

[50] Пьеса «Наследство» шла в сезон 1844—1845 гг.; выдержала шесть представлений (см.: История русского драматического театра, в 7-ми томах, т. 3. М., 1978, с. 281). *Валбухова* — М. И. Вальберхова. Водевиль «Шампанское и опиум, или Война с Китаем» Л.-Ф. Клервиля и Ш. Варена шел на сценах Малого и Александринского театров в сезон 1843—1844 гг.

[51] Драма В. Р. Зотова «Новгородцы» шла на сцене Александринского театра в 1844 г.

[52] Драма «Наследство» была опубликована в журнале «Репертуар и Пантеон», 1844, № 9. Белинский отметил ее в обозрении «Русский театр в Петербурге» (1844).

[53] Белинский в целом высоко ценил деятельность Н. А. Полевого-журналиста, издателя самого передового русского журнала второй половины 1820-х и первой половины 1830-х гг. В брошюре «Николай Алексеевич Полевой» (1846) можно найти несколько высказываний Белинского, чрезвычайно близких к фразе, приводимой Григоровичем. Более критичным было отношение Белинского к собственно литературному творчеству Полевого, к его повестям и пьесам.

[54] Имеются в виду следующие произведения А. Ф. Вельтмана: цикл романов «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1846—1863), роман «Кощей Бессмертный, былина старого времени» (1833), роман «Сердце и Думка. Приключение» (1838).

[55] Действительно, некоторые высказывания Белинского об игре В. А. Каратыгина, особенно в 1830-х гг., были резко отрицательными. Критик отдавал решительное преимущество П. С. Мочалову, в исполнении которого, по мнению Белинского, менее чувствовалось собственно актерство. Однако и тогда и позже, в 1840-е гг., Белинский признавал высокое профессиональное мастерство Каратыгина и видел в нем, наряду с Мочаловым, одного из наиболее замечательных актеров русской сцены. См. статьи Белинского: «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835), «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838), «Александринский театр» (1845), ⟨«Некролог П. С. Мочалова»⟩ (1848), а также письма Белинского: родителям от 9 октября 1829 г., А. А. Краевскому от 4 февраля 1837 г., В. П. Боткину от 30 апреля 1843 г. и другие.

[56] В. А. Каратыгин играл роль Людовика XI в пьесе И. Ауффенберга «Заколдованный дом» (перевод П. Г. Ободовско-

го). Белинский писал в этой связи: «...я никогда не пойду смотреть Мочалова в роли Лейчестера, Лудовика XI, Велизария и всегда пойду смотреть в этих ролях Каратыгина. Игра Мочалова, по моему убеждению, иногда есть откровение таинства, сущности сценического искусства, но часто бывает и его оскорблением. Игра Каратыгина, по моему убеждению, есть норма внешней стороны искусства, и она всегда верна себе, никогда не обманывает зрителя, вполне давая ему то, что он ожидал, и еще больше» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М., 1977, с. 501). «Графиня Клара д'Обервиль» — перевод В. А. Каратыгиным пьесы О. Анисе-Буржуа и А.-Ф. Деннери «La dame de Saint-Tropez».

57 Речь идет о труде: А.-Г.-П.-Б. Барант. Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois. P., 1824—1826.

58 «Смерть Иоанна Грозного», трагедия А. К. Толстого (1866).

59 То есть Ивана Грозного.

60 А. Е. Мартынов исполнял в «Ревизоре» роли Бобчинского (1836), Хлестакова (1843) и Осипа (1851).

61 В комедии И. Е. Чернышева «Не в деньгах счастье» А. Е. Мартынов играл роль Боярышникова.

62 В водевиле П. И. Григорьева «Дочь русского актера» А. Е. Мартынов играль роль Лисичкина.

63 В действительности А. И. Плюшар не принимал участия в издании «Энциклопедического лексикона» (1835—1841). Издателем был его сын — А. А. Плюшар.

64 Точнее: «Переводчик, или Сто одна повесть и сорок сороков анекдотов древних, новых и современных; мыслей, правил, суждений, мнений и пр.» (1843). Вышло четыре тома.

65 Переведенная Григоровичем повесть А. Пишо «Плавучий маяк» была опубликована в «Переводчике...» (см. примеч. 64) в 1843 г. (т. 4).

66 Точнее: «Русский художественный листок» (1851—1862).

67 Речь идет об издании «Весь Петербург в кармане. Справочная книга для столичных жителей и приезжих» (1846).

68 Григорович познакомился с сотрудниками А. Дюма-отца в Париже; рассказ о том, как работает Дюма, см. в книге Григоровича «Корабль «Ретвизан».

VI

69 Встреча с Некрасовым состоялась, видимо, летом 1844 г.

70 Рассказы Григоровича «Театральная карета» и «Собачка» в действительности были опубликованы не в «прибавлениях»

к «Русскому инвалиду», а в «Литературной газете», 1844, № 45 от 16 ноября, и 1845, № 6 от 8 февраля.

[71] И. П. Песоцкий издавал (под редакцией В. С. Межевича) журнал «Репертуар русского театра» (1839—1841); журнал «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840—1841) издавался В. П. Поляковым (под редакцией Ф. А. Кони). В 1842 г. эти журналы слились в один, под названием «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров». В его издании Песоцкий не участвовал; редактором объединенного журнала в 1842 г. был Ф. В. Булгарин, а с 1843 по 1846 г.— В. С. Межевич. В дальнейшем названия неоднократно менялись: в 1843 г.— «Репертуар русского и Пантеон иностранных театров», с 1844 по 1846 г.—«Репертуар и Пантеон», в 1847 г.—«Репертуар и Пантеон театров» и т. д.

[72] См.: Гоголь Н. В. Женитьба, д. II, явл. V — VI.

[73] Речь идет о книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года» (1839).

[74] Имеется в виду книга «Полька в Париже и в Петербурге» (1845). Некрасовым написана рецензия на нее (Литературная газета, 1845, № 6).

[75] Объявление о выходе «Зубоскала» (первый номер предполагалось выпустить в ноябре 1845 г.) было написано Ф. М. Достоевским и опубликовано в «Отечественных записках», 1845, № 11. Фразы, приведенной Григоровичем, в печатном тексте нет, хотя суть объявления передана верно. 8 октября 1845 г. Ф. М. Достоевский писал брату: Некрасов «подал проект *летучему маленькому альманаху*, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров⟨ич⟩ и Некрасов. ⟨...⟩ Название его «Зубоскал»; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом за все, все это в одном духе и в одном направлении» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, кн. 1. Л., 1985, с. 113).

[76] Альманах «Первое апреля» вышел в свет в начале 1846 г. Повесть «Штука полотна» была опубликована в альманахе без имени ее автора.

[77] Знакомство Григоровича с И. С. Тургеневым состоялось в апреле 1846 г.

[78] См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 249. Григорович прочитал описание своей встречи с Тургеневым в «Современнике», 1861, № 11, с. 58—59, когда «Литературные воспоминания» И. И. Панаева были опубликованы впервые.

[79] Поэма И. С. Тургенева «Параша» была опубликована в 1843 г., то есть за три года до знакомства с Григоровичем.

[80] Белинский переехал из Москвы в Петербург в октябре 1839 г.

[81] Речь идет об издании «Les Français peints par eux mêmes» (1840).

[82] Сборники «Комары», вышедшие в 1842 г., были подражанием сатирическому ежемесячнику «Осы» («Les Guépes», 1839—1849), издаваемому французским литератором А. Карром. Полное название издания Булгарина — «Комары. Всякая всячина». В. Р. Зотов вспоминал: «В 1842 году имели успех, впрочем весьма эфемерный, маленькие книжки, выходившие непериодически, в форме «Ос» Альфонса Карра. Этот сборник анекдотов, мыслей, острот, мелких заметок о современной жизни, переделанный на русские нравы, оказался у нас весьма тщедушным и недолговечным. Появление таких брошюр началось с «Комаров» Булгарина, которым редактор «Северной пчелы» придал второй заголовок своего газетного фельетона «Всякая всячина». Выпуска два были прочтены с любопытством, но потом, видя в них те же грязные сплетни и ту же рекламу разным торговцам, как и в «Пчеле», публика перестала интересоваться ими. Князь Вяземский написал на них злую эпиграмму, начинавшуюся стихом: «Комар твой — не комар, а разве клоп вонючий» (Исторический вестник, 1890, № 2, с. 338). Очерк «Салопница» был написан Ф. В. Булгариным ранее (см. его «Сочинения», ч. II. СПб., 1836) и снова включен в сборник «Комары».

[83] Ф. М. Достоевский вышел из Главного инженерного училища в 1843 г.

[84] В окончательном тексте «Петербургских шарманщиков» Григорович учел замечание Ф. М. Достоевского.

[85] Неточно: «Петербургские шарманщики» вошли в первую часть сборника «Физиология Петербурга» (1845). Она вышла раньше сборника «Первое апреля».

[86] Биография И. А. Крылова, написанная Д. Н. Бантыш-Каменским, была опубликована в «Библиотеке для чтения», 1845, № 3.

[87] Дедушка Крылов. Книжка для подарка детям. СПб., 1845.

[88] Слух, передаваемый Григоровичем о книгопродавце В. П. Полякове, ложен. До 1837 г. он служил приказчиком у И. И. Глазунова, затем открыл собственную торговлю; при этом Глазунов продолжал торговать в своем магазине (см.: Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879, с. 34—35). Некрасов работал у Полякова в конце 1830-х — начале 1840-х гг.

[89] В рецензии на первую часть «Физиологии Петербурга»

Белинский писал: «Петербургские шарманщики» г. Григоровича — прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и передавать их с поэтическою верностью. Г-н Григорович — молодой человек и только что начинает писать. Такое начало подает хорошие надежды в будущем» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7, с. 563—564).

[90] Очерк Григоровича «Лотерейный бал» был впервые опубликован во второй части сборника «Физиология Петербурга» (1845). В рецензии на сборник Белинский оценил «Лотерейный бал» гораздо ниже, чем «Петербургских шарманщиков». «Лотерейный бал» Григоровича,— писал Белинский,— статья не без занимательности, но, кажется, слабее его же «Шарманщиков», помещенных в первой части «Физиологии». Она слишком сбивается на дагерротип и отзывается его сухостью» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7, с. 604).

[91] Григоровичем здесь допущены неточности: А. И. Герцен и Н. П. Огарев не были близки с Н. В. Станкевичем в его университетские годы, В. П. Боткин же, хотя и действительно был членом кружка Станкевича, не учился в университете.

[92] Григорович и Ф. М. Достоевский поселились на одной квартире в конце сентября 1844 г.

VII

[93] В действительности перевод «Евгении Гранде» был напечатан в журнале «Репертуар и Пантеон», 1844, № 6—7.

[94] Белинский видел в О. Бальзаке художника с «замечательным талантом», но недооценивал его значение как писателя-реалиста и противопоставлял его произведения романам Жорж Санд. Преимущество отдавалось Жорж Санд, а не Бальзаку «прежде всего потому, что жизненно достоверный мир его героев не выходит за пределы низменной прозы буржуазной действительности,— справедливо отмечают современные исследователи проблемы,— в то время как значительно менее достоверные в психологическом отношении герои и главным образом героини Жорж Санд вступают в открытую и мужественную борьбу с буржуазным обществом, его моралью и установлениями во имя человеческих прав униженной этим обществом личности» (см.: Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976, с. 321).

[95] Речь идет о романе-фельетоне М.-Ф. Сулье «Мемуары дьявола» (1837—1838).

[96] См. «Дневник писателя» за 1877 год, январь («Старые

воспоминания»).— Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, с. 28—31.

[97] Роман «Бедные люди» был впервые опубликован в «Петербургском сборнике» (1846).

[98] Об «особых» требованиях Достоевского писали И. И. Панаев, А. Я. Панаева, П. В. Анненков, вспоминал И. С. Тургенев. Григоровичу пришлось лишь повторить уже сказанное до него. Вероятно, знал он и опровержения. В «Новом времени», 1880, № 1473, появилась заметка, в которой указывалось, что никакой каймы вокруг «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» нет. Опровержение было повторено. По поручению Достоевского, «Новое время» заявило, что никакой каймы «не было и не могло быть» (№ 1515). Вопрос не ясен до конца и сейчас.

[99] Достоевский вспоминал о беседе с ним Белинского: «Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то 〈...〉 что это вы такое написали! 〈...〉 Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? 〈...〉 Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» («Дневник писателя» за 1877 год, январь, «Старые воспоминания».— Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, с. 30—31).

[100] Имеется в виду повесть «Двойник», напечатанная в «Отечественных записках», 1846, № 2, с подзаголовком «Приключения господина Голядкина». По воспоминаниям Ф. М. Достоевского, чтение первых глав повести состоялось в начале декабря 1845 г. на вечере у Белинского. Чтение имело большой успех. Однако, когда повесть была опубликована полностью, Белинский разочаровался в ней. 1 апреля 1846 г. Ф. М. Достоевский писал старшему брату: «Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все, мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика... Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. 〈...〉 Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало

мне на время ад, и я заболел от горя» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, кн. 1, с. 119—120).

[101] Григорович не совсем точно цитирует письмо Белинского к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Отрицательная оценка повести «Хозяйка» содержится и в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

[102] Те же события освещает в своих «Воспоминаниях» А. Я. Панаева, решительно становясь на сторону Ф. М. Достоевского (см.: Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 143).

[103] О кружке Бекетовых см.: Енишерлов В. Семья моей матери... (Прометей, т. 13. М., 1983, с. 258—260).

VIII

[104] П. А. Вяземский неоднократно высказывал подобные мысли. В частности, в статье «Отметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным» (1874).

[105] Договор Н. А. Некрасова и И. И. Панаева с П. А. Плетневым о передаче права на издание «Современника» был заключен в конце сентября 1846 г., и с января 1847 г. журнал начал выходить под новой редакцией.

[106] Повесть Григоровича «Деревня» была впервые опубликована в «Отечественных записках», 1846, № 12.

[107] Л. В. Брандт принадлежал к критикам, враждебно относившимся к «натуральной школе» в литературе. Позже он дал отрицательный отзыв о повести Григоровича «Антон Горемыка» и в связи с этим объяснял свою похвалу «Деревне» тем, что «Северная пчела» «для ободрения первых опытов молодого автора похвалила его, радуясь, что, по примеру других, он не слишком увлекся тогда мнимым юмором, тупою насмешкою и грязною натурою» (Северная пчела, 1847, № 289 от 22 декабря).

[108] В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский отнес «Деревню» к наиболее замечательным произведениям, появившимся в русской литературе за последнее время и обозначавшим начало нового этапа в ее развитии. В первых повестях Григоровича, по свидетельству П. В. Анненкова, Белинский видел «начало эры талантливых разоблачений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 271).

[109] См.: Ералаш, 1847, № 5, с заголовком «Литератор натуральной школы» и с подписью:

«Оно не столь хоть видно,
Да сытно!»
Крылов, кн. II, басня 18

[110] Цитируемые слова см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 248.

[111] Григорович цитирует не совсем точно письмо Белинского к П. В. Анненкову от 20 ноября/2 декабря 1847 г.

[112] Повесть П. В. Анненкова «Кирюша» была опубликована в «Современнике», 1847, № 5; в том же журнале (1848, № 8) появилась повесть «Она погибнет!».

[113] Григорович цитирует письмо Белинского к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г.

[114] Григорович неточно цитирует письмо Белинского к И. И. Панаеву от 19 августа 1839 г. Впервые оно было опубликовано в «Воспоминаниях о Белинском» И. И. Панаева (Современник, 1860, № 1).

[115] И. С. Тургенев служил в министерстве внутренних дел, где его непосредственным начальником был В. И. Даль, с 1843 по 1845 г. О сложившихся между ними отношениях см. также: Анненков П. В. Литературные воспоминания, с. 375.

[116] Точнее: «Два сорока бывальщинок для крестьян» (1862).

IX

[117] См.: Гоголь Н. В. Мертвые души, глава седьмая.

[118] Разгром кружка М. В. Буташевича-Петрашевского произошел в 1849 г. Достоевский и Плещеев были приговорены к расстрелу, замененному каторжными работами.

[119] Имеются в виду «Записки» и «Дневник» А. В. Никитенко, ценнейшие произведения русской мемуарной литературы. Впервые печатались в 1888—1892 гг. в журнале «Русская старина». Отдельное издание — 1893 г.

[120] Повесть «Антон Горемыка» впервые была опубликована в «Современнике», 1847, № 11, и имела большой успех. А. И. Герцен в трактате «О развитии революционных идей в России» назвал ее в числе выдающихся произведений антикрепостнического характера: «Кто может читать, не содрогаясь от возмущения и стыда, замечательную повесть «Антон Горемыка»?..» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., 1956, с. 228).

[121] Речь идет о Матвее Юрьевиче Виельгорском (Вьельгорском), о нем же далее, в главе XI. О вечерах в доме Михаила Юрьевича Виельгорского см. также: Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 410—418.

[122] Комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» («Банкрот») впервые была опубликована в «Москвитянине», 1850, № 6. Отрывок из ее первоначальной редакции под названием «Несостоятельный должник» был напечатан в «Московском городском листке», 1847, № 7. Еще в рукописи пьеса приобрела широкую известность. Ее читал не только В. А. Соллогуб, знакомил с ней литературные и иные круги общества сам А. Н. Островский, М. С. Щепкин, П. М. Садовский и другие. «...Все желали слышать ее» (Бурдин Ф. А. Из воспоминаний об А. Н. Островском.— Вестник Европы, 1886, № 12, с. 667).

X

[123] Повесть А. В. Дружинина «Полинька Сакс» впервые была опубликована в «Современнике», 1847, № 12.

[124] По-видимому, факт этот заимствован Григоровичем у И. И. Панаева. Последний рассказывает эпизод, связанный с рукописью романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история», гораздо более подробно. См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 308—309.

[125] «Обыкновенная история» была впервые опубликована в «Современнике», 1847, № 3, 4.

[126] В состав третейского суда вошли П. В. Анненков, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин и А. В. Никитенко. Разбирательство состоялось 29 марта 1860 г. на квартире Гончарова. «Тургенев был видимо взволнован,— пишет Никитенко,— однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи» (Никитенко А. В. Дневник, т. II. М., 1955, с. 114—116). Ссора Тургенева с Гончаровым получила отражение во многих мемуарных произведениях. См., в частности: Анненков П. В. Литературные воспоминания, с. 431—433; Майков Л. Н. Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1859 и 1860 гг. (Русская старина, 1900, № 1). Сам Гончаров написал об этом «Необыкновенную историю» (впервые опубликована в «Сборнике Российской Публичной библиотеки», т. II. Пг., 1924). 21 января 1864 г. на похоронах А. В. Дружинина произошло примирение Тургенева с Гончаровым. Об истории сложных отношений этих двух писателей см.: И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По не-

изданным материалам Пушкинского дома. Пред. и примеч. Б. Энгельгардта. Пг., 1923.

[127] «Сон Обломова» был впервые опубликован ранее романа «Обломов», в 1849 г., в «Литературном сборнике» журнала «Современник».

[128] Рассказ Григоровича «Бобыль» впервые был опубликован в «Современнике», 1848, № 3.

[129] Имеются в виду повести «Именины», «Аукцион» и «Ятаган», вышедшие в 1835 г. отдельной книгой. Николай I был возмущен содержанием повестей; цензор получил выговор. Перепечатывать книгу было запрещено. Подозрительной показалась даже ее обложка: на ней изображалось чудовище, поражаемое кинжалом (в этом был усмотрен символ поражаемого самодержавия).

[130] Литературовед В. А. Путинцев предположил, что встреча Григоровича с Н. П. Огаревым могла произойти либо в 1846 г., до отъезда Огарева в свое имение Старое Акшено (30 октября 1846 г.), либо позднее, при его кратковременных посещениях Москвы, но до 1856 г., когда Огарев навсегда покинул Россию. См.: Путинцев В. А. Примечания.— В кн.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 180.

[131] Табак был назван по имени фабриканта, его изготовлявшего. Василий Григорьевич Жуков (1795—1882) был, по-своему, чрезвычайно колоритной фигурой. См. о нем в «Записках» П. А. Каратыгина (Л., 1929—1930).

[132] Об обстоятельствах, при которых была создана эпиграмма, рассказывает П. В. Анненков в мемуарном очерке «Молодость И. С. Тургенева. 1840—1856» (см.: Анненков П. В. Литературные воспоминания, с. 384).

[133] Имеются в виду повести и очерки: «Капельмейстер Сусликов» (Современник, 1848, № 12), «Похождения Накатова, или Недолгое богатство» (Современник, 1849, № 7—8), «Четыре времени года» (Современник, 1849, № 12), «Неудавшаяся жизнь» (см. примеч. 44), «Светлое Христово воскресение» (Современник, 1851, № 1), «Мать и дочь» (Современник, 1851, № 11), «Смедовская долина» (Современник, 1852, № 1), «Свистулькин» (Библиотека для чтения, 1855, № 1) и другие.

[134] А. В. Дружинин был редактором журнала «Библиотека для чтения» в 1856—1860 гг.

[135] Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1820—1821).

XI

[136] Роман «Проселочные дороги» впервые был опубликован в «Отечественных записках», 1852, № 1—7. В том же году вышел отдельным изданием.

[137] Офорты Н. С. Мосолова «Les Rembrandts de l'Ermitage» были в 1872 г. изданы в Вене.

[138] Речь идет о М. Ю. Виельгорском.

[139] Отрицательные отзывы о романе «Проселочные дороги» появились в «Современнике», «Библиотеке для чтения» и даже в «Отечественных записках», где роман печатался.

[140] Роман Григоровича «Рыбаки» впервые был опубликован в «Современнике», 1853, № 3—6, 9. В 1853 г. вышло его отдельное издание. Роман вызвал многочисленные положительные отзывы критики. Среди них наиболее примечательны: статья-предисловие А. И. Герцена 〈«О романе из народной жизни в России»〉 (1857) и статья П. В. Анненкова «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» (1854).

[141] Роман Григоровича «Переселенцы» впервые был опубликован в «Отечественных записках», 1855, № 11, 12, и 1856, № 4—8. Отдельное издание вышло в 1857 г.

XII

[142] Знакомство Григоровича с А. Н. Островским состоялось в начале 1850-х гг. Портрет Островского — один из наиболее субъективных в книге Григоровича. Объясняется это тем, что именно влиянию драматурга приписывал мемуарист отрицательные отзывы о своих произведениях в «Москвитянине». После критики второй части «Рыбаков» (Москвитянин, 1853, № 11) Григорович писал И. И. Панаеву: «Естественно, что все это писано под влиянием Островского, этого страшного авторитета шайки «Москвитянина», а Островский находится, в свою очередь, под влиянием Садовского, которому, как сказывают злые языки,— обязан он всеми своими комедиями» (см.: Панаева А. Я. Воспоминания, с. 436).

[143] См. примеч. 26.

[144] Григорович несправедлив. А. А. Григорьев всегда высоко ценил «Горе от ума», считая комедию А. С. Грибоедова «великой сатирой», «кладом драматургии». См.: Григорьев А. А. Театральная критика, с. 73, 127, 212—228.

[145] Роль короля Лира П. М. Садовский играл в свой бенефис в 1851 г. Роль действительно не удалась актеру.

[146] В кругу Островского понимали малую талантливость Ф. А. Бурдина. См.: Григорьев А. А. Театральная критика, с. 310.

[147] Об отношении А. А. Григорьева к творчеству Григоровича см. во вступительной статье. «Разбор» романа «Рыбаки» был дан критиком в статье «Библиотека для чтения. Январь и февраль» (Москвитянин, 1855, февраль, кн. I и II).

[148] Повесть А. Ф. Писемского «Плотничья артель» впервые была опубликована в «Отечественных записках», 1855, № 9.

[149] Григорович, В. П. Боткин и А. В. Дружинин приехали в Спасское-Лутовиново 12 мая 1855 г.

[150] Речь идет о М. Н. Толстой. Заметим, что Тургеневу удалось понять эту незаурядную личность гораздо глубже, чем Григоровичу, оценка которого поверхностна.

[151] Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Цветок» (1838).

[152] В ночь на 19 мая 1838 г. пароход «Николай I», на борту которого находился совсем еще молодой И. С. Тургенев, сгорел. Этой катастрофе впоследствии был посвящен очерк Тургенева «Пожар на море» (1883). Признаваясь в страхе смерти, естественно охватившем его, Тургенев, однако, отрицал оскорбительные для него обвинения в трусости, написав по этому поводу открытое письмо редактору «С.-Петербургских ведомостей» (1868, № 186). Тем не менее слух оказался упорен и передавался многими мемуаристами. См., напр.: Анненков П. В. Литературные воспоминания, с. 371; Панаева А. Я. Воспоминания, с. 95, и другие. Непосредственно после катастрофы упрекала сына в малодушии в письме к нему В. П. Тургенева (Тургеневский сборник. Пг., 1915, с. 32—33).

[153] Спектакль состоялся 26 мая 1855 г.

[154] Тургенев также остался доволен встречей с друзьями. 2 июня 1855 г. он писал П. В. Анненкову: «Мы проводили время очень приятно и шумно — разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из озеровского «Эдипа», в костюмах, с декорациями, занавесом, публикой, вызовами, соперничеством и маленькой даже интрижкой — словом, со всеми принадлежностями домашнего театра; ели и пили страшно, играли в биллиард, кегли, катались на лодке, ездили верхом, врали и говорили серьезно до 2-х часов ночи — словом, кутили...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. II. М.— Л., 1961, с. 276). Уехали Григорович, В. П. Боткин и А. В. Дружинин из Спасского-Лутовинова 1 июня 1855 г., пробыв, таким образом, три недели.

[155] Я. П. Полонский также оставил свои воспоминания о посещении Спасского-Лутовинова в 1881 г.— «И. С. Тургенев у себя

в его последний приезд на родину». Впервые опубликованы в «Ниве», 1884, № 1—8, и были известны Григоровичу. «...27 числа ⟨июнь⟩, к 12 часам ночи, в Спасское прикатил Дмитрий Васильевич Григорович,— вспоминал Полонский.— Мы дожидались его в столовой, усадили за самовар и пробеседовали чуть ли не до 2-х часов пополуночи. Все были в самом веселом, даже можно сказать, в восторженном настроении духа. Дмитрий Васильевич Григорович на другой же день обошел весь дом, часть сада и, казалось, всем был доволен. Уютно, чисто, просторно — все, что нужно. Ему же было и весело вспомнить, что здесь, в Спасском, он уже не впервые; что, с лишком 20 лет тому назад, он приезжал сюда к опальному Тургеневу, еще бодрому и молодому. Здесь когда-то застал он и ядовитого эстетика В. П. Боткина, и флегматического на вид, даровитого Дружинина, Колбасина и многих других. ...И грустно было думать, что из всех тогда действующих лиц уже немного осталось действующими на этом свете... что много с тех пор воды утекло...» (Цит. по кн.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1983, с. 366).

XIII

156 См. примеч. 154.

157 Повесть Григоровича «Пахарь» впервые была опубликована в «Современнике», 1856, № 3.

158 В «Журнале садоводства», 1856, № 12, была опубликована статья А. В. Дружинина «Заметки о садоводстве в Петербургской губернии».

159 Повесть Григоровича «Школа гостеприимства» была опубликована не в «Современнике», а в «Библиотеке для чтения», 1855, № 9. Повесть содержала враждебные выпады против Чернышевского, выведенного под именем литератора Чернушкина. Позже, что видно и из его воспоминаний, Григорович раскаивался в написании такого грубого и «мерзкого» фарса (см.: Некрасовский сборник. Пг., 1918, с. 103). См. также статью В. Мещерякова «Школа гостеприимства» Д. В. Григоровича как эпизод из литературных отношений 50-х годов» (Русская литература, 1964, № 1). Редакция «Современника» не стала отвечать на выходку Григоровича. Некрасов даже похвалил повесть, заметив, впрочем, что нельзя допускать «свои антипатии в литературные произведения» (Современник, 1855, № 10, с. 182).

160 С. С. Дудышкин писал, что грубо-комические сцены, которые содержит «Школа гостеприимства», «недостойны искус-

ства, недостойны художника» (Отечественные записки, 1855, № 10, с. 120).

[161] А. В. Дружинин перевел трагедии В. Шекспира «Король Лир», «Кориолан», «Ричард III», «Жизнь и смерть короля Джона».

[162] Псевдоним А. В. Дружинина.

[163] Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд) было основано, по инициативе А. В. Дружинина, в ноябре 1859 г. в Петербурге.

[164] В июле 1855 г.

[165] Это неверно. 4 апреля Л. Н. Толстой писал М. Н. Толстой из Петербурга: «С Григоровичем я познакомился здесь, и он мне очень понравился...» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-а томах, т. 61. М., 1953, с. 372).

[166] Резкие суждения о творчестве Ж. Санд, вероятно, были высказаны Л. Н. Толстым на обеде 6 февраля 1856 г. Некрасов писал В. П. Боткину 7 февраля 1856 г.: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ — и отдает его мне на 3-ю книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Черт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант!» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах, т. 10. М., 1952, с. 264). Об этом же обеде Тургенев сообщал Боткину: «С Толстым я едва не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. II, с. 337).

[167] А. А. Фет, ссылаясь на Григоровича, писал, что споры Толстого с Тургеневым достигали большого накала, причем порой забывался даже сам предмет спора, настолько оба бывали раздражены (см.: Фет А. А. Мои воспоминания, т. 1. М., 1890, с. 107).

[168] Л. Н. Толстой уехал в Москву 17 мая 1856 г.

[169] Спектакль состоялся 7 февраля 1856 г.

[170] Пьеса, писал Тургенев, «произвела скандал и позор, половина зрителей с омерзением разбежалась, я спрятался и удрал...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. II, с. 338). «...Тургенев уехал в половине пьесы, а за ним и Дружинин; оба переконфуженные... Вышла какая-то балаганщина» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. М.— Л., 1934, с. 119—120). По свидетельству Л. П. Шелгуновой (она исполняла в пьесе главную женскую роль) на сле-

дующий после спектакля день Григорович приезжал извиняться к А. И. Штакеншнейдеру (см.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. 2. М., 1967, с. 62—63).

XIV

[171] Утверждение не совсем точное. К концу жизни Некрасова Тургенев скорее сочувствовал ему, чем осуждал. См. тургеневское «стихотворение в прозе» «Последнее свидание» (1878).

[172] В сноске должна быть названа Женева, а не Генуя.

[173] Поводом для ухода Тургенева из «Современника» послужила статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» о романе «Накануне». Прочитав гранки статьи, Тургенев потребовал, чтобы ее не печатали. После отказа Некрасова писатель заявил о невозможности своего дальнейшего сотрудничества с «Современником». В объявлении редакции журнала на 1862 г. сообщалось об уходе ряда прежних сотрудников и заявлялось: «Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция, однако же, не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания...» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. XII, с. 201—202).

[174] Григорович цитирует письмо Тургенева по женевскому изданию. См. примеч. 172.

[175] Об отношении Тургенева к А. Ф. Писемскому см.: «Литературное наследство», т. 73, кн. вторая. М., 1964, с. 125—194.

[176] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

[177] См. примеч. 155.

[178] Автором эпиграммы был А. А. Бестужев-Марлинский (Собрание стихотворений. Л., 1948, с. 16, 195—196).

[179] См. наст. изд., с. 104—105.

[180] Григорович цитирует воспоминания Полонского. См. примеч. 155.

XV

[181] А. Дюма путешествовал по России летом 1858 г. «Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г. Дюма»,— писал И. И. Панаев в «Современнике» (1858, № 7, с. 78—89). Здесь же отмечает он и роль Григоровича как «чичероне» Дюма. Неоднократно вспоминает о Григоровиче и сам Дюма в своей книге «Впечатления от поездки в Россию», главы XXVII, XXXVIII (см.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, где они даны в приложениях). См. также: Коган Э. Р. Александр Дюма на Ладожском озере.— Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных материалов ЦГАЛИ СССР, вып. 2. М., 1976.

[182] См.: Панаева А. Я. Воспоминания, с. 224—231. Григорович был очень задет мемуарами Панаевой и фактом их публикации. С. И. Смирнова-Сазонова вспоминала: «Когда Григорович узнал, что в «Историческом вестнике» будут печататься воспоминания Панаевой, то перепугался, что там заденут его. Полетел к Суворину говорить о том, что нельзя в порядочном журнале печатать такие вещи. Тот говорит: не мое дело; я в это не вмешиваюсь. Это ведет Шубинский, и человек, мол, он упрямый, не послушает. Тогда Григорович не поленился подняться на пятый этаж к Шубинскому... И опять о Панаевой. Шубинский говорит: очень жаль, что я не знал этого раньше, но я уж ее воспоминания купил... Но, впрочем, успокоил доброго друга, что если будет что-нибудь о нем, то он это выкинет. Григорович бросился обнимать его» (Литературное наследство, т. 49—50. М., 1946, с. 550).

[183] 22 июля 1858 г.

[184] Путешествие на «Ретвизане» продолжалось с 1858 по 1859 г.

[185] «Корабль «Ретвизан» отдельными главами печатался в «Морском сборнике» (1859, кн. V, XI, XII; 1860, кн. II — IV; 1861, кн. X; 1862, кн. V), в журналах «Современник» (1860, № 3), «Время» (1861, № 10; 1863, № 1). Отдельное издание — 1873 г.

[186] «Два генерала» впервые были опубликованы в «Русском вестнике», 1864, № 1—2.

[187] Прогулка по Эрмитажу. СПб., 1865. Второе издание — 1875 г.

[188] Об этой стороне деятельности Григоровича см.: А. О. Значение Григоровича в области живописи и художественной промышленности.— В кн.: Дмитрий Васильевич Григорович, его жизнь и сочинения. М., 1910, с. 149—151, а также: Мещеряков В. Писатель Д. В. Григорович — искусствовед.— В сб.: Проблемы русской литературы. Ярославль, 1966.

В. А. ПАНАЕВ, ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

«Воспоминания» В. А. Панаева публиковались в журнале «Русская старина» с 1893 по 1906 гг. В наст. изд. печатаются отрывки, представляющие литературный, историко-культурный интерес: гл. I — III (1893, № 8, с. 320—355); гл. IV — IX (1893, № 9, с. 461—502); гл. XVI—XVIII (1893, № 12, с. 539—568); гл. XX (1901, № 7, с. 31—50); гл. XXII (1901, № 8, с. 285—320); гл. XXIII (1901, № 9, с. 481—510); гл. XXIV (1901, № 10,

с. 109—135); гл. XXV (1901, № 12, с. 579—592); гл. XXVII (1902, № 5, с. 317—329); 1903, № 3, с. 567—570.

Развернутые названия глав опускаются. Главы отделяются друг от друга отбивкой. Сокращения внутри единого смыслового отрывка обозначаются многоточием в угловых скобках: ⟨...⟩.

Раскрывается ряд сокращений, которые были в журнальной публикации.

В архиве журнала «Русская старина» (Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 1950—1954. Панаев Валериан Александрович) хранятся материалы, включающие в себя: оглавления «Воспоминаний» В. А. Панаева; материалы, не вошедшие в журнальный текст и не использованные в данном изд.; документы, официальные письма, составленные В. А. Панаевым. В фонде находятся (тоже переписанные от руки) публикации А. И. Герцена в «Колоколе» (лл. 27, 29—31) и самого мемуариста (лл. 30—33), письмо Б. Н. Чичерина к Герцену (л. 29) — № 1950 и машинопись начала гл. XXIII, имеющей обозначение — XX («После производства в офицеры в 1842 году... были постоянными посетителями суббот») — № 1953. При сопоставлении печатного текста «Воспоминаний» с машинописью обнаруживаются некоторые варианты, касающиеся лексики, стиля, принципиального значения не имеющие.

В архиве журнала «Исторический вестник» за 1894 г., с. 819 (Отдел рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), хранится «Очерк глав 2-го периода Воспоминаний В. А. Панаева», которые, как указывается на этом листе, «совершенно готовы для печати и займут с лишком 15 печат. листов».

Достоинства «Воспоминаний» были отмечены прессой того времени. См. отклики на смерть В. А. Панаева: Московские ведомости, 1899, № 219; Исторический вестник, 1899, № 10, с. 396. Обращались к ним составители современных мемуарных сборников: Каратыгин П. А. Записки, в 2-х томах, т. II. Л., Academia, 1930, с. 385—406; Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Редакция, вступ. статья и примечания Н. Л. Бродского. М.— Л., Academia, 1930; Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 241—250; Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 39—44; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 154—163.

[1] Наследник-цесаревич, будущий император Александр II, в 1837 г. совершил путешествие по России.

[2] Гусситы. Исторический роман из времен тридцатилетней войны. Перевод с французского. М., 1829. Автором этого произ-

ведения является немецкий писатель Фельде, Карл Франц фан дер.

[3] Граубиндец, или Берег волшебниц. Перевод с французского. М., 1831. Роман принадлежит перу швейцарского писателя Цшокке Генриха.

[4] Битва при Наварине, или Отступник. Исторический роман. Перевод с французского. М., 1831. Это произведение французского автора Моке Анри Гийома.

[5] Первый том поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» вышел в мае 1842 г.

[6] С. Т. Аксаков упоминает об Александре и Иване Панаевых не в «Семейной хронике», а в своих «Воспоминаниях», в главах «Гимназия. Период второй», «Университет», «Собирание бабочек». В «Приложениях» к «Семейной хронике» и «Воспоминаниям» (М., 1856, и др. изд.) были опубликованы оглавления отдельных номеров рукописных журналов: «Аркадские пастушки» (1804) и «Журнал наших занятий» (1806), а также статьи Николая и Александра Панаевых и стихотворения Ивана Панаева.

[7] Дочь Я. Г. Брянского Анна Яковлевна начала сценическое поприще в 1837 г.

[8] См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 56—62. В музее-квартире Н. А. Некрасова в Ленинграде экспонируется экземпляр этой пьесы, переведенной И. И. Панаевым, с его дарственной надписью А. С. Пушкину.

[9] Повесть А. Я. Панаевой «Семейство Тальниковых» (1847) была запрещена цензурой за «безнравственность и подрыв родительской власти».

[10] Панаев И. И. Раздел имения. Из записок помещика.— Отечественные записки, 1840, № 2, с. 158—190. О разделе наследства Страхова рассказывает и А. Я. Панаева (Головачева) в четвертой главе своих «Воспоминаний» (М., Художественная литература, 1972), см. также вступ. ст., с. 19.

[11] Наумова А. А. Уединенная муза закамских берегов. Стихотворения. М., Университетская типография, 1819.

[12] Николай I прибыл в Казань 20 августа (1 сентября) 1836 г.

[13] Пушкин А. С. Борис Годунов (1824—1826). Произведение печаталось в декабре 1830 г. с датой 1831 г.

[14] В 1834 г. И. И. Панаев прочитал в «Молве» «Литературные мечтания» Белинского. Впечатление свежей, смелой мысли статьи было очень сильно, и с тех пор И. И. Панаев внимательно следил за каждой новой статьей критика. Между ними завязалась переписка, а весной 1839 г. в Москве произошло и личное знакомство.

[15] Основания российской грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским. Часть первая. Грамматика аналитическая (Этимология). М., 1837. Дарственная надпись В. А. Панаеву сделана 26 ноября 1839 г. См.: Литературное наследство, т. 55 («Белинский»). М., 1948, с. 395.

[16] Книга сохранилась, находится в собрании И. С. Зильберштейна.

[17] В начале 1837 г. к Белинскому обратился петербургский издатель А. А. Краевский, ставший редактором газеты «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». Однако переговоры эти были неудачными, несмотря на страстное тяготение Белинского к журнальной работе. Он не мог принять условий Краевского и решительно отказался от сотрудничества в газете, о чем сообщил Краевскому 4 февраля 1837 г. С 1838 г. он неофициальный редактор «Московского наблюдателя», но в июле 1839 г. оставляет журнал. Мечтая о более широком литературном поприще, критик просит И. И. Панаева переговорить с Краевским о возможности его сотрудничества в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» и журнале «Отечественные записки», который с 1839 г. перешел к этому издателю. Вначале Краевский и слышать не хотел о Белинском, помня его независимое поведение во время первых переговоров в начале 1837 г., но потом вынужден был согласиться, так как очень нуждался в талантливом сотруднике. До октября 1839 г. Белинский был московским корреспондентом изданий Краевского, около 24 октября 1839 г. он переселился из Москвы в Петербург и принял на себя руководство отделов «Критика» и «Современная библиографическая хроника». В течение всего времени работы в журнале, до апреля 1846 г., его материальное положение оставалось неизменно тяжелым: Краевский чрезвычайно неохотно соглашался на повышение его заработка. Вместе с тем он нещадно эксплуатировал критика, заваливал его непосильной, срочной работой. О начале деятельности Белинского в «Отечественных записках» рассказывает И. И. Панаев в «Литературных воспоминаниях». Часть вторая (1839—1847). Глава III.

[18] Бурдон Пьер Луи. Арифметика. Пер. с французского. Ч. 1—2. СПб., 1834 и 1836—1837.

[19] *Первоклассная Троице-Сергиевская пустынь* — название монастыря; *Стрельна, Ораниенбаум* — дачные места Петергофского уезда.

[20] См. статью В. Э. Вацуро «Некрасов и Данненберг».— Русская литература, 1976, № 1, с. 131—144.

[21] В сентябре 1846 г. П. А. Плетнев передал право на издание «Современника» Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. Первый номер преобразованного журнала вышел в свет 1 января 1847 г.

[22] Некрасов жил у преподавателя Петербургской духовной семинарии Д. И. Успенского на Охте с конца 1838 г.

[23] Этот рассказ Некрасова воспроизведен Н. В. Успенским в «Воспоминаниях о Н. А. Некрасове».— Иллюстрированная газета, 1878, № 6, 5 февраля.

[24] См.: Успенский Н. В. Из прошлого. М., 1889, с. 227—228.

[25] «Старые хоромы. Из Ларры», с посвящением Валериану Панаеву. В кн.: Некрасов Н. А. Стихотворения. Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. М., в типографии А. Семенова, 1856, с. 169—171. С издания произведений Некрасова 1861 г. и в последующих это стихотворение перепечатывалось под названием «Родина» без посвящения В. А. Панаеву. Некрасов изменил название «Родина» на «Старые хоромы» в изд. 1856 г. по цензурным условиям.

[26] «Следопыт, или Озеро-море», 1840 г. Русский пер.: «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море».— Отечественные записки, 1840, т. IV, № 8—9. Отд. изд. 1841 г. О переводе этого романа Ф. Купера И. И. Панаевым, М. Н. Катковым и М. А. Языковым см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 235. В своей рецензии 1841 г. «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море. Роман Джемса-Фенимора Купера» Белинский писал: «Перевод «Путеводителя» вполне вознаграждает Купера за его тяжкие истязания на русском языке...» — и отмечал, что это перевод «поэтически верный духу своего оригинала, воспроизведенного с художественным тактом» (Отечественные записки, 1841, т. XIV, № 1, отд. VI, с. 8—9).

[27] Панаевы и Некрасов гостили в имении Г. М. Толстого Ново-Спасское Казанской губернии летом 1846 г. (в мае — июне). Имение Панаевых находилось по соседству.

[28] Одной из вершин в театральном жанре композитора А. Е. Варламова является песнь Офелии к трагедии Шекспира «Гамлет», поставленной (в пер. Н. Полевого) в бенефис Мочалова. А. Е. Варламов первоначально написал для спектакля три песни героини, но затем объединил их вместе для самостоятельного исполнения. В этой редакции они и были опубликованы в 1837 г.

[29] Училище ордена Святой Екатерины находилось в Москве на Божедомской улице.

[30] Строительство железной дороги Москва — Петербург было начато в 1843 г. и закончено в 1851 г. Регулярное движение поездов началось 1 ноября 1851 г. Первый поезд отправился из Петербурга в 11 часов утра и прибыл в Москву в 9 часов утра следующего дня, пробыв в пути 22 часа.

[31] Мемуарист смешивает двух персонажей комедии Гоголя «Ревизор»: почтмейстера, попавшего пальцем в небо, и городничего, попавшего впросак.

[32] Не исключено, что В. А. Панаев делился в кругу литераторов своими впечатлениями о положении рабочих на строительстве Николаевской железной дороги, и его рассказы могли стать одним из источников некрасовского стихотворения «Железная дорога» (1864).

[33] Авторы этого сочинения: L. Le Chatelier, E. Flachat, J. Petiet, C. Polonceau. Книга вышла: Paris, P. Dupont, 1851.

[34] Главный механический завод Петербургско-Московской (позже Николаевской, ныне Октябрьской) железной дороги, первый в царской России завод, специально оборудованный для постройки железнодорожного подвижного состава. Построен в 1825—1826 гг. как филиал Петербургского чугунолитейного и механического завода. Решение о приспособлении Александровского завода под производство паровозов и вагонов было принято вскоре после начала сооружения железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Правительство Николая I передало Александровский завод в аренду американской фирме Уайненс и К°.

[35] Период июльской монархии во Франции (1830—1848) характеризуется невиданным ростом периодики — выходило более 700 названий газет и журналов. Но государственная политика июльской монархии, основанная на громадных денежных залогах для издателей газет, на кабальной системе штрафов и налогов, удушала необеспеченную материально демократическую печать, она была благоприятной лишь для ловких, политически беспринципных дельцов от журналистики типа Эмиля Жирардена — одного из самых популярных буржуазных газетных деятелей того времени, издававшего многотиражные дешевые газеты, служившие главным образом целям коммерческой рекламы («La Presse», 1836—1866; «La Liberte», 1866—1870, и др.).

В июне 1848 г. за издевательские выступления против Временного правительства и республики Жирарден был арестован по распоряжению диктатора генерала Кавеньяка, а издание «La Presse» приостановлено. Выпущенный после одиннадцатидневного ареста на свободу, Жирарден опубликовал против Кавеньяка брошюру «Journal d'un journaliste au secret», а затем начал ожесточенную борьбу против его кандидатуры на пост президента республики, приняв сторону принца Луи Наполеона.

[36] Мемуарист касается важнейших событий революции 1848 г. во Франции. 24 февраля 1848 г. была низложена монархия и образовано Временное правительство. 25 февраля под дав-

лением народных масс провозглашена республика. Открывшееся 4 мая Учредительное собрание сразу показало свое враждебное рабочему классу лицо. Стихийная народная демонстрация 15 мая, вылившаяся в попытку роспуска Собрания, потерпела неудачу. Спровоцированное буржуазными республиканцами и монархистами Июньское восстание парижских рабочих (23—26 июня) было подавлено с неслыханной жестокостью военным министром Второй республики генералом Кавеньяком, которому правительство передало всю полноту власти. Принятая 4 ноября 1848 г. Учредительным собранием конституция Второй республики содержала существенные уступки монархистам и учреждала сильную власть президента. На выборах 10 декабря 1848 г. на пост президента победу одержал ставленник монархических групп буржуазии Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III), а буржуазные республиканцы утратили значение руководящей политической силы в стране.

[37] Э. Жирарден был очень плодовитым публицистом, многие его выступления в печати в дальнейшем выходили отдельными изданиями. В данном случае речь может идти о:

Êtudes politiques. Paris, 1849.

Questions administratives et financiers. Paris, 1849.

L'équilibre financier par la réforme administrative. Paris, 1851.

[38] Флорентийская республика существовала с XII в. по 30-е гг. XV в.

[39] См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. Глава VII.

[40] Увлечение историей Французской революции в этом литературном кружке относится к зиме 1841—1842 гг. (см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 242—243). Источниками для И. И. Панаева служили «Парламентская история Французской революции», тт. 1—40. 1834—1838. П. Буше и П. Ру, «Moniteur» (очень полно воспроизводившие речи Робеспьера), «История Французской революции» Ф. Минье. Р., 1824 (данный вопрос подробно освещен: Манфред А. З. Великая Французская революция, главы «Споры о Робеспьере» и «Робеспьер в русской и советской историографии». М., Наука, 1983).

[41] Речь Робеспьера о «Существе высшем» была напечатана в «Moniteur universel», № 229, 19 флореаля (8 мая) 1794 г.

[42] Ernst Hamel. Histoire de Robespierre d'apres de papiers de famille des sources originales et des documents entièrement, inedits. P., 1865. Э. Амель дал первую фундаментальную биографию Робеспьера апологетического характера, противостоящую дворянско-буржуазной историографии, негативно оценивающей его деятельность.

[43] Известно, что Белинский имел к этому времени сложившиеся суждения о Французской революции (подробно см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 414—416. В кн. «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников» в комментарии к этому высказыванию В. А. Панаева приводится отрывок из письма Белинского к В. П. Боткину от 15—20 апреля 1842 г., в котором, опираясь на цитату из речи Робеспьера, критик излагает свои взгляды на Французскую революцию и ее вождей и на правомерность утверждения царства справедливости на земле насильственным путем).

[44] Поэма И. С. Тургенева «Параша» была опубликована в 1843 г. Белинский писал об этом произведении в «Отечественных записках», 1843, № 5. Тогда же И. С. Тургенев познакомился с И. И. Панаевым.

[45] С апреля 1846 г. Белинский прекратил работу в журнале Краевского. Причиной тому были мотивы не только материального, но и принципиального характера. С января 1847 г. Белинский становится критиком «Современника».

[46] Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» впервые была опубликована в сборнике «Миргород» в 1835 г. В 1842 г.— вышла в новой редакции во II т. «Сочинений» писателя. Белинский видел в «Тарасе Бульбе» величайший образец художественного эпоса. Еще в 1835 г. в статье «О русской повести и повестях Гоголя» он писал: «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 2, с. 233).

[47] Некрасов мог познакомиться с И. И. Панаевым у его родственника востоковеда М. А. Гамазова в 1839 г. (см.: Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 417).

А. Я. Панаева относит первое посещение Некрасовым их дома к концу 1842 г.

[48] Знакомство Д. В. Григоровича с И. И. Панаевым состоялось вскоре после публикации его рассказа «Штука полотна» в сборнике «Первое апреля» в 1846 г.

[49] Эти факты подробно освещены в статье К. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов. К истории журнала «Современник».— Литературное наследство, тт. 49—50. М., Изд-во АН СССР, 1946, с. 365—396. О пребывании в Ново-Спасском, решении арендовать «Современник» у Плетнева, о намерении И. И. Панаева употребить средства от продажи леса на журнал рассказывает А. Я. Панаева (Головачева) в восьмой главе своих «Воспоминаний».

[50] Н. А. Некрасов очень рано проявил интерес к редакторско-издательской работе. В 1846 г. под его редакцией выходят аль-

манах «Первое апреля» и «Петербургский сборник». В последнем были опубликованы: «Капризы и раздумье» Искандера (А. И. Герцена), «Парижские увеселения» И. Панаева, «Мартингал (из записок гробовщика)» В. Ф. Одоевского, «Мой autographe» В. А. Соллогуба, «Макбет. Трагедия Шекспира» в пер. А. Кронеберга, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, ст. «О характере народности в древнем и новейшем искусстве» А. В. Никитенко, поэма «Машенька» и два стихотворения А. Майкова, «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть...», «Колыбельная песня» Н. А. Некрасова, ст. «Мысли и заметки о русской литературе» В. Белинского, «Помещик», «Три портрета», стих. «Тьма (Из Байрона)», «Римская элегия» Гете (XII)» И. С. Тургенева.

[51] Сложные отношения Достоевского и Тургенева обусловлены многими причинами — здесь чисто биографические элементы тесно сплетаются с историко-литературными. Свое художественное отражение неприятие Достоевским Тургенева нашло в памфлетном образе писателя Кармазинова из романа «Бесы» (1871—1872), в котором осмеяны общественно-политические воззрения, писательская манера, человеческие свойства Тургенева. А. С. Долинин в статье «Тургенев в «Бесах» (Достоевский. Статьи и материалы. Сборник II. Л.— М., Мысль, 1924, с. 119—136) пишет об исследованиях по этому вопросу, особо отмечая книгу Ю. Никольского «Тургенев и Достоевский (К истории одной вражды)». София, 1921.

[52] В кн. «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников» (М., 1971) помещены воспоминания брата В. А. Панаева И. А. Панаева «О нравственных качествах поэта». И. А. Панаев в 1856—1866 гг. заведовал конторой журнала «Современник», его хозяйственными и денежными делами. Его благородная оценка личности Некрасова очень близка характеристике, данной ему В. А. Панаевым.

[53] А. В. Кольцов, «Измена суженой. Русская песня». 1838 г., строфа V.

[54] В «Дневнике» за 1872 г. братьев Э. и Ж. де Гонкур, которых посещал Тургенев, отмечено следующее его высказывание: «Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно: что моя книга («Записки охотника».— *Ред.*) содействовала освобождению крепостных. Да, я не стал бы просить ни о чем другом... Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших его принять решение» 〈...〉 (Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни, т. 2. М., 1964, с. 151—152).

М. Ковалевский, описывая в своих «Воспоминаниях» чест-

вование И. С. Тургенева в Москве в 1879 г. на публичном заседании Общества любителей российской словесности, приводит слова одного из выступавших, студента Викторова: «Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров... Позвольте теперь приветствовать вас нам — нам, учащейся русской молодежи, — приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения» (Островский А. Тургенев в записях современников. Изд. писателей в Ленинграде, 1929, с. 309).

Он же в «Воспоминаниях об И. С. Тургеневе» писал, что во время пребывания писателя в Англии в Оксфорде и Кембридже за год до смерти на банкете в его честь, на котором присутствовали сотрудники «Times» и «Daily News», последние уверяли, в частности, что очень уважают его за содействие, оказанное им освобождению крестьян (Минувшие годы, 1908, № 8, с. 5—20).

Встречаются и другие факты, свидетельствующие о том, что такие высказывания о роли Тургенева в деле освобождения крестьян имели место, и повод к ним мог подчас давать сам писатель своей оценкой книги «Записки охотника» (отд. изд. 1852).

[55] И. И. Панаев вел в «Современнике» в 1851—1855 гг. ежемесячное обозрение «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики». В 1855—1861 гг. он вел ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта», содержавшее хронику быта и нравов и городской жизни.

[56] Написанная Л. Н. Толстым на Кавказе повесть «Детство» (1851—1852) получила одобрение Н. А. Некрасова. Это первое печатное произведение Толстого, опубликованное под инициалами Л. Н. в журнале «Современник» (1852, № 9). В 1855 г. Толстой приезжает в Петербург и сближается с литераторами — сотрудниками «Современника».

[57] И личная, и творческая судьба А. Фета была сложной. Оценка его поэзии как талантливой, но крайне бедной содержанием, тяготеющей к темам, одобряемым теоретиками «чистого искусства», определяет отзывы о Фете критиков революционной демократии. С 1859 г. поэт не печатается в «Современнике». В начале 1860-х гг. все усиливающаяся консервативность позиций Фета отдаляет его и от либеральных журналов, а «Русский вестник» неохотно печатает его стихи за их «непонятность» и нетрадиционность.

[58] Мысль, восходящая к работе Д. Дидро «Парадокс об актере» (1778).

[59] В современных отечественных театроведческих работах отмечалось, что недооценка значения Каратыгина, противопоставление его Мочалову в определенной степени были связаны с характерной для того времени недооценкой традиции классицизма. Подробно анализируя творчество Каратыгина и Мочалова, Б. Алперс писал: «Спор, который возник вокруг имен этих двух актеров столетие тому назад и длится до настоящего времени в театроведческой литературе, должен прийти к концу. В сущности, пути их в искусстве никогда не скрещивались. Мочалов и Каратыгин были художниками различных жизненных и творческих амплуа.

Каратыгин не был трагиком. Его скорее можно назвать художником героико-исторического жанра ⟨...⟩ Вся сила Мочалова была в движении, в бурном вихре страстей, мыслей, чувств, проносившихся в душе его героев. Сила Каратыгина была в «пластическом спокойствии» его театральных спутников. И когда материал драмы позволял ему найти это пластическое спокойствие, его искусство достигало действительно высокого совершенства» (Алперс Б. Актерское искусство в России. М.— Л., ГИХЛ, 1945, с. 196—197). Об отношении Белинского к игре Каратыгина см. примеч. 55, 56 на с. 285.

[60] Речь идет об обзоре Белинского «Репертуар русского театра, издаваемый И. Песоцким. Третья книжка» (1840).

[61] После него осталось интересное мемуарное сочинение — «Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805—1879». СПб., 1880; он также является автором водевилей.

[62] В историческом репертуаре 60-х гг. трагедийные роли переходили к характерным актерам, резонерам, комикам. На петербургской сцене в роли Иоанна Грозного в трагедии А. К. Толстого выступают П. В. Васильев и В. В. Самойлов, которых зрители привыкли видеть в ролях совсем другого амплуа. «Кто-то сказал,— иронизировал по этому поводу актер и переводчик Ф. А. Бурдин,— что видели Павла Васильевича и Василья Васильевича, а Ивана Васильевича не видали» (Цит. по: История русского драматического театра в 7-ми томах, т. 5. 1862—1881. М., Искусство, 1980, с. 145).

[63] И. Е. Чернышев указан ошибочно. Это драма в 4 д., 5 отд. А. А. Потехина. Изд.: Отечественные записки, 1855, № 11.

[64] А. Е. Мартынов (1816—1860) был зачислен в труппу Александринского театра в 1836 г. На казенной сцене артист столкнулся с рутиной, дурными традициями, предвзятым отношением театральной администрации. Многочисленные представители дворянских и мещанско-обывательских кругов зрителей

упорно желали видеть в нем комика-фарсера и не понимали прогрессивной, новаторской сущности искусства Мартынова. Современная критика, по крайней мере та, которая пыталась разобраться в проблемах актерского творчества и уяснить себе и своим читателям логику происходивших театральных событий, явственно ощущала ненормальность мартыновского положения. «Мартынов — актер с огромным дарованием,— писал «Репертуар русского театра» в 1842 г.,— но ему недостает только простора для деятельности: он совершенно предоставлен произволу случая. Для такого дарования нужен простор шекспировской или мольеровской комедии, а Мартынов принужден играть в бенефисных водевилях большею частью пустые роли, которые не пробудят в нем никаких размышлений, не вызовут его творчества» (Цит. по: Державин К. Эпохи Александринской сцены. 1832—1932. Л., ГИХЛ, 1932).

[65] Пьеса А. Н. Островского в 3-х д. М., 1854. Ошибочно приписана мемуаристом И. Е. Чернышеву.

[66] А. Е. Мартынов скончался 16(28) августа 1860 г. на пути в Петербург в Харькове. Погребен 13(25) сентября на Смоленском кладбище в Петербурге.

[67] См. примеч. 55 на с. 281.

[68] О Щепкине критик писал в статьях и рецензиях: «Московский театр» (1838), «Петровский театр» (1838), «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838), «Театральная хроника» (1839), «Русский театр в Петербурге» (1844), «Александринский театр. Щепкин на петербургской сцене» (1844), «Александринский театр» (1845) и др.

[69] Это старейший русский драматический театр. Был создан в 1756 г. как первый профессиональный постоянный публичный государственный театр. Назывался «Русский для представления трагедий и комедий театр», с 1832 по 1920 г.— Александринский. Открытие нового здания театра, построенного выдающимся архитектором К. И. Росси, состоялось 31 августа 1832 г. Название «Александринский» было дано в честь жены Николая I императрицы Александры Федоровны. Первой на его сцене пошла трагедия М. В. Крюковского «Пожарский».

Высшая знать обычно не посещала русских драматических спектаклей, предпочитая балет, оперу, французскую труппу. Основную массу зрителей Александринского театра составляли выходцы из средних слоев общества. Характеристику публики Александринского театра дал Белинский в статьях «Русский театр в Петербурге. Ифигения в Авлиде... соч. Расина» (1842), «Александринский театр» (1845) и др.

Официальная театральная политика была направлена на утверждение в репертуаре театра легковесного водевиля, мелодрамы, псевдонародной драматургии. Однако уже в 30-е гг. развертывается острая борьба за прогрессивные пути развития театра, возглавлявшаяся передовой демократической интеллигенцией. Мощный толчок к этому дали первые постановки пьес «Горе от ума» (1831) и «Ревизор» (1836). Новый период в развитии Александринского театра начался с середины XIX в., когда в репертуар вошли произведения А. Н. Островского, И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобылина, А. Ф. Писемского, что способствовало усилению реалистических тенденций в актерском творчестве. Выдающимся общественным событием явился спектакль «Гроза» (1859).

[70] Основан в 1680 г. по указу Людовика XIV, объединившему Театр Мольера (ранее слившийся с театром «Маре») и театр «Бургундский отель». Вскоре после создания завоевал славу крупнейшего театра Франции. Положение «королевского» театра и устойчивая материальная база позволили приглашать в труппу лучших актеров.

[71] Пьеса французского романиста Октава Фелье, бытописателя аристократии, уделявшего большое внимание изображению душевного мира любящей женщины, создана в 1872 г., авторская обработка романа «Julia de Trécoeur» (1872).

В романе Э. Золя «Страница любви» (1878), из эпопеи «Ругон-Маккары» (1871—1893), есть эпизод, в котором рассказывается об игре актрисы в пьесе, атмосфера одной из сцен которой близка описываемой В. А. Панаевым сцене из «Сфинкса».

[72] Мелодрама в 5 д. Д. В. Аверкиева, написана в 1871 г., впервые поставлена в Москве в 1872 г., имела большой успех. П. А. Стрепетова исполняла роль Марьицы в Москве в сезон 1880—1881 гг., эту роль она играла и в свой первый сезон в Александринском театре в 1881—1882 гг.

[73] В соответствии с Табелью о рангах, принятой Петром I 24 сентября (5 октября) 1722 г., VIII класс соответствовал чину коллежского асессора.

[74] У В. Беллини есть опера «Капулетти и Монтекки» (1830); опера «Джульетта и Ромео» (1796) принадлежит Н. А. Цингарелли.

[75] Песня А. А. Алябьева «Соловей» на слова А. А. Дельвига написана в 1826 г.

[76] В речи, произнесенной 30 марта 1856 г. перед представителями московского дворянства, Александр II заявил о необходимости приступить к подготовке освобождения крестьян. Летом

1856 г. Министерство внутренних дел подготовило программу реформы. 3 января 1857 г. под председательством Александра II был образован Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян».

[77] В. А. Панаев приехал в Лондон в августе 1858 г.

[78] Статья В. А. Панаева «Община» была напечатана в мартовской книжке «Современника» за 1858 г., с. 255—302.

[79] Проект В. А. Панаева был опубликован: Голоса из России. Кн. V. Об освобождении крестьян. London, 1858.

[80] «Le Nord» № 267, 24 Septembre 1858.—«Projet financier relatif a la mesure de l'amélioration de la condition des paysans en Russie». S. A. Fraenkel, J. Homberg.

[81] Речь идет о письме Б. Н. Чичерина, которое Герцен напечатал в «Колоколе» со своим предисловием под заголовком «Обвинительный акт» (Колокол, л. 29, 1 декабря 1858 г.). О полемике с Б. Н. Чичериным в связи с этим письмом Герцен рассказывает в главе «Н. X. Кетчер», а также в ч. VI «Апогей и перигей» «Былого и дум», она была вызвана процессом политического размежевания Герцена и Огарева с русским либерализмом.

[82] В «Колоколе», л. 27, 1 ноября 1858 г. была опубликована статья Герцена «Нас упрекают» (подпись: И — р).

[83] В архиве журнала «Русская старина» (Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 1950—1954. Панаев Валериан Александрович) находятся переписанные, по-видимому, рукой мемуариста следующие материалы: статья Герцена «Нас упрекают» (Колокол, л. 27, 1 ноября 1858 г.); предисловие Герцена к письму Б. Н. Чичерина и само это письмо («Обвинительный акт») (Колокол, л. 29, 1 декабря 1858 г.); заметка Герцена (Колокол, лл. 308—331, 15 декабря 1858 г.) и письмо без подписи В. А. Панаева, которое он ошибочно относит к 1859 г. (Колокол, лл. 308—331, 15 декабря 1858 г.); «Письмо к издателю «Колокола» В. А. Панаева (с подписью «Русской») с подстрочным примечанием Герцена и «Автору «Обвинительного акта» Г. Ч.» (не полностью) (Колокол, лл. 328—333, 1 января 1859 г.).

[84] Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1959, с. 154—155.

В семье Герцена был сборник русских народных песен «Песни русского народа, собранные и аранжированные М. Бернардом» (СПб., 1847). В него входила песня «Не одна в поле дороженька», помещенная на с. 7.

[85] Рассуждения Герцена о народной песне мы встречаем в его работе «О развитии революционных идей в России» (1850): «Все поэтические начала, бродившие в душе русского народа, нахо-

дили себе выход в необычайно мелодичных песнях ⟨...⟩ Русский крестьянин только песнями и облегчал свои страдания ⟨...⟩ Отличает его песни от песен других славян, и даже малороссов, глубокая грусть. Слова их — лишь жалоба, теряющаяся в равнинах, таких же беспредельных, как его горе, в хмурых еловых лесах, в бесконечных степях, не встречая дружеского отклика. Эта грусть — не страстный порыв к чему-то идеальному, в ней нет ничего романтического ⟨...⟩,— это скорбь сломленной роком личности, это упрек судьбе, «судьбе-мачехе, горькой долюшке», это подавляемое желание, не смеющее заявить о себе иным образом ⟨...⟩ Среди этих меланхолических песен вы слышите вдруг шум оргии, безудержное веселье, страстные, безумные выкрики, слова, лишенные смысла, но опьяняющие и увлекающие в бешеный пляс, который совсем не похож на драматический и грациозный хороводный танец.

В печали или буйном веселье, в рабстве или анархии русский жил всю жизнь, как бродяга, без очага и крова, или был поглощен общиной; терялся в семье или ходил свободный среди лесов с ножом за поясом. В обоих случаях песня выражала ту же жалобу, то же разочарование: в ней глухо звучал голос, вещавший, что природным силам негде развернуться, что им не по себе в этой жизни, которую теснит общественный строй» (Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 7. М., 1956, с. 185—186).

[86] В сокращенном виде проект В. А. Панаева был напечатан как приложение к л. 44 «Колокола» (от 1 июня 1859 г.). (См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859—1864. М., 1983, с. 44.) Проект заслужил одобрение Герцена и Огарева: Редакционная заметка (О «Проекте освобождения помещичьих крестьян в России») — Колокол, л. 44, 1 июня 1859 г.; статья Огарева «О Проекте освобождения крестьян» — Колокол, л. 45, 15 июня 1859 г.; «Голоса из России». Кн. VI. L., 1859, с. VIII (От издателя); письмо Герцена сыну от 12 июня 1859 г.

[87] Главный комитет по крестьянскому делу был руководящим органом при подготовке реформы. При нем состояло особое учреждение — «Редакционные комиссии», наделенное широкими полномочиями, производящее сводку проектов губернских комитетов. Председателем «Редакционных комиссий» стал Я. И. Ростовцев.

Об этом эпизоде см.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859—1864: «*29(17) июня 1859 г.* На заседании Ред. комиссий Я. И. Ростовцев объявляет о вручении ему Александром II проекта освобождения крестьян с «письмом неизвестного» ⟨...⟩, на котором «собственноручная над-

пись» императора: «Получено мною из-за границы по почте. Полагаю, что должно быть от Герцена. Печатный проект тот самый, который был приложен к последнему № «Колокола». 〈...〉

6 июля (24 июня) Ростовцев послал оба документа гл. нач. III Отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову для выяснения, кем написано сопроводительное письмо. 9 июля (27 июня) Долгоруков сообщил Ростовцеву: «Почерк этого письма по делам 3-го отделения 〈...〉 неизвестен» (с. 53).

[88] Панаев В. А. Общинное землевладение и крестьянский вопрос. Собрание брошюр и статей. СПб., 1881. В книгу вошли статьи: Община; глава из брошюры «Programme de la Sainte-Alliance des peuples»; Об организации русской общины; Общинное землевладение; Письмо к редактору «С.-Петербургских ведомостей»; Об освобождении крестьян в России; Критический разбор проекта банкиров Френкеля и Гомберга; Проект освобождения помещичьих крестьян в России.

[89] Около 21 (9) июня 1861 г.— 9 или 10 июля (июня 27 или 28) Герцен вместе с дочерью Татой был в Париже. 24 (12) августа он уехал из Лондона в Торки (графство Девоншир) и окончательно вернулся в Лондон 4 октября (22 сентября). В. А. Панаев посетил его между 5 и 12 октября (сентября между 23 и 30) «два раза». См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859—1864, с. 251.

[90] Просьба Герцена о натурализации была удовлетворена после обсуждения на заседании Большого совета Фрибургского кантона 6 мая (24 апреля) 1851 г.

[91] Во второй половине 60-х гг. резко обостряются отношения Герцена с представителями русской эмиграции в Швейцарии. Причиной тому явились расхождения по некоторым актуальным организационным вопросам (о превращении «Колокола» в общеэмигрантский орган, об использовании специальных фондов, находившихся в распоряжении Герцена и Огарева, и т. д.), и главное, взаимное непонимание и раздражение, связанное с моментами более общего порядка: с принадлежностью к разным революционным поколениям, с недооценкой «молодой эмиграцией» заслуг Герцена перед русским освободительным движением, непонимание ею исторической преемственности в революционной борьбе, преувеличение значения тех или иных ошибок и срывов Герцена. Для правильного понимания расхождения между Герценом и молодыми представителями русской эмиграции нужно учесть и те крайне ненормальные условия, которые сложились к тому времени в Швейцарии для многих эмигрантов вследствие отсутствия практического революционного дела, длительного отрыва от родины, отсутст-

вия идейной сплоченности, материальной необеспеченности и т. д.

Говоря о новом поколении русских революционеров как о «молодых штурманах будущей бури», Герцен в то же время обвинял «молодую эмиграцию» в повышенном самолюбии, чрезмерной резкости, узости, страстно выступал против волюнтаристского анархизма и политического авантюризма. См.: «Былое и думы», ч. VII, гл. «Молодая эмиграция», ст. «Еще раз Базаров» (1869).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ [1]

[1] В указатель включены имена, названия произведений и периодических изданий, упомянутые в тексте воспоминаний. Имена, упомянутые только в статье или комментариях, не включены. Курсивом набраны страницы вступительной статьи и комментариев.

Указатель составила И. Б. Павлова.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорович Д. В.
Г83 Литературные воспоминания/Вступ. статья Г. Елизаветиной; Сост., подгот. текста и коммент. Г. Елизаветиной и И. Павловой; Худож. В. Максин.— М.: Худож. лит., 1987.— 335 с., порт. (Лит. мемуары)

Мемуары известного писателя Д. В. Григоровича (1822—1899), а в Приложениях и мемуары публициста, инженера В. А. Панаева (1824—1899) дают представление о литературной и общественной жизни середины XIX века, о встречах с выдающимися деятелями русской культуры В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. А. Некрасовым, А. В. Кольцовым, И. С. Тургеневым, Ф. М. Достоевским, о жизни искусства в эти годы.

Г $\frac{4702010100-142}{028(01)-87}$ 24-87 ББК 84Р1

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГОРОВИЧ

Литературные воспоминания

Редактор
В. Волина

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технические редакторы
Л. Синицына, Л. Изгаршева

Корректор
Г. Ганапольская

ИБ № 2773

Сдано в набор 23.06.86. Подписано к печати 22.04.87. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64 + альбом + вкл. = 18,53. Усл. кр.-отт. 19,84. Уч.-изд. л. 20,37 + альбом + вкл. = 21,00. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1912. Заказ № 469. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



Д. В. Григорович. Литография. 1854.

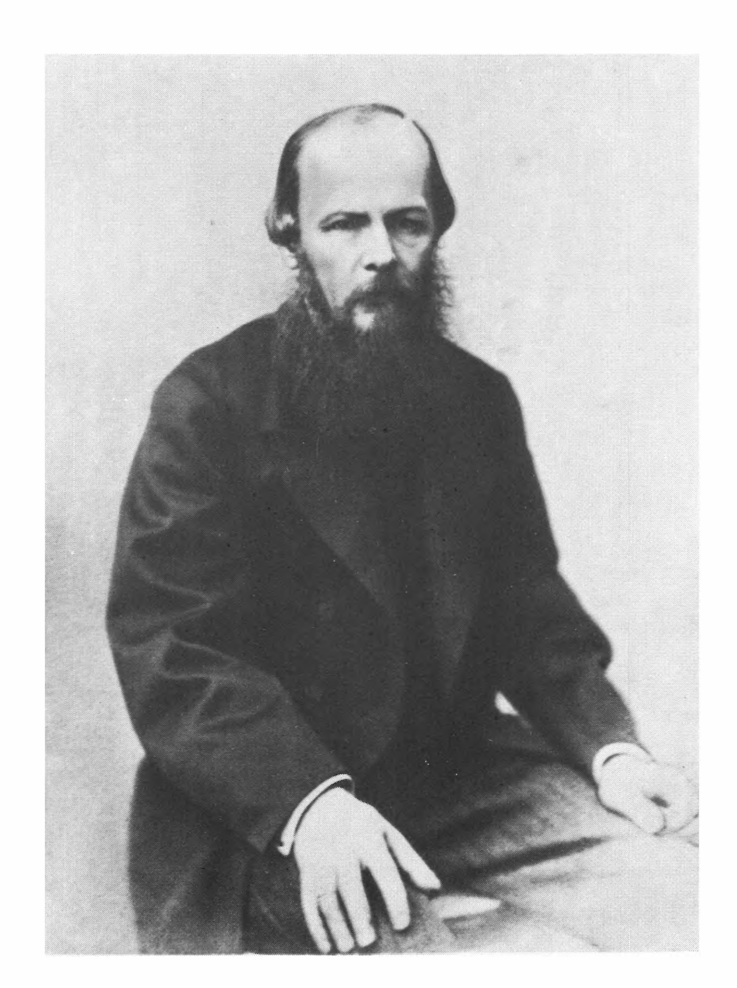


В. А. Панаев.



К. П. Ивашева.
Акварель Н. А. Бестужева.

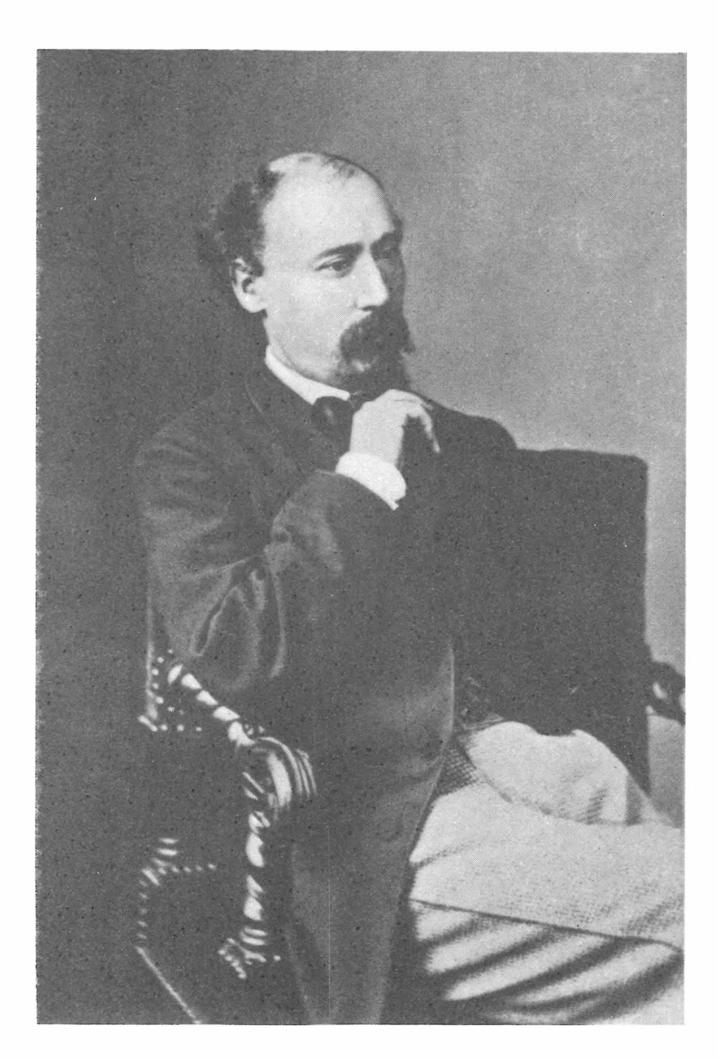
Михайловский замок.



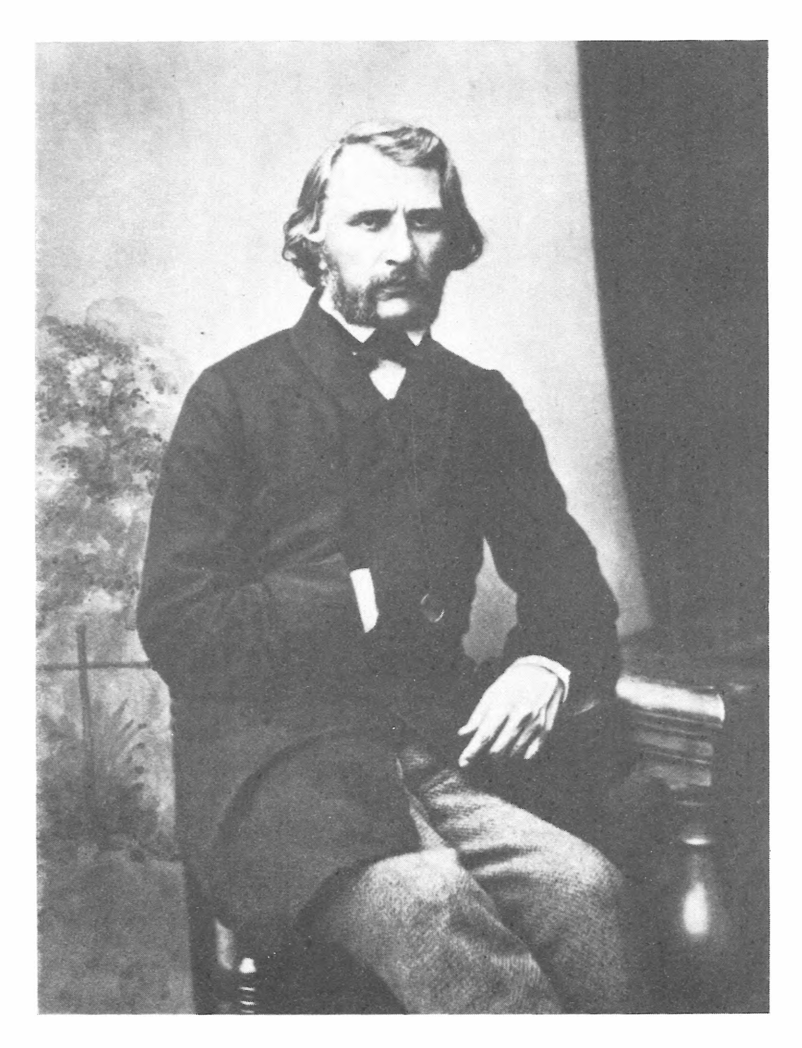
Ф. М. Достоевский.



В. Г. Белинский. Литография П. Бореля 1859 г. по оригиналу К. Горбунова.

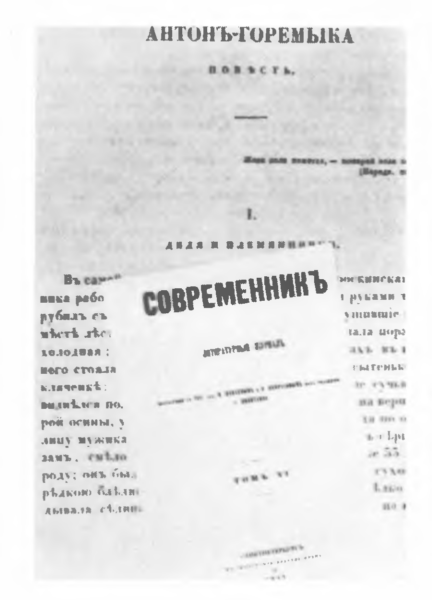


Н. А. Некрасов. 1865. Петербург.



И. С. Тургенев. 1856. Москва.

Группа писателей — сотрудников журнала «Современник». Стоят: Л. Толстой, Григорович; сидят: Гончаров, Тургенев, Дружинин, Островский. 1856.



АНТОНЪ-ГОРЕМЫКА

ПОВѢСТЬ.

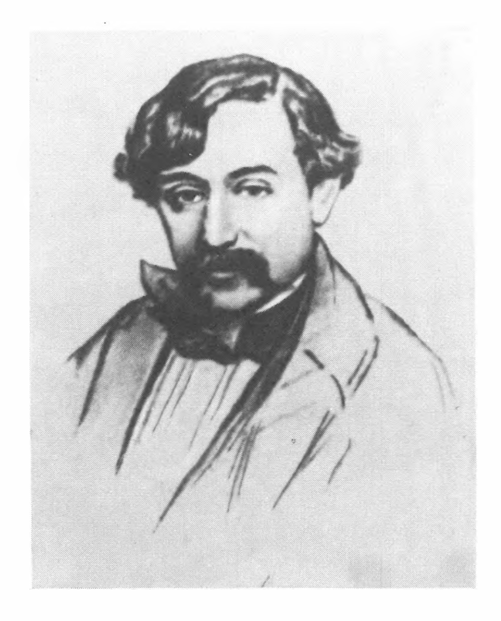
I.

СОВРЕМЕННИКЪ

Журнал «Современник», 1847, кн. XI.



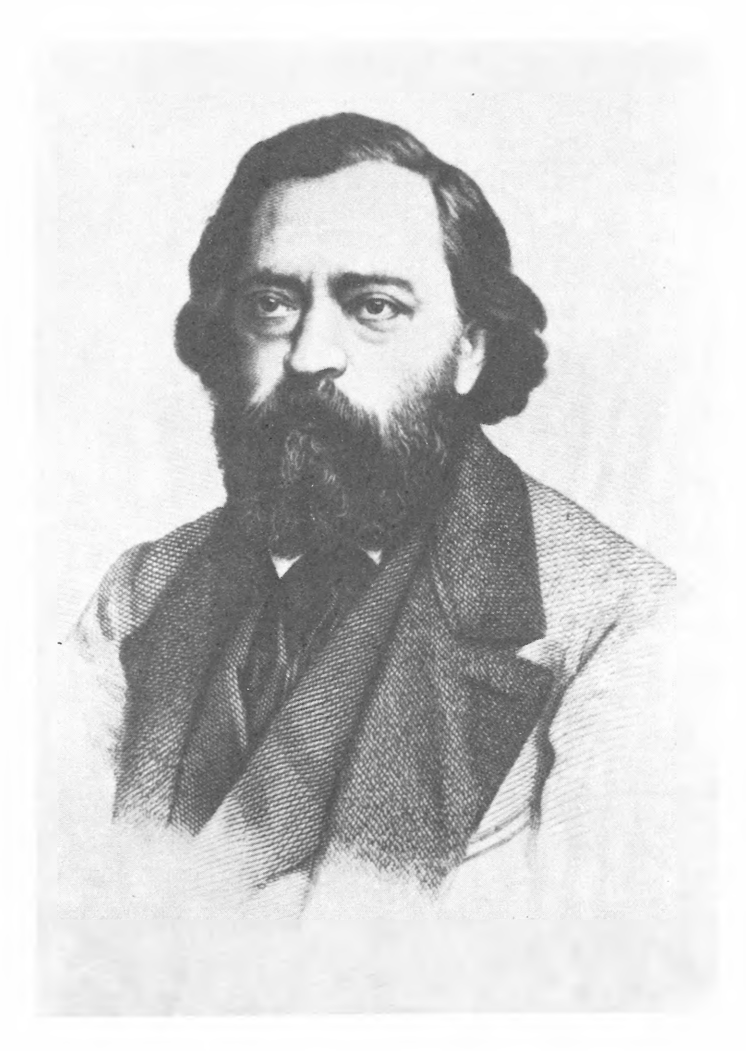
А. Я. Панаева. Акварель неизвестного художника 1850-х гг.



И. И. Панаев.



А. И. Герцен. 1865. Париж.



Н. П. Огарев. Гравюра Л. Леммеля. 1858.



В. И. Даль. Литография.

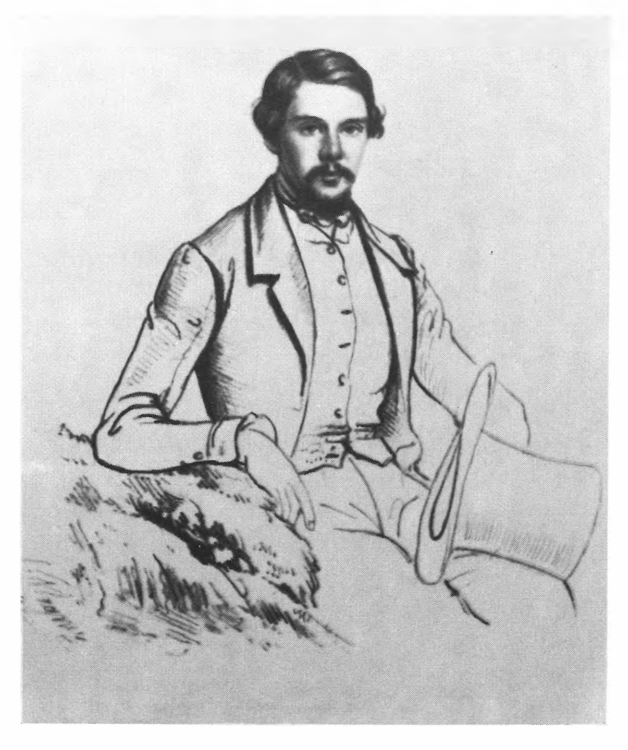
В. П. Боткин. Акварель К. А. Горбунова, 1843.





А. В. Дружинин.

В. А. Соллогуб.
Литография. 1843.





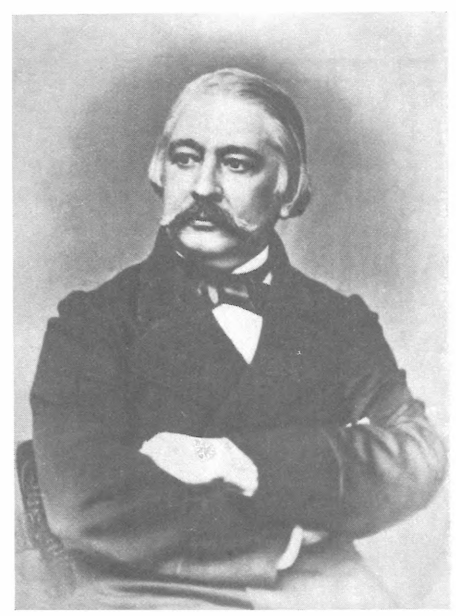
П. А. Каратыгин.

Александринский театр в Петербурге. Литография 1840-х гг.



А. Е. Мартынов.

А. А. Краевский.





П. А. Стрепетова.



П. Виардо.
Литография. 1850-е гг.